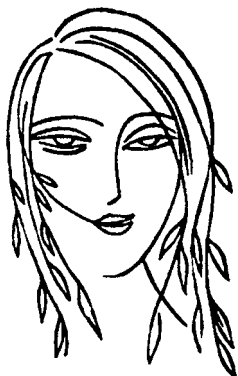


ЮНОСТЬ

Литературно-художественный и общественно-политический журнал **№ 11 (706) 2014**
Выходит с июня 1955 г.

«ЮНОСТЬ» © С. Краусаускас. 1962 г.



Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Юность».

«ЮНОСТЬ» — зарегистрированный товарный знак, являющийся собственностью трудового коллектива редакции журнала «Юность».

Выпуск издания осуществляется при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

подписной индекс **71120**

ISSN **0132-2036**

Наша почта: unost-contact@mail.ru

Наш сайт: <http://unost.org>

Страница на «Фейсбуке»:

<https://www.facebook.com/unost>

Главный редактор
Валерий ДУДАРЕВ

Редакционный совет:

Ильдар АБУЗЯРОВ

Анатолий АЛЕКСИН

Лев АННИНСКИЙ

Зоя БОГУСЛАВСКАЯ

Анна ГЕДЫМИН

Тамара ЖИРМУНСКАЯ

Елена ИСАЕВА

Кирилл КОВАЛЬДЖИ

Валерий КОЗЛОВ

Владимир КОСТРОВ

Нина КРАСНОВА

Татьяна КУЗОВЛЕВА

Евгений ЛЕСИН

Георгий ПРЯХИН

Владимир РАДЧЕНКО

Ольга РЫЧКОВА

Елена САЗАНОВИЧ

Александр СОКОЛОВ

Борис ТАРАСОВ

Елена ТАХО-ГОДИ

Олег ТОЛКАЧЕВ

Игорь ШАЙТАНОВ

Андрей ШАЦКОВ

Редакционная коллегия:

заведующая отделом
образования и молодежной
политики

Славяна БАКУНИНА

главный художник

Дмитрий ГОРЯЧЕНКОВ

заведующая отделом критики

Анна КОЗЛОВА

заведующий отделом культуры

Александр МАХОВ

заместитель главного редактора,

заведующий отделами

прозы и поэзии

Игорь МИХАЙЛОВ

заведующий отделом

зарубежной литературы

Евгений НИКИТИН

главный консультант

Эмилия ПРОСКУРНИНА

консультант главного редактора

Евгений САФРОНОВ

ответственный секретарь

Светлана ШИПИЦИНА

ЗАЩИТИ ЖИЗНЬ — ПОМОГИ НОВОРОССИИ!

Яндекс.Деньги: 410012190511869

Сбербанк России

Номер карты 4276 5200 1124 6069

Реквизиты счета:

Ростовское отделение № 5221/0629

р/счет 47422810852099900105 в Юго-Западном банке СБ РФ

к/сч. № 30101810600000000602 в ГРКЦ ГУ

Банка России по г. Ростову-на-Дону

БИК 046015602

ИНН 7707083893

КПП 616502001

Номер лицевого счета 42607.810.4.5209.0002413

Ф. И. О. получателя Губарева Екатерина Юрьевна

В НОМЕРЕ:

Поэзия

- Сергей ГЛОВЮК 5
Евгения БАРАНОВА 87

Проза

Михаил ПОПОВ

- ОДИНОКАЯ ВОСЬМИКЛАСНИЦА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ** Повесть. Продолжение 21

Валерия НАРБИКОВА

- ...И ПУТЕШЕСТВИЕ** Почти повесть 58

Хелью РЕБАНЕ

- ПУБЛИЧНОЕ СОКРОВИЩЕ** Повесть. Продолжение 93

Взатаив дыхание

- НИКИТА МИХАЛКОВ: «ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЗЯТЬСЯ
ЗА СЦЕНАРИЙ, Я ОДИННАДЦАТЬ РАЗ ПЕРЕПИСЫВАЛ
РАССКАЗ БУНИНА ОТ РУКИ!»**

Беседу вел Михаил Крупин 13

Страницы Льва Аннинского

ЗАМЕТКИ НЕИСТОРИКА

- ПРИЗЫВНЫЙ СВИСТ** Продолжение 19

ЗАМЕТКИ НЕТЕАТРАЛА

- МРАК НЕВИНОВАТОСТИ** 20

100 книг, которые потрясли мир

Елена САЗАНОВИЧ

- ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ГОНЧАРОВ.
«ОБЛОМОВ»** 46

Разнообразие слога

Алла МАРЧЕНКО

- ДАТЬ НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ЖИЗНИ...**
Лермонтов. Нелирическое отступление 49

Как беден наш язык!

ПОЖАЛУЙСТА, ГОВОРИТЕ ПО-РУССКИ!

Марианна ТАРАСЕНКО

- ВОРОВАТЫ, НО НЕ ВИНОВАТЫ** 91

Заведующая редакцией
Лидия ЗЯБКИНА

Заведующий отделом информации
Игорь РУТКОВСКИЙ

Специальный корреспондент
Екатерина КОРНЕЕНКОВА

Специальный корреспондент
по Белгородской области
Нила ЛЫЧАК

Редактор-корректор
Юлия СЫСОЕВА

Верстка и оформление
Елизавета ГОРЯЧЕНКОВА

Фотокорреспондент
Антон ШИПИЦИН

Главный бухгалтер
Алла МАТЮХИНА

Финансовая группа
Лариса МЕЛЬНИКОВА

Заведующая отделом рукописей
Ирина УШАКОВА

Интернет-версия
Максим ПОПОВ

Заведующая отделом распространения
Яна КУХЛИЕВА

Дежурные по редакции
Людмила ЛОГАЧЕВА
Татьяна СЕМЕНОВА

Татьяна ЧЕРЫГОВА

Координатор литературного
объединения

Марина КУЛАКОВА
Администратор
Зинаида ПОТАПОВА

Былое и думы

Сергей БЫЧКОВ

ОТМЫВАНИЕ ЖЕМЧУЖИН

Убийство Александра Меня.

Опыт художественного расследования. Продолжение **100**

Уноземный сюжет

РУБРИКУ ВЕДЕТ ЕВГЕНИЙ НИКИТИН

Томас Энсти ГАТРИ

ПРИЗРАК БАРНДЖУМА Продолжение **111**

Творческий конкурс

Инна МУХИНА г. Москва **115**

Инесса ИЛЬИНА г. Москва **116**

Александра БИРЮКОВА Московская обл. **117**

Татьяна АНАНЬИНА г. Москва **118**

Татьяна ЛЕОНОВА г. Москва **119**

Татьяна ЧЕГЛОВА г. Москва **120**

Ирина ЩЕРБИНА г. Москва **121**

Марина НОВИКОВА г. Москва **122**

Олег СЕВРЮКОВ г. Москва **123**

Зулкар ХАСАНОВ г. Калуга **124**

Тамара АЛЕКСЕЕВА г. Липецк **128**

В конце концов

ДЕТЕКТИВ НА НОЧЬ

Валерий ИЛЬИЧЕВ

СТРАСТИ ПО ИЗУМРУДНОЙ БРОШИ Продолжение **139**

ЗЕЛЕНый ПОРТФЕЛЬ

Валерий АНТОНОВ

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО... **144**

ИЗ ЗАПАСНЫХ КНИЖЕК **145**

ОБРАЩЕНИЕ К ПОТОМКАМ Монолог спикера **145**

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ

Галка ГАЛКИНА

СЕРДЦЕ ЛЮДСКОЕ — НЕ КАМЕНЬ **147**

VERIORA VERIS

Проказник ГЕО, человек-носорог

**ЗАВЕЩАЛ ИЛЬИЧ КЛУБИТЬСЯ,
ОТТОПЫРИВАТЬСЯ, БРИТЬСЯ!** **148**

Лиц. Минпечати № 112.

Адрес редакции:

Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская,
д. 8, стр. 1.

Для почтовых отправлений:

125047, Москва, а/я 182, «Юность».

Тел.: +7 (499) 251-31-22,

+7 (499) 250-83-98,

+7 (499) 250-40-72,

тел./факс: +7 (499) 250-40-60

Рукописи не рецензируются
и не возвращаются.

Авторы несут ответственность
за достоверность представленных
материалов. Мнения автора
и редакции могут не совпадать.

При перепечатке материалов ссылка
на журнал «Юность» обязательна.

Отпечатано в «Академиздатцентр
«Наука» РАН», ОП ПИК
«ВИНИТИ»-«Наука»

140014, Люберцы, Московская обл.,
Октябрьский пр., 403

Тел. +7 (495) 554-21-86

Тираж 6 500 экз. Формат: 60x84/8

Заказ №



Сергей ГЛОВЮК

Сергей Гловюк родился в 1958 году в Германии в городе Дрездене. В 1959 году вместе с родителями вернулся в Россию.

Окончил Литературный институт имени Горького в Москве. Стихи начал писать после окончания средней школы. Печатался в «Литературной газете», в журналах «Москва», «Юность» и других российских и зарубежных изданиях. Выпустил книги стихов «Глоток» (1991), «Точка возврата» (1997), «Старая монета» (2008).

Стихи переведены на македонский, сербский, словацкий, румынский, чешский и другие языки. Вышли книги «Угли» (в переводах Гане Тодоровского, Македония, 1997), «Точка возврата» (в переводах Думитру М. Иона, Румыния, 2002), «Сквозные кварталы» (в переводах Златы Коич, Сербия, 2005), «Старая монета» (в переводах Гане Тодоровского, Македония, 2009), книга стихов в переводах Веры Хорват (Сербия, 2010). В Польше вышла книга в переводах Александра Навроцкого (2012).

Сергей Гловюк много и плодотворно занимается переводами. Десятки известных поэтов из Македонии, Сербии, Словакии, Словении, Хорватии, Черногории, Чехии, Польши издавались в его переводах.

За переводы с македонского награжден премией Союза писателей Македонии «Златно перо», в Румынии — высшей премией Международной академии «Ориент-Оксидент», стал лауреатом премии Союза писателей и Министерства культуры Сербии «Повеле Морава».

Много лет работал специальным корреспондентом и обозревателем «Литературной газеты».

Инициатор и автор-составитель серии билингвальных антологий «Славянская поэзия XX-XXI. Из века в век». В этой двуязычной серии вышли десять томов — македонской, сербской, белорусской, украинской, болгарской, чешской, словацкой, хорватской, словенской, польской поэзии. Автор-составитель серии билингвальных антологий «Поэзия народов кириллической азбуки XX-XXI. Из века в век». В рамках этой серии изданы тома «Поэзия хантов, манси и ненцев», «Башкирская поэзия», «Якутская поэзия», «Татарская поэзия», готовятся к изданию поэтические антологии других народов Евразии.

Член Союза писателей России и почетный член Союзов писателей Македонии, Сербии, Черногории. В настоящее время — главный редактор альманаха «Литературное содружество. Из века в век». Живет и работает в Москве.

СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛОВ

По серым сухим тротуарам
толпятся, шумят тополя,
и горьким бензиновым паром
вдыхает под вечер земля.

Какая хмельная погода
в разгар запоздалой весны,
как долго толпилась у входа
в тревожных сетях тишины!

Зеленая буйная сила
 под спудом, в снегу, подо льдом
 зарядом в песок уходила,
 накопленным на потом.

Как трудно и слышать, и видеть,
 и знать, понимать, и уметь,
 зависеть, дрожать, ненавидеть,
 и знать, понимать и терпеть.

* * *

Ты идешь, словно волк по следам,
 я тебя никому не отдам,
 в каждом шаге погибель тая,
 каменистая доля моя.

Я пытался тебя избежать,
 закопаться, забыть, убежать.
 Это вздор или прихоть и блажь,
 ты меня никому не отдашь.

Даже если в предсердье ножом —
 мы ревниво союз бережем.
 Я и Ты, остальное — игра.
 Рассветает! Дожил до утра...

* * *

Я проскочил с размаху сорок два!
 Все цело — руки, ноги, голова.
 Высоцкий, Блок на этой цифре пали,
 Я слышал зов и водкой глотку залил.

Но вот стою на скользком берегу.
 Ни влево и ни вправо — не могу.
 Течет река, петляя к горизонту,
 Там лодочник отвозит к Геллеспонту.

Эй, лодочник, немного отгреби,
 Меня не жди, пока плачу долги,
 За каплей каплю сорок с лишним лет,
 Вторая группа — ярко-алый цвет.

В поэтах в наше время нет нужды,
 Что проку — ни калыма и ни мзды.
 Когда случится в жизни перелом,
 Ты вдруг подгонишь ветхонький паром,
 Но птица Феникс мне махнет крылом!

Мне цифру отодвинуть по плечу,
И весь я не умру — я так хочу!
Беззубой в ухо строфы прокричу —
Ползи змеей, я по небу лечу!
И памятник гвоздями сколочу...

Сквозь душу, жилы, нервы гвоздь войдет,
Но всяк босяк меня легко поймет...
По духу все мы — дальняя родня,
И заучили твердо: жизнь — стерня!
Они из праха извлекут меня,
Когда взалкают света и огня!

* * *

Купола, купола — вы наполнены праздничным звоном,
как шары, стратостаты наполнены теплым озоном.
Вы взлетаете вверх, вы хранители судеб и града,
маяки, и вершины, и вехи небесного сада.
Тут внизу и метет, и змеится шальная поземка,
и по норам кротовым рокочет стальная подземка.

Купола, купола, парашюты небесного света,
может, вами спасутся все те, кто взыскует ответа.
Тут их много, усталых и сломленных, гордых и хворых,
а над вами поют золотые небесные хоры!
Сколько их, поскользнувшихся в слякоти стылой весенней,
возвестите им всем — за субботой идет воскресенье!

* * *

Смотрю на жизнь сквозь старое окно,
Она проста: днем — свет, а в ночь — темно.
Окно выходит в тихий сонный двор,
Глядит на покосившийся забор.
Уже давно забор тот вековой
Склонился над разрытой мостовой.
И тянет, тянет вниз его земля,
Как будто бы накинута петля.
Земля, земля, и я к тебе клонюсь,
Когда молюсь или упасть боюсь,
Когда, как блудный сын, к тебе приду,
А значит, навзничь долу упаду,
И ярая мятежница душа,
Когда лежать я буду чуть дыша,
Рванется из тончайших цепких пут.
А вырвется, и что? На Страшный суд!
Да, жизнь проста: то свет, а то — темно,
Как ветхое разбитое окно.

* * *

Как ярк, как зол огонь,
как пепел легок и светел.
Крылом задевая боль,
шумит разъяренный ветер.

И в прах превращая листы
уже отшумевшей жизни,
танцуют костров цветы
на долгой ночной тризне.

Остры языки огня,
бесстыдны и откровенны.
Куда вы влечете меня,
мои дремучие гены?

Туда, в допотопный ад,
к пещерам, камням и крикам,
где плясок чумной маскарад
шаман вызывает с гиком.

О, как ты хитер, огонь,
как ловок и непонятен.
Из пекла выносятся стон
и блики неясных пятен.

Омега и Альфа ты —
ты был еще до сотворенья,
со светом далекой звезды
открыл мне тайное зренье.

Я знаю — в конце пути,
над плазмой немого покоя,
у щек твои языки
пахнут очистительным зноем.

* * *

До боли будешь обнимать постель,
Хрипеть гортанью: я тебя люблю,
Как в марте запоздалая метель,
Надрывно подражает январю.
Ты будешь, обессилев, тихо выть,
Кусая губы, пальцы теребя.
Я буду в это время тихо плыть,
Порвав канаты рокового дня.
Следы не остаются на воде,
Песок их тоже долго не хранит.

Меня не будет рядом, но везде
Тебя настигнет моих глаз магнит.
Ты будешь рваться и искать, искать,
Перебирая в мыслях нашу жизнь,
И в каждом встречном станешь узнавать,
И новые начертишь миражи.
Я не вернусь и знаю наперед,
Что ты как тень потянешься за мной,
Дыханьем будешь плавить мерзлый лед,
Но он опять сомкнется над водой.
И ты как птица прыгнешь в полынью
И будешь биться и кричать: люблю!
И только эхо прилетит к тебе,
Лишь только эхо, я уже нигде...
Я растворился в воздухе, в пыли,
В траве, деревьях и комках земли.
Меня нельзя коснуться, взяв рукой,
Я — вечность, звезды, тишина, покой,
Я есть и нет, как эхо над рекой.

* * *

Стемнело и стихло. Река засыпает,
От края до края застыв, как слеза.
И в небе осеннем опять проступают
Стальные с урановым блеском глаза.

Глядят — не мигая, но гласа не слышу,
И днем, в суете забываясь, живу.
А ночью, главу запрокинув повыше,
До боли в глазах все гляжу в синеву.

Корундовым диском луна по привычке
На тысячи бликов дробит темноту.
Я знаю, однажды легко и обычно
Поступит посланье — шагнуть за черту!

* * *

Густой оседает вечер,
и мы за одним столом.
Друзья горемычной встречи,
все тянем один псалом.
Бывало, летели звонко,
набрав скоростной разбег,
ну прямо крутая гонка,
протекторы резали снег.
На каждой вечерне тайной,
отведав хлебов и винца,

совсем, совсем не случайно
 тернового ждали венца.
 И, спьяну круша посуду —
 настрой, мол, нынче не тот, —
 перстами искали иуду
 по кличке искариот.
 И объявился иуда —
 ему был положен срок.
 Но не было явлено чудо —
 какой роковой урок!
 Теперь и люди, и звери
 не знают, кому внимать.
 И моцарты и сальери
 не знают, кому играть?!
 Дорога в хмельном угаре,
 сивухой пахнет снег.
 И каждой твари по паре
 едва ль наберешь в ковчег!

МОСКВА — ВЕРБИЛКИ

Солнце — к закату, и снег разыгрался,
 что-то я надолго здесь задержался.
 Вот указатель — Москва и Вербилки.
 Слушай, таксист, подвези до развилки,
 сверху плачу, посмотри — замедляет,
 радио громче пускай поболтает.
 Скользко, судачишь, на лысой резине,
 все ничего — не пешком, на машине.
 Снег-то, смотри, как лопатой на окна,
 темень вокруг, да и радио смолкло.
 Что-то мотор у тебя подвывает,
 эдак он нам и беды накликает.
 Прямо метель, а сплошная завеса,
 тут и взаправду припомнишь про бесов!
 Радио вдруг захрипело, картавя,
 диктор погоды прогноз прогнусавил.
 Здесь бы пора бы и быть повороту,
 вон — то ли столб, то ли выскочил кто-то?
 Сколько же их? Не сочтешь! Ну и черти —
 хором слились в запредельном концерте.
 Ну занесло! Да на старой машине —
 в лысую гору — на лысой резине!
 Целая кодла визжит на капоте,
 чуть не столкнули в обрыв в повороте.
 И замечают усердно дорогу,
 пусто вокруг, и не кликнешь подмогу.
 Эдак, смотрю, и запутают к ночи,
 вот тебе — путь выбирал покороче!

Но прикатили куда-то под вечер,
вроде от места уже недалече.
Вышел, смотрю: мы на той же развилке...
Сзади — Москва, ну а прямо — Вербилки.

МАРТОВСКАЯ МЕТЕЛЬ

Эти деревья снегом осыпаны, словно золой,
если сказать точнее: посыпаны пеплом.
Март-то какой выдался стылый, злой,
все норовит посильней стегануть ветром.
Очень хочется занырнуть в дом,
чтобы окно отгораживало — спасало.
Среди хлама, наверное, в доме том
где-то валяется кремь и кресало.
Чиркнуть кремнем по камню,
высекая искру из тренья камней, —
если еще живым я себя пока мню,
только и закурить осталось пока мне.
На ползатяжки и есть времени,
а мысли — камней гряда или листвы ворох.
Как бы с потолка не угодило по темени,
что-то там вверху подозрительный шорох.
Что за эпоха и кто в ней?
Все витии с воем ползут в пророки.
То ли время поднабрать камней,
то ль разбросать их, какие сроки?!
Вроде бы фундамент цел,
и крыша есть, но слегка едет.
Можно, к примеру, взять мел
и написать на стене гордо: Петя!
Только вот Петя взял Рейхстаг,
С ходу въехал туда на танке,
и ты теперь можешь ускоренно выучить «гутен таг»
или купить американские аэросанки.
А какая удобная вещь — газ, тормоза,
и дави, тарань, разрывай сугробы,
даже не надо разувать глаза,
так и мчись, осклабясь, до самого гроба.
Посиди, помечтай, ведь стекла в окне два,
а между ними сплошной вакуум.
Можно взять пивка, пожевать рукава,
съездить к подруге и оттянуться со вкусом.
Или взять объявить себя венцом,
альфой, омегой, гаммой всего творенья,
а потом, усугубив немного винцом,
выйти и гаркнуть на все города и селенья.
Было давно указано — путь кремнист!

Только местами скользкий лежит булыжник,
 все-таки снег первозданный, покрывший их, был чист,
 думаю, знает об этом любой лыжник.
 Ох, эти окна, windows — глянец, шикарный вид,
 лучше, чем вид с крыльца или порога,
 там только темень и грязь, но звезда горит,
 молча горит, ибо эта Звезда от Бога.

СТАРАЯ МОНЕТА

Звенела монета на тонком стекле,
 и лампа горела в углу на столе.
 С одной стороны у монеты орел —
 двуглавый. Ее я нашел,
 задумав немного в саду покопать.
 На этой монете и буду гадать.
 Одна голова у орла на восток —
 застыла, попав в гипнотический шок.
 Другая на запад глядит голова,
 надеется жадно столетия два.
 Туда, где у ржавой балтийской воды
 проспекты, мосты и каналов ряды,
 где ноги коней из чухонских болот
 ваял и вытягивал некогда Клодт.
 Монета крутилась, крутилась, и звон
 был чем-то похож на придавленный стон.
 На медной, блестящей ее стороне
 прорезался молот с серпом, и в огне,
 сквозь колос растрепанный, гибкой змеей
 протиснулась лента и мертвой петлей
 его обвила. И гигантский колосс
 под серп повалился, но снова возрос.
 Слетели короны с двуглавых орлов.
 Все чаще мельканье, круженье голов.
 То молот, то герб,
 то корона, то серп.
 Всего-то пятак, а хозяин судьбы.
 То аверс, то реверс. Рабы — не рабы?
 Но краем задев за стальное перо,
 он в щель закатился и встал на ребро.

ОТ РЕДАКЦИИ

Никита Михалков — без преувеличения веха советского и российского кинематографа. Его кинематографический стаж, если считать точкой отсчета первую роль в фильме «Тучи над Борском», насчитывает пятьдесят шесть лет!

Только за одно это ему можно поставить памятник. Более полувека по ту сторону экрана. Не шутки!

Впрочем, Никита Сергеевич мог бы пребывать в ранге золотой молодежи за пазухой у знаменитого отца. Особенно после успеха в легендарном теперь уже фильме Данелии «Я шагаю по Москве». Но предпочел иной путь. Хотя путь творца не всегда усыян розами, порой он тернист. Уже в двадцать восемь лет, сняв свой первый фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих», он заставил замолчать скептиков и завистников. В кино пришел режиссер с искрометным талантом.

Лучше всяких слов за него теперь говорят названия его фильмов: «Раба любви», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Пять вечеров», «Несколько дней из жизни И. И. Обломова», «Родня», «Очи черные», «Урга — территория любви», «Сибирский цирюльник»... А еще множество запоминающихся ролей и документальных фильмов.

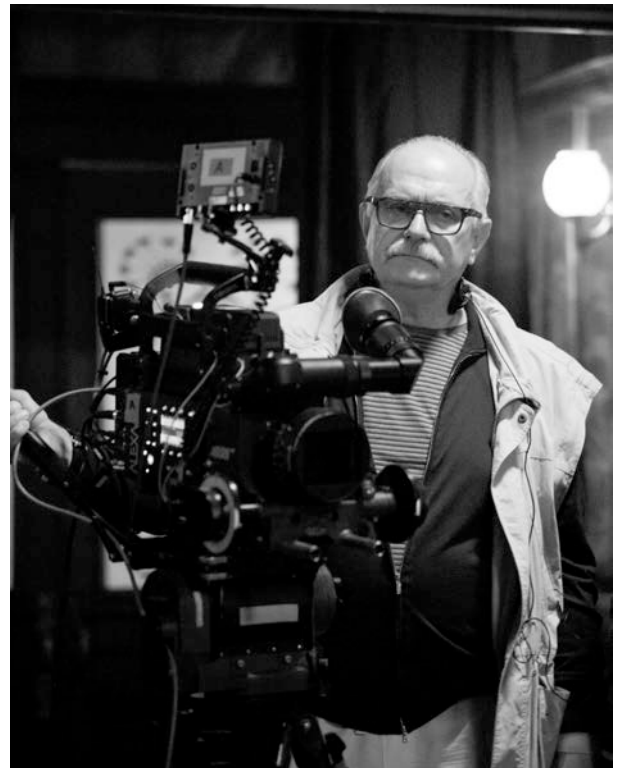
И вот новая работа режиссера — «Солнечный удар». Выход этого фильма по произведениям Ивана Бунина на экраны — хороший повод для того, чтобы встретиться с режиссером и поговорить по душам. Ведь Никита Сергеевич кроме всего прочего — человек публичный, а поэтому вопросов к нему по текущему моменту накопилось предостаточно!

Никита МИХАЛКОВ

NOTA BENE

Никита Сергеевич Михалков (род. 21 октября 1945 года, Москва, СССР) — советский и российский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер, народный артист РСФСР (1984).

Председатель Союза кинематографистов России с 1998 года. Лауреат кинопремии «Оскар» (1994) в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» за фильм «Утомленные солнцем».



НИКИТА МИХАЛКОВ: «ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЗЯТЬСЯ ЗА СЦЕНАРИЙ, Я ОДИННАДЦАТЬ РАЗ ПЕРЕПИСЫВАЛ РАССКАЗ БУНИНА ОТ РУКИ!»

— Никита Сергеевич, мы помним Ваши великие работы, связанные с именами Чехова, Гончарова... Почему сегодня Вы обратились именно к большому бунинскому творению?

— В двух словах на этот вопрос не ответить... В великой русской литературе нет вещи более тонкой и наполненной чувственностью. История случайной встречи мужчины и женщины поражает своей простотой и пронзительностью. Всего чуть больше десяти страниц, но по накалу эмоций это непревзойденное произведение.

Прежде чем взяться за сценарий, я одиннадцать раз переписывал этот рассказ от руки! Вроде бы обыкновенные слова, знаки препинания, русские буквы... Но как это читается, в каком балансе все находится! Казалось, я уже должен был наизусть знать, какое слово в предложении будет следующим, но... в очередной раз оно все равно было другим и полностью меняло энергетику рассказа! Откуда эта магия? Из чего все соткано?..

Мужчина встретил даму на пароходе. Они понравились друг другу. Сошлись. Провели любовную ночь. Утром она уехала. Потом он ходил бессмысленно по городу, ждал вечернего парохода. Ел холодную ботвинью, выпил водки. Жара. Мухи. Вернулся в этот номер (он уже убран). Нашел шпильку... «Поручик сидел... чувствуя себя постаревшим на десять лет».

Все. Больше ничего! И это волнует так... Там нет ни убийств, ни острого сюжета, ни измен — ничего, просто выхваченный образ. Когда я улавливаю живого Бунина, это вызывает у меня дрожь.

— Бунинский поручик в Вашем фильме принимает участие и в трагических для России событиях гражданской войны. Как возникла идея совмещения «Солнечного удара» с «Окаянными днями»?

— Я шел к этой картине тридцать семь лет. И если бы я не придумал концепцию, которая стала основой фильма, то и сегодня не начал бы над ним работать. «Солнечный удар» в данной трактовке — не что иное, как осмысление гибели русского мира...

Гурзуф, Севастополь 1920-х годов. Советская власть пообещала белым офицерам подарить жизнь и свободу в обмен на погоны. Обманула. Среди этих обманутых — и наш поручик. Ему вспоминается былая влюбленность, прожитый ко-

гда-то день после дивной ночи с незнакомой женщиной. От внезапной влюбленности — к страстной ночи, затем — к этому усталому утру, к невероятному опустошению.

И оказывается, что этот знойный пыльный день — с раздражающими мухами, комарами, рыбалкой, водкой — окажется на краю пропасти самым счастливым...

Мне важно было объединить состояние того, кто вынужденно покидает Россию в 1920-м, с теми днями, которые он провел за двенадцать лет до этого. Главный герой задает себе и окружающим главные вопросы: почему, когда и как все это произошло?.. Ответ, на мой взгляд, прежде всего в том, что вина лежит на всех.

Большевики не с Марса прилетели — эта история своими же руками создана. И это очень важно, потому что мы сегодняшнюю жизнь и историю тоже делаем своими руками.

— Вы упомянули, что шли к бунинской теме тридцать семь лет. Это был долгий путь... Расскажите, как так вышло?

— Пожалуйста. Думаю, это будет даже своевременно, так как история «Солнечного удара» уже успела обрасти «удивительными подробностями» и всевозможными интерпретациями. В свое время все эти «подробности», в массе своей, рисовали историю данной картины в достаточно неприглядном виде. Поэтому я хочу, чтобы читатели все-таки получили ее, так скажем, из первоисточника.

Объясню суть. К сожалению, покойный режиссер Иван Дыховичный, с которым я дружил с юных лет, в свое время утверждал, что я — из зависти, скорей всего, или из каких-либо других недобрых чувств — лишил его возможности снять картину «Солнечный удар». (Потом он присовокупил к этому еще какие-то неведомые мне картины, которые я якобы помешал ему снять.) Это неправда.

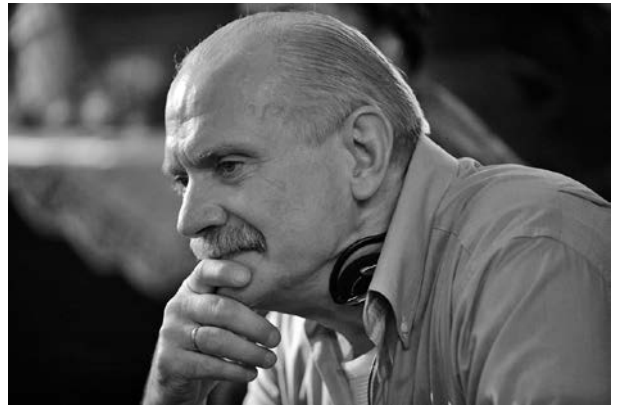
Что касается «Солнечного удара», суть всей истории в следующем. Мы дружили с Иваном. Я был очень рад, когда он поступил на Высшие режиссерские курсы в мастерскую Эльдара Рязанова. С большим воодушевлением смотрел его учебные работы. Мне очень понравилась его курсовая короткометражка — стильная черно-

белая картина, дававшая возможность понять, что появился очень сильный режиссер. Встал вопрос о материале для съемок диплома...

А за несколько лет до этого момента, после просмотра одной моей картины (то ли «Раба любви», то ли «Механическое пианино», уже не вспомнить), замечательный критик и киновед Владимир Дмитриев, к сожалению, ушедший недавно, отвел меня в сторону и воодушевленно сказал: «Сними “Солнечный удар” по Бунину!» И добавил, что если я выражу в кино хотя бы тридцать процентов того, что заложено в этом коротком рассказе, можно будет считать, что я режиссер. Меня это очень взволновало... Я, к стыду своему, еще не читал этого рассказа, да и вообще в то время имя Бунина не очень афишировалось (по понятным причинам). Но я отыскал книгу Бунина, очень старое издание, и прочел рассказ. Он меня потряс!

Я написал заявку и отнес на «Мосфильм», абсолютно точно понимая, что нереально, чтобы такая картина была запущена в то время. Но предполагая, что этой темой может со временем заняться и кто-то другой, боясь ее упустить, я отдал заявку. Как бы застолбил место. Закрепил за собой официально право на первую экранизацию этого рассказа.

Прошло несколько лет. Ваня Дыховичный успешно оканчивал Высшие режиссерские курсы... Как-то он позвонил мне и в числе прочего сообщил, что собирается снимать диплом и хочет в качестве сценарного материала взять рассказ Бунина «Солнечный удар». Я ему тут же сказал: «Вань, я очень тебя прошу, не бери этот рассказ, пожалуйста, не трогай. Я подал на него заявку. Она лежит на “Мосфильме”, и я этот рассказ очень хочу снимать. Пожалуйста, я тебя прошу. Давай вместе поищем что-нибудь, я постараюсь тебе помочь, что бы ты ни взял. Но, пожалуйста, не трогай “Солнечный удар”, потому что для меня этот вопрос уже давно принципиально важен!» Рассказал о разговоре с Дмитриевым. Ваня говорит: «Ну ладно тебе. Кто ты, а кто я? Это же диплом! Кто его увидит?» Я пытаюсь ему объяснить: «Вань, понимаешь, это все равно, что я сказал бы, что хочу жениться вот на этой девушке, а ты бы ответил: “Да ладно, Никит, я с ней только на юг съезжу на несколько дней, а потом ты на ней женишься”. Поэтому, пожалуйста, Вань... Это моя просьба — как к старому товарищу моему». Иван все это выслушал, формально мы не договорились тогда ни о чем, но все-таки мне показалось, что он меня услышал, потому что в ответ ничего больше уже не сказал. По крайней мере, я тогда надеялся, что услышан им и понят. Больше мы об этом даже не упоминали в разговорах, хотя продолжали видеться в разных компаниях...



Но через какое-то время, оказавшись на «Мосфильме», в приемной директора студии Николая Трофимовича Сизова я совершенно случайно вижу: на столе у секретарши на кипе папок со сценариями лежит сверху еще один, авторы — Сергей Соловьев, Иван Дыховичный. По мотивам Ивана Бунина «Солнечный удар». Я потерял дар речи в эту минуту. Приоткрыл обложку, полистал странички: да, ошибки быть не может, сценарий по рассказу «Солнечный удар».

Не спрашивая разрешения, я вошел к Сизову. Он с удивлением поднял на меня глаза. Я сказал:

— Николай Трофимович, если вы запустите картину «Солнечный удар», я уйду со студии и никогда больше сюда не вернусь.

— Почему? — спросил Николай Трофимович изумленно, подняв брови.

— Потому что это вопрос мужской чести и человеческого достоинства.

Я рассказал ему эту историю. Сизов вопросов больше не задавал. Вызвал секретаршу и попросил ее принести сценарии. Увидев первым сценарий Соловьева и Дыховичного, он отложил его в сторону. На этом вопрос был закрыт.

В тот же вечер Иван мне позвонил (хотя не звонил до этого почти год) и сказал:

— Знаешь, Никит, такая странная у меня история с картиной...

— Да? А что такое?

— У меня не запустили «Солнечный удар». Не запустили мой диплом. Ты не знаешь, в чем дело?

— Знаю, Ваня. Это сделал я, — сказал я ему сразу. — Ведь я просил тебя не трогать «Солнечный удар» и надеялся, что ты меня услышал. Я же просил не из страха, не от нехороших к тебе чувств, не из зависти. А потому что этот фильм — моя мечта, которую я лелею, и жду, когда появится возможность ее осуществить! Мало того, на несколько лет раньше тебя подал на нее заявку.

— Почему же Вам, режиссеру с наработанным уже в то время авторитетом, приходилось

терпеливо ждать, а режиссер-новичок, уверенно подав заявку на экранизацию полузапрещенного Бунина, рассчитывал на одобрение руководства «Мосфильма»?

— Да потому что эта была дипломная работа! И совершенно естественно, что она могла пройти именно как работа учебная — не выходящая на экран. Но вся беда в том, что в ту же секунду, как эта работа будет сделана, на долгое время возможность подойти к рассказу будет закрыта! Если не навсегда!

Конечно, Ваня произнес вполне ожидаемое: «Как же так, как ты мог?..» Разразился язвительной речью с бесконечным рефреном: «Кто ты, а кто я?» Я ему говорю:

— Ваня, дело в том, что если ты выходишь на ринг с тяжеловесом в надежде, что у тебя есть нож, дубина или автомат, ты должен быть готов к тому, что ими могут воспользоваться и те, против кого ты выходишь. Мне казалось, что у нас достаточно давние, трогательные, мужские, товарищеские с детства отношения, и ты сможешь меня услышать, понять или по крайней мере продолжить меня убеждать. Но ты поступил проще! Ты просто насрал на мою просьбу, забыл мое имя и тупо, ничтоже сумняшеся, сел с Сережей Соловьевым писать сценарий. У меня не было другого выхода, кроме как поступить так, как я поступил. Могу тебя уверить, что с любым другим человеком в подобной ситуации я бы, отстаивая свое художественное право, поступил бы точно так же. Я действовал открыто и шел до конца. Ты прекрасно понимаешь, что у Сизова была полная возможность решить вопрос не в мою пользу. И в этом случае мне пришлось бы выполнить свое обещание и уйти со студии. Как бы сложилась моя судьба дальше, я не знаю, но я шел ва-банк.

Действительно, каждому, кто знал Сизова, который не терпел никакого давления на себя, должно было быть понятно, что он совершенно спокойно, с учетом, что дипломная работа Дыховичного уже стоит в плане, мог меня «не услышать», объяснив это обычной целесообразностью студийной работы.

К сожалению, от этой истории в результате многочисленных «перепостов» осталось только то, что «Михалков закрыл картину Дыховичного». По злобе, по бездарности, по зависти и так далее...

Больше никогда никакого отношения к картинам Ивана я не имел. Но с тех самых пор Ваня не пропускал ни одного случая в прессе и по телевидению отозваться обо мне по меньшей мере нелицеприятно. Иван Дыховичный ушел из жизни в

2009-м, о чем я очень сожалею, он был режиссером бесспорно талантливый...

— Сегодня, в связи с событиями на Украине и в Новороссии, Ваш фильм приобретает поразительную актуальность. Нам впору спрашивать у самих себя: как же все это произошло? А ведь когда фильм «Солнечный удар» задумывался и снимался, не было, казалось бы, никаких признаков катастрофы. Ваш фильм — это невольное пророчество художника!

— Художественное творчество, художественное мышление с неизбежной фантазией порой волей-неволей бегут впереди времени. Видимо, так получилось и здесь. Конечно, задумывая картину, я не имел в виду какую-либо конкретную ситуацию. Скорее, размышлял в целом о том состоянии, в котором оказывается порой русский мир... Вот поручик не ответил на вопрос ребенка (а вопрос был важный!), вот остался без оценки священник-мздоимец, вот кто-то позаботился больше о своем кармане, чем о своем честном слове... И из всех этих проходных, казалось бы, деталей и складывается один внятный ответ. Нашему герою и нам всем. Ответ на вопрос: когда и как все это произошло?..

Почему же не возникло своевременного адекватного сопротивления той страшной опасности? Не верилось в ее реальность? Думали, страна большая — здесь стало плохо, на новые места перейдем. Об этом тоже говорят мои герои. Сидит в русском человеке эта обломовская лень-неохота самому вмешаться в жизнь своей страны, испачкать ручки... Я очень надеюсь, что в сегодняшней России (в том числе и благодаря таким фильмам, как «Солнечный удар») люди найдут силы победить в себе... это досадное качество.

А насчет пророчеств... Конечно же, я не оракул. У меня другая специальность.

— И все-таки. Прекрасно помню, как Вы еще в 1991 году в интервью, связанных с картиной «Урга», утверждали, что России необходимо переносить главный вектор сотрудничества в сторону Азии. За этим будущее...

— Да, было такое. Я даже написал тогда официальное письмо Силаеву. Разумеется, не был услышан. Но, как известно, время — сестра правды. Именно время показало нам, где же эта правда. Чему мы и видим свидетельства в изменении вектора сегодняшней политики.

Кстати, для такого «предсказания» не требовалось никаких мистических озарений, достаточно было повнимательнее посмотреть на карту России, большая часть территории которой находится в Азии. Да еще вспомнить родную исто-



рию. И прежде всего, историю отношений России с сопредельными народами.

— Никита Сергеевич, многие критики, посмотревшие «Солнечный удар», отмечают несколько художественных компонентов, которые слиты воедино в Вашем киноязыке. Философичность, берущая начало в русском мирозерцании, сливается с очень чувственной прорисовкой образов. А эпохальная масштабность съемок опирается на скрупулезность в воспроизведении исторических деталей. Вы специально так раскладываете на весь спектр каждый кадр, каждую сцену?

— Да, это принципиально важно. Я считаю, что самый страшный враг настоящего искусства — это то, что называется «вообще»: вообще казак, вообще кучер, вообще купец... Вообще пристань... И так далее. Площадку необходимо так подготовить для съемки общего плана с точки зрения декораций, деталей, лиц... даже лиц масовки, чтобы зритель имел возможность разглядывать кадр сколь возможно долго и нигде не найти торопливости, недоработанности, да и просто халтуры и липы.

В «Солнечном ударе» у нас даже актеры масовых сцен проходили тщательный отбор. В итоге эти лица не боятся даже крупных планов, каждое лицо словно из того времени, а кроме того, это образ со своей индивидуальной судьбой, своей историей. Обычно же даже в неплохих фильмах, когда снимается много людей, получается такая серая масса. В итоге доверие зрителя к тому, что происходит на экране, сразу стремится к нулю. Даже если актеры, создающие образы главных героев, хорошо играют.

— А ведь и в главных ролях в «Солнечном ударе» практически нет популярных актеров. Просто картина актерских открытий! Почему?

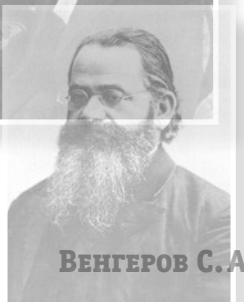
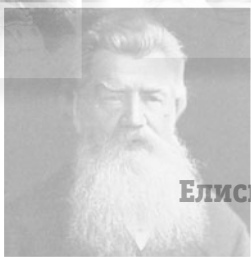
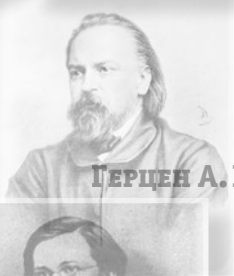
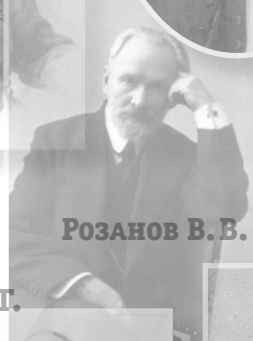
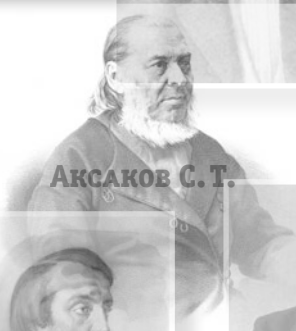
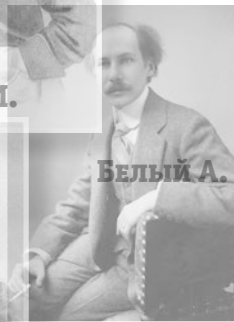
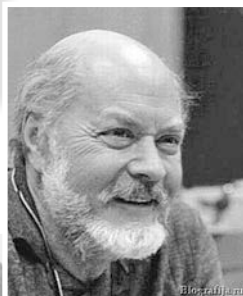
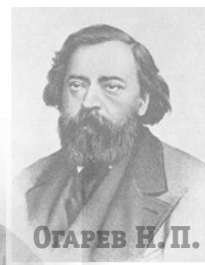
— Это тоже одно из принципиальных и очень рискованных решений. Дело не в том, что у нас нет актеров, актрис, которые могли бы блистательно сыграть то, что здесь необходимо. Дело в том, что, как мне кажется, настала пора обновлять звездный небосклон нашего кино. Популярные актеры, известные зрителю по кино, сериалам, очень часто выхолащивают, вырабатывают свой талант, как часто вырабатываются от долгого употребления части двигателей, даже высококачественных.

Дело не в том, что эти актеры потеряли профессию, наоборот, они не халтурят, стараются, честно относятся к делу. Но при той интенсивности, с которой они работают, у них по определению не может хватать времени для поиска себя новых, для возможности отказаться от сделанного и углубиться в искание новых граней своего дарования. Это приводит к тому, что они становятся для зрителя слишком привычными и понятными. Нужна новая кровь, новые лица, новые характеры.

Поэтому мой отказ от медийных лиц и поиск неизвестных, но талантливых актеров был осознанным. И честно скажу, как это было и сорок лет назад, мне просто интереснее создавать героев, нежели использовать уже готовый образ известных актеров. Конечно, это большой риск, но мне это интересно...

Беседу вел Михаил Крупин

Страницы Льва Аннинского





Продолжение. Начало в № 1–12 за 2013 г., в № 1–10 за 2014 г.

ПРИЗЫВНЫЙ СВИСТ

Не припомню точно, когда это было... кажется, осенью 1951 года: поступив в Московский университет на вождеденный филфак, я осваивался в его стенах, прогуливаясь (иногда прогуливая лекции) и озираясь в таинственных коридорах, увешанных стенгазетами и объявлениями.

Вдруг один листок в этом царстве стеной гласности меня остановил. Чем? Не припомню... Но словно что-то острое, яркое... точнее, ярко-красное сверкнуло в тихом хоре... «Молния» из серых облаков.

«Молния» извещала, что студент-комсомолец Лесневский пытался сорвать важное факультетское мероприятие, на которое были приглашены уважаемые гости. Как он мог сорвать? Освистал знаменитого поэта Алексея Суркова.

Имя знаменитого поэта было мне знакомо. Имя отчаянного студента незнакомо. Я всматривался в имя — Станислав Лесневский, — чувствуя, как меня обжигает непредсказуемая энергия студенчества!

Потом я отвлекся на свои курсовые заботы, а с героем того дела познакомился лишь через два года — он был, кажется, уже дипломником. На каком-то общефакультетском мероприятии мы оказались за одним столиком — по обе его стороны.

Конечно, я не удержался:

— Правда ли, что передо мной человек, освиставший знаменитого поэта Суркова?

— И это все, что ты про меня знаешь? — улыбнулся мой собеседник и вдруг скомандовал: — Руку на стол! Пробуем силы в армрестлинге!

Мы схватились ладонями и, побряхтев, поочередно одолели друг друга.

Объясняя этот перекрестный успех, Лесневский заметил, что сила мышц зависит от состояния духа в момент схватки.

Ну да, подумал я, как присвистнешь, так и поедешь...

Знакомство наше состоялось.

Шестьдесят последующих лет мы встречались и сотрудничали регулярно. На научно-студенческой почве, потом на семинарах Союза писателей, в среде сугубо профессиональной и во время встреч и дискуссий с читателями. Лесневский был находчивый спорщик и великодушный собеседник — редкое психологическое сочетание.

Последние годы он приглашал меня на ежегодный устраиваемый им блоковский праздник в Шахматове, и я увидел в нем замечательного организатора.

Он был изумительно верен себе, этот знаменитый на весь свет знаток Блока и ценитель всего, что Блока породило...

Мне же из этого почтительного облака все по-сверкивала молния и слышался лихой призывный свист, пробудивший когда-то во мне вольного студента.

Продолжение следует.



МРАК НЕВИНОВАТОСТИ

Место встречи: РАМТ. Расшифровываю: Российский академический молодежный театр. Название спектакля — «Нюрнберг» — расшифровывать не надо: на программке — фото скамьи подсудимых, с которой в 1946 году отправились на виселицу вожди германского рейха. Рядом — статья о великом фильме Стэнли Крамера, увековечившего Нюрнбергский процесс на рубеже 60-х. И статья о сценаристе фильма Эбби Манне. Думают: не родственник ли Генриха и Томаса Маннов? Нет. Потомок эмигрантов, перебравшихся в Америку из России. Вошел в историю как хроникер юридических исков к фашизму: было еще двенадцать процессов после главного — судили гитлеровских законников. Повествование Манна об этом и легло в основу спектакля, поставленного теперь Алексеем Бородиным.

Сухой треск реплик: вопросы и ответы, вопросы и запреты. Сухой треск опорожненных стаканов о столы. Эта канонада прерывается то колдовской музыкой, то заразительным весельем: чувствуете ли вы, как талантлив немецкий

народ? Вот вам пение, вот вам танец... Ядовитый комментарий: вам было бы легче, если бы национал-социализм занесли в Германию какие-нибудь эскимосы? А если это сделали все-таки немцы, то как судить юристов, не имевших духу пойти против своего народа? Может, эти юристы прятали в душе какие-нибудь гуманные идеи? Может, опасались, что вместо них пришлют в суды каких-нибудь оголтелых палачей-эсэсовцев? Может, верили в оздоровление народа, приговаривая к стерилизации инвалидов или полукровок с неарийской кровью? А мог ли такой судья не присягнуть фюреру, если фюреру присягнула его страна? Страну лихорадило... Нашелся вождь, сказавший: «Подымите головы!» Благодарить надо такого вождя за то, что вернул народу уверенность?

Колом стоит этот вопрос в моем сознании. Понятно, почему? Откуда черный тупик при мысли о том, как судить народы, обрушенные историей в кошмар мировой войны?

И ведь мой народ тоже. Правда, социализм у нас назывался иначе...



Михаил ПОПОВ

Продолжение. Начало в № 10 за 2014 г.

ОДИНОКАЯ ВОСЬМИКЛАСНИЦА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ

ПОВЕСТЬ

Рисунок Юлии Спасовской

Экзекуцию проводили перед строем. Даже приходящую повариху-посудомойщицу тетю Тоню заставили выйти из дверей пищеблока, и она наблюдала за происходящим, вытирая руки не идеально чистым фартуком. Местные кошки Мама и Дочка петляли между ее монументальными голенищами.

«Дети», как упорно называл лагерников начальник, стояли в две шеренги поперек плаца с самыми различными выражениями лиц. К Земляникиной относились в массе неплохо, но все же любопытство — как накажут — было сильнее сочувствия. Некоторые догадывались: что-то в этой истории с шампанским не так, и надеялись узнать, а что так.

Лера и Мила занимали позицию у правой и левой оконечности строя, своим суровым видом придавая серьезность мероприятию.

Фашист сидел на ступеньках крыльца внутренней веранды и возился с подошвой своего миноискателя. Изредка поглядывал в сторону строя, давая понять — он тоже осуждает выходку Земляникиной.

Фома держал пустую бутылку из-под шампанского двумя указательными пальцами. Одним под дно, другим за горлышко. Поза была следовательская, казалось, что он сейчас начнет снимать отпечатки пальцев с предмета. Он поднес бутылку к глазам.

— Однако брют! Мой любимый сорт. Еще вчера эта бутылка стояла вон там, на столе. — Он махнул головой в сторону внутренней веранды. — Вечером. После отбоя. А потом пропала и найдена у тебя под кроватью, Земляникина. И она пустая.

— Я не ворую и не пью, — спокойно и твердо ответила Лиза.

— То есть бутылка сама влезла в окно спальни, открылась, выпилась и заползла под твою кровать, да?

Шутка была так себе, но в строю все же кто-то хмыкнул.

— Мне ее подбросили.

— Кому это могло быть нужно?

— Вам.

Прямой и, главное, верный ответ на секунду смутил начальника лагеря, но он тут же скрыл смущение за приступом деланого смеха:

— Для чего?!

— Вы хотите обвинить меня в воровстве, пьянстве и хулиганстве, чтобы выгнать из лагеря.

Фома опять рассмеялся, значительно искреннее, чем в первый раз:

— Ты говоришь так, будто у нас тут Мальдивы, а не почти что исправительное заведение. — Он вдруг опомнился, что немного проговорился, и добавил: — Правда, самого современного и патристического вида.

— Не только не Мальдивы, но даже и не Курилы, — пискнул кто-то в рядах — кажется, Коробков.

— Тихо! — скомандовал Фома.

Десантник встал и взял миноискатель наперевес, две фурии зашипели по краям строя. Тетя Тоня скрылась за дверью пищеблока.

— Что бы ты там ни говорила, но бутылка найдена под твоей кроватью, и пустая...

— Если бы я ее выпила, я бы до сих пор была пьяная.

— Значит, — вдруг обрадовался Фома, — у тебя были сообщники и собутыльники.

Лиза понимала — директор не собирался ее выгонять, пришлось бы объясняться с Агриппиной Александровной. Но подлая игра в бутылочку дает ему административное и моральное право на особый над нею контроль. Интересно, на чем она засыпалась? Кто-то донес? Не все смотрели сладкие сны после страшных сказок?

— Нет у меня никаких сообщников, а собутыльников и быть не может.

— Факты говорят об обратном. Сообщнички есть, правда, пока не выявлены, но выявлены будут. А тебя, как главу террористической группы, мы не отошлем, не надейся, мы тебя изолируем от общества.

— Как?

— В изоляторе. Там есть кровать, а в двери замок, а на окне решетка.

Понятно, сказала себе Лиза. Что Фома готовится к тайным делам на территории лагеря или в его окрестностях, и так было ясно. Но теперь очевидно, что замысел этот не только ночной, но и явно не безгрешный, раз единственную нежелательную свидетельницу директор собирается упрятать на все время в медицинский каземат.

— А теперь, дорогие мои, все. Цели определены, задачи, ну и так далее. Эс-Эс, вперед. На прежние позиции, рыть от окопа и...

Команда Фомы не была выполнена. Лера, Мила захотели переговорить с начальником в сторонке, подальше от детских ушей. И сообщили следующие сведения: за последние дни почти все девицы, занятые на пошивке российских флагов из разноцветных лент, искололи себе пальцы так, что страшно смотреть.

— Все пальцы зеленые, сам посмотри, — сказала Мила.

— Как это могло получиться? — усмехнулся Фома. — Ленты у них были синие, белые и красные.

Но шутка не прошла.

— Зеленки-то хоть хватает?

— Хватает, — скала Лера. — Но неплохо бы привезти и наперстки.

— Будут. — Фома обернулся к подошедшему Сан Санычу: — У тебя что?

— Мозоли. Надо, чтобы зажили. Хоть немного.

Неестественная для фашиста человечность.

Фома задумался. Ему было позволено держать воспитанников в ежовых рукавицах, но все же не калечить.

— Ладно, придумал. Сегодня день гимнастики.

— Какой гимнастики? — хором удивились мощники.

— Гимн будем учить.

— Российской Федерации? — проявляя невероятную сообразительность, спросил Фашист.

— Да, ты запеваешь. Всех в пошивочный класс. А Землянику под арест.

— В изоляторе же Даниленко, — сказала Мила.

— Ей все еще плохо? Умойте ее — и в постель, и чтоб никто не видел. Агентуру надо беречь. Так ты, Сан Саныч, всех ведешь. Мила, вы с Лерой — в изолятор. Землянику — ко мне.

Враги встретились на веранде, начальник одной рукой поглаживал Дочку, сидевшую на коленях, другой налил собеседнице чего-то в стакан из бутылки из-под шампанского.

— Это что, мне опохмелиться?

— Нет, это ключевая вода, графина пока не завели в хозяйство.

Лиза с недоверием посмотрела на стакан.

— Так о чем вы хотели со мной говорить, Олег Олегович?

Начальник задумчиво отхлебнул ключевой водицы.

— Я вот все думаю, что ты ко мне привязалась, чем я тебе так уж не нравлюсь? Или, наоборот, нравлюсь?

— Мне не нравится то, что вы делаете. Эти окопы в лесу...

— А что плохого в том, что мы по местам боевой славы ищем незахороненных солдат-победителей?

— Плохого — то, что не только солдат ищите, но и пистолеты-автоматы, а потом почистите и продадите.

Фома слегка поперхнулся очередным ключевым глотком.

— Так ты решила, что мы там черным копательством заниматься будем? Откуда ты это взяла?

— Из головы. Осталось только сообразить, где вы все это прятать будете. В каком сарайчике.

Фома несколько секунд грустно разглядывал собеседницу.

— Думал я тебя простить за эту несчастную бутылку, теперь вижу, что поторопился бы. Твое место все-таки под замком, подружка.

— Я вам не подружка.

— Это уж точно. Полежи там в гигиеническом одиночестве, поставь серию мысленных экспериментов — может, и дотумкаешь, где я храню еще ненарытые шмайссеры.

Лиза встала и начала спускаться по ступенькам. Не удержалась и сказала наглому врагу через плечо:

— Только не делайте вид, что ничего такого вы из окопов не собираетесь добывать. Я ведь даже знаю, когда за ними приедут. Через неделю, да? На таком большом джипе.

И почти сразу же начала ругать себя обидными словами: надо держать язык за зубами. Ну, произвела впечатление, но что толку? Предупрежден — значит, перепрычет. Лиза обернулась и увидела, как Фома яростно тычет пальцем в пульт своего телефона. Кому-то жалуется, с кем-то консультируется. Сволочь, лучше бы сонному мальчику дал разок побаловаться, вот была бы радость парню, а то смотреть страшно, как чахнет. Махнул Лизе рукой, уходи, мол, иди пой со всеми, мне надо поговорить.

И пошла правдолюбка на спевку.

Застала там интересную картину. Воспитанники расселись кое-как в зале, кто на столах, кто на подоконниках, Фашист вышел покурить, Лера выскочила за ним, Мила решила к ним присоединиться. Махнула рукой Лужиной:

— Запевай.

Лиза как раз вошла в тот момент, когда шахматистка, после довольно длительного обдумывания, выдала первую фразу:

— Россия — великая наша держава... — Выдала и остановилась.

— Нет, — сказал Борин, — не великая.

— А какая же? — поинтересовалась Каринэ.

— Пой! — На секунду открылась дверь и появилась голова Милы.

— Россия — огромная наша держава, — предложил вариант Борин.

— Дурак, — сказала мадемуазель Надсон. — Великая и огромная — это одно и то же.

— Не совсем, — прищурился Муха, как бы сравнивая значения этих слов.

— Бескрайняя, — предложил Борин.

— Россия — прикольная наша держава, — прикололся Коробков.

Все знали, что он не прав, поэтому никто и не стал отвечать ему.

Появилась Даниленко. Она выглядела плохо, но уже, кажется, полностью владела собой, и умывание холодной водой немного ее освежило.

— Лена, а как правильно? — спросила Каринэ, — Россия — тра-та-та, какая держава?

Даниленко ответила сразу же, отчего Лизе стало немного стыдно, она позднее директорской прислужницы вспомнила нужное слово:

— Священная.

Все почему-то очень обрадовались и хором в десяток голосов спели «Россия — священная наша держава».

— А что такое «священная»? — спросил Тиша, молчавший до этого в углу.

Это было трудное слово. Все вроде как понимали, что имеется в виду, и понимали, что слово торжественное, но объяснить, что именно оно значит, никто не был готов. Повернулись некоторые к Даниленко, но на нее опять, видимо, накатил волна дурноты, она отвернулась к окну и положила голову на руки. Неожиданно ответила Лужина из своей самоуглубленности, она высказалась так:

— Священная — это сакральная.

Даже если ответ был правильный, он нисколько не прояснял ситуацию.

— Правильно, — цинично рассмеялся Муха, — «сакральная» — это, значит, все скрали, да?

— Заткнись, — сказал ему Лиза.

— Сама заткнись. Что такое «сакральная»? Сама скажи!

Лиза сухо ему бросила:

— Сакральная — это священная.

Многие засмеялись. Одни решили, что Лиза сказала глупость, другие подумали, что она пошутила.

Ситуация разрешилась появлением троицы руководителей.

— Ну что, языки присохли? — весело спросил Фашист и довольно хорошим голосом повел первый куплет гимна.

Химичка с биологичкой охотно к нему присоединились.

Россия — священная наша держава,

Россия — великая наша страна.

Лиза, естественно, пела вместе со всеми, пела старательно, изо всех сил запоминая слова. Когда пели в третий раз, для закрепления, как сказал Фашист, Лиза поймала себя на том, что в голове у нее завожилась какая-то неположенная в данной ситуации мысль. Ей вдруг немедленно захотелось узнать, в чем разница между «страной» и «державой» и есть ли она в принципе. Но она удержалась, понимая, что это будет антигосударственный происк.

На обед были липкие макароны и странные, неодинаковые сосиски. Тетя Тоня ходила вдоль рядов и

вздыхала, словно извинялась за качество пищи, которую вынуждена была подать. Ели все, особенно парни, яростно. За исключением одного, может быть, Тиши-телефонщика.

Лиза сидела рядом с шахматисткой. Лужина ей, в общем-то, нравилась, несмотря на свой чуть-чуть обкуренный стиль поведения.

— Слушай, а как тебя зовут?

— Лужина, — сказала та, ничуть не удивившись.

— Нет, я имею в виду имя.

— У меня не очень красивое имя.

— Не хочешь — не говори.

— Почему не хоч. Меня зовут Дефа.

— Нет, я тоже еще дева. Как, думаю, и большинство девчонок. Или ты имеешь в виду знак Зодиака?

Лужина устало улыбнулась.

— Не «в», а «ф». Дефа. Сокращенно. Вот видишь, ты удивилась и обязательно захочешь узнать полное имя. Полное имя — Дефенс.

— Это что, по-английски?

— Да. Переводится как «защита». Когда у нас показывают матчи НБА, зрители часто кричат хором это слово. Папа говорил, что подает мне таким образом привет, а его этот призыв особенно мобилизует, потому что кажется, что зрители скандируют имя его дочери.

— Здорово, — сказала Лиза, хотя и не совсем искренне. Сложно они общаются между собой, Лужины.

Защита вздохнула:

— Я так и не полюбила баскетбол.

— Зато играешь в шахматы.

— В шахматы я не очень люблю играть.

— Слушай, я совсем с тобой ничего не понимаю, — засовывая в рот полсосиски, сказала Лиза.

— Я люблю решать шахматные этюды, ну, задачи. Могу час сидеть, два, пока меня не отвлекут.

— Все понятно, — сказала Лиза, хотя понятно было не все и понимать дальше было лень.

После обеда Фашист предложил всем желающим поиграть в волейбол вместо тихого часа.

— Это же фашистское предложение, — сказала Лиза, демонстрируя зеленые пальцы.

— Тогда бери свой матрас и иди в изолятор, — сказал Фома.

После этого он сам собрал постель нарушительницы и сопроводил ее в отведенное помещение. Чтобы удостовериться, что наказание вступило в силу.

Фашист с учительницами шумно резвились у провисшей сетки, перебрасываясь красивым, ярким мячом.

Лиза лежала в помещении, морщась от слабого запаха хлорки и изнывая от бездействия. Замок

в двери был крепкий, а на окошке действительно имелась решетка. Окно находилось в торцевой части одной из ног той самой буквы П, что представляло собой здание, и глядело прямо в густой лес. Видимо, поэтому и было укреплено куда серьезнее, чем окна в спальнях и классах для занятий. Створки отворялись внутрь, Лиза отворила их, но к свободе ближе не стала, дохнула лишь свежего хвойного воздуха.

Да, ситуация вырисовывается преотвратная: ее будут под конвоем Леры или Милы доставлять в цех по пошивке флагов, оттуда в столовку, к деревянному сортиру и умывальнику, а потом, дорогуша, сиди здесь в стерильном кубе с кроватью, тумбочкой и настольной лампой. Лиза заглянула в тумбочку и не обнаружила там ничего, даже паутины или брошюры о вреде алкоголя.

И пока она будет находиться в этом полузаклещении, Фома станет отгружать железяки времен Отечественной войны черным коллекционерам, а может быть, и участникам бандформирований, добытые безответными Шпиляускасами, неспособными организовать для толкового сопротивления.

Нет, изобретательностью директора можно даже восхититься. Ведь старинное боевое железо — это золотое дно. Это тебе не выключатели от общества слепых в ночную смену. И даже то, что ей, Лизе Земляникиной, удалось внедриться в эту преступную структуру, раскинувшуюся посреди родной природы, ничего не дает. Одной, пусть тупой и грязной, но действенной провокацией она парализована как боевая единица.

Кстати, у Фомы наверняка есть не только официальные конвойные войска в виде биологички, химички и Фашиста. Теперь абсолютно ясно — имеется и агентура, внедренная в ряды «детей индиго». Первый подозрительный объект, о котором надо подумать, — Даниленко. Ленка Даниленко. Стоп! Ленка, да не Ленка! Ну конечно. Кто она на самом деле?! Явно подсадная утка. Да она и старше всех прочих. Может быть, уже и не «дефа». Только одно смущает — слишком уж она похожа на стукачку Фомы, чтобы быть стукачкой. Она и не прячется почти, все время ищет, как ему бы угодить.

Ладно, Лиза, главное — не впадать в уныние. Ложись и соображай. Правда-то, как ни крути, на нашей стороне. Не может же правда быть на стороне грязного торговца ржавым оружием.

А потом был ужин. Как всегда, необильный и невкусный. Тетя Тоня извинялась виноватой доброй улыбкой, вздыхала и говорила, что старалась, да вот «продукт и печь» оставляют желать.

Лиза выразила директору возмущение, что ее подвергают пытке «сенсорным голоданием» — формулировка, подслушанная у папы.

— Чего ты хочешь? — усмехнулся Фома. — Что тебе, Интернет провести в изолятор?

— Я хочу вместе со всеми посетить киносеанс.

По вечерам в классе для шитья флагов устраивался «киноклуб». Старый телевизор с помощью старого видеоплеера показывал старые кинофильмы. «Чапаев», «Неуловимые мстители», «Новые приключения неуловимых», «Отроки во вселенной», «Ну, погоди!». На участие «в этом издевательстве» не все, но многие соглашались: а что делать, если больше делать нечего?

— Издевательство? — усмехался загадочно Фома. — Я вот вам поставлю всего Сокурова, тогда узнаете волшебную силу искусства.

Отличившимся на раскопках и пошивочных работах он обещал чуть ли не «Аватара» или даже «кое-что поновее».

Лиза не зря настаивала на своей пайке зрелищ. Она оказалась рядом с Мухой, и пока на экране выясняли — «А может, это любовь?», она уговорила его «посмотреть» дверной замок ее камеры. Муха согласился не сразу. Могло даже показаться, что он встал на путь исправления и не хочет больше выступать в своем профессиональном качестве. Отшептывался:

— Там все время в коридоре люди.

— Да твоему гвоздю нужна всего одна минута.

— Да нет, стремно, да и что это даст?

— Ну, если ты боишься...

— Отстань, я не боюсь.

— Боишься, что не справишься.

Это был правильный ход.

— Я не справлюсь?!

Но дожать взломщика не удалось, обещания поможь он все же не дал.

Обратно в «камеру» Лиза шла в неважном настроении. Фома вручил ей второй том «Графа Монте-Кристо» со словами:

— Обучайся искусству идеальной мести.

Конечно, Лизе было не до чтения. Она рухнула лицом в подушку, чтобы сдержать яростное рычание. Фашист крутнул ключ в замке.

Было уже около десяти вечера, за окном начало темнеть. Послышался какой-то не вполне идентифицируемый — опять же языком папы говоря — звук. А потом стал идентифицируемым. Металл вкрадчиво ковырялся в металле. Кто-то пытался проникнуть в замок.

Лиза сильнее вдавила лицо в подушку, она не знала, как отнестись к тому, что происходит: дру-

жественная ли это акция или непонятно кем устраиваемая провокация? Меньше всего спросу со спящего человека, поэтому — в подушку.

Последний скрип-писк, и металлические звуки стихли. Лиза помедлила еще пару минут, потом села на кровати и огляделась. В комнате никого не было.

Встала, подошла к двери. Потянула за ручку — заперта. Тот, кто хотел открыть замок, отступил без успеха. Но за попытку спасибо. Лиза снова села на кровать. Она знала, что в ее положении ничего не изменилось, но чувства говорили о другом.

Что-то произошло.

Ах, вот оно что.

На окне не было решетки. Собственный слух над нею пошутил.

В два прыжка Лиза оказалась у окна и поняла, в чем дело. Решетка была не вмурована в кладку, а устроена на манер большой ставни, прихваченной в нижнем углу замком. И с этим замком тайный помощник справился. Не только открыл его, но и отворил клетчатую створку.

Лиза прижала руку к груди, так колотилось сердце. Потом высунулась в окно и огляделась. Никого. В свидетелях только один замусоренный, заросший орешником сосняк. И темнело уже прилично.

— Спасибо, — очень тихо сказала Лиза и начала выбираться на свободу. Она не думала о том, что это может быть ловушка. Стоит ей спрыгнуть в траву, как из-за угла появится Фашист с розгой. Плевать, даже если так. Она была уверена, что сегодня должно произойти в лагере важное событие. Почему была уверена, ответить бы не смогла.

Прикрыв за собой створку так, чтобы не привлечь внимания, Лиза перебежала в лесную тень. Она уже очень хорошо ориентировалась в окружающих лагеря зарослях.

Отдышалась. Куда теперь? Ответ один — надо обследовать место, где давеча стоял внедорожник с яркими фарами. Если кто-то нынешней ночью явится способствовать преступной деятельности Фомы, то явится туда, потому что по-другому к лагерю не подъедешь.

Путешествие было несложным, все же имелся постоянный освещенный ориентир — в окнах административной части барака горел свет, играла музыка, доносились взрывы хохота — видимо, в ответ на рассказанные анекдоты.

И вот она на месте. Устроилась на теплом пеньке между двумя молоденькими елками, так что у нее как на ладони было и внешнее крыльцо штаба, и вытопанный колесами пятачок, куда прибывал автотранспорт из города. И автобус и внедорожник, «газель», доставлявшая лежалые, а может, и

краденые продукты в пищеблок к тете Тоне. А вот и она. Только что закончила работу? Села на скамейку у окон пищеблока. Интересно, она здесь ночует? Куда это она? Пардон, в нужник.

Лиза отвернулась. Она уже сидела минут двадцать, но ей не было скучно. На внешней веранде, хотя и тускло освещенной — свет шел только через окошко от настольной лампы, включенной внутри штаба, — шла некая жизнь.

Хорошо ли это — подсматривать за людьми? Но хорошо ли поступал Штирлиц, заглядывая в документы гестапо? Лиза дала себе слово: если дойдет до чужих интимных секретов, она закроет глаза.

Фашист с Милой и Лерой играли в карты. Появился Фома, ему предложили сесть четвертым, но он отказался.

Ушел.

Игра на веранде разладилась. Беззаботные голоса стали немного напряженными.

С расстояния в двадцать пять метров, да еще и при таком скудном освещении, понять, что происходит, было трудно. И расслышать удавалось немного. Лера требовала у Милы, чтобы та шла обходить спальни, — «сегодня твоя очередь». Мила отговаривалась тем, что она и так всех умыла и замки лично позапирала, так что таскаться лишний раз нет никакого смысла. «А я скажу Фоме», — угрожала Лера. «А я тогда...» — отвечала Мила угрозой, которой Лиза не разобрала.

Фашист в разговор не вмешивался, теребил струны гитары и мурлыкал себе под нос. Играл что-то знакомое. Да, догадалась Лиза, это были песенки Фомы, слышанные во время прошлых вылазок. Корявые слова, дурацкие ноты. Не может нормальный человек наигрывать их для удовольствия. Значит, желает подольститься к барину. Впрочем, кто сказал, что Фашист — нормальный человек?

Помимо этого мелкого открытия сделано еще одно, столь же мелкое: надсмотрщицы враждуют, что-то не поделили, надо подумать, как этим воспользоваться. Да, слишком мелкая добыча для такой блистательной вылазки.

К тому же если Лера все же вынудит Милу выполнить свои должностные обязанности, надо будет со всех ног нестись обратно в изолятор во избежание жуткого провала. Последствия будут ужасные — решетку приколотят страшными гвоздями, и уже ни за что не выберешься.

Лера с Милой перешли на повышенные тона. Но все это были маловразумительные колкости. Фашист стал напевать громче. Ничего о планах Фомы не удалось разузнать, и ни слова о том, что они собираются предпринять в отношении заключенной карцера.

Было такое впечатление, еще чуть-чуть — и биологичка с химичкой пойдут врукопашную. Причем по совершенно непонятной причине. Что с вами, девушки?!

Но, как говорится, чу!

Со стороны кладбища донесся какой-то звук. Похоже на визг тормозов и смутно различимые голоса, потом недовольное взрывание мотора, и тишина.

Непонятно.

Какие-то ночные посетители?

Кто-то заблудился?

Пожалуй, надо отправляться к себе, решила Лиза, но почему-то задержалась. Внутри все буквально изнывало от уверенного предчувствия: что-то должно произойти!

А она уйдет с наблюдательного пункта?!

Опасно? Тем лучше!

Ждать пришлось недолго. И опять звуки пришли со стороны кладбища. А потом между сосновыми стволами стали плавать светящиеся призраки. Явно какой-то автотранспорт приближался к ночному лагерю. Сначала, видно, сбился с дороги, а теперь движется в правильном направлении.

Не зря ты тут кормила комариков, Лиза.

Голоса на веранде смолкли.

На первый план вышел Фашист.

Сосновые окрестности лагеря все больше наполнились светом. Приближающаяся машина петляла по лесной дороге, покачиваясь на мягких проселочных ухабах, отчего роща полыхала, как помещение ночного клуба.

— Фома! — крикнул Фашист и бросился в штаб.

В середину песчаного круга, окруженного деревьями, вкатило большое авто, похожее на то, что Лизе однажды ночью уже приходилось видеть. Очень похожее, но нет, сказала себе Лиза, не будем спешить с выводами.

От веранды уже бежали к нему Фома в сопровождении членов персонала.

Дверцы могучей машины открылись. С водительского места сгрузился солидный мужчина с животом, с пассажирского — высокая дама.

Кто это?

Но загадочной ситуация оставалась недолго.

Фома закричал:

— Спартак Арнольдович, какими судьбами!

Директор школы, как всегда солидно, характерно подкашливая, сообщил:

— Вот мы тут с Агриппиной Александровной решили вас навестить.

— Отлично! — самым фальшивым голосом на свете заорал Фома.

Если бы Лизе нужно было в этот момент что-то говорить, она бы не смогла, дар речи исчез. Дар

понимания — тоже. Бабушка на ночь глядя, вместе с директором — здесь, в лесу. Да и Фома, судя по всему, в шоке.

— Приехали посмотреть, что тут у вас, — хмуро сообщила Агриппина Александровна.

— Но ведь ночь, — не очень умно отвечал начальник лагеря, — ничего не видно.

— Я взяла с собой фонарик, — сказала бабушка.

Спартак Арнольдович громко кашлянул. Могло показаться, что происходящее его не вполне радует.

Вся троица двинулась к корпусу.

Наконец Лиза вышла из ступора. Она поняла, что при таком развитии событий ей лучше посидеть у себя за решеткой. Проверяющие рано или поздно явятся в изолятор. Прямой путь по очевидным причинам для Лизы был отрезан, опять придется нести по ночным лесным тропам.

— Я позвонила сегодня вечером Спартаку Арнольдовичу, возникли у меня кое-какие опасения относительно работы лагеря, и он говорит мне: а я прямо сейчас собираюсь туда, и я — хватя, и поймала его на слове, мол, еду с вами, — объяснила Агриппина Александровна.

Фома, уже взявший себя в руки, кивал. Он шел впереди с товарищем завучем, директор, хмурясь и изредка покашливая, плелся сзади.

— Чайку? — бодро спросил хозяин лагеря, убирая со стола бутылку портвейна и надеясь, что при здешнем освещении она престарелой инспекторшей замечена не будет.

— Чайку потом. А сейчас я хотела бы повидать внучку. Поверьте, не только родственные чувства мною руководят. Просто я немного знаю эту девочку.

Фома бросил взгляд в сторону директора, как бы говоря: ну зачем вы сюда привезли этого монстра?!

— Идемте, конечно, идемте, Агриппина Александровна, — пел директор лагеря.

— Где у вас спальня для девочек?

— Лиза не в спальне для девочек.

— Что? А где?

Они уже прошли сквозь штаб и двинулись по коридору к повороту в ту «ногу», в «пятке» которой располагался изолятор.

— Она в карцере.

— Не поняла?

Директор лагеря набрался смелости и выпалил:

— Я ее наказал и посадил под отдельный замок, во избежание.

Агриппина Александровна на мгновение остановилась, так что Спартак Арнольдович кашлянул ей прямо в затылок.

Фома, уже полностью овладевший собой, решил перейти в наступление:

— Вы сами только что сказали, что Лиза ребенок особенный. И вот, оказавшись в нашем лагере, она взялась всячески доказывать это. Причем главным человеком, которого она решила во что бы то ни стало убедить в своей необычности, она выбрала меня.

— Продолжайте.

— Ну ладно то, что она дерзит в ответ на каждое мое слово, это я готов терпеть. Высмеивает методы моей работы — пусть! Но когда дошло до прямых, я бы сказал, правонарушений...

— Право... чего?

— Право, мне бы не хотелось углубляться.

— Углубляйтесь, — строго велела Агриппина Александровна.

— Воровство и пьянство.

Спартак Арнольдович кашлянул два раза, как бы подтверждая количество Лизиных правонарушений.

— Пьянство? — страшным голосом спросила Агриппина Александровна, и могло показаться, что воровство в данном контексте ее волнует куда меньше.

Они уже приближались к двери изолятора.

— Ну, пьянство теперь не докажешь, алкоголь, как известно, выветривается, но факт воровства доказан. Бутылку украденного у меня шампанского нашли у Лизы под кроватью. Вернее, бутылку из-под шампанского.

Агриппина Александровна потерла острыми сердитыми пальцами виски, словно пытаясь уложить в голову только что полученную информацию. Спартак Арнольдович и Фома переглядывались у нее за спиной с каким-то общинческим видом. «Что ты творишь?» — как бы говорил директор. «А вы зачем привезли сюда эту бабку?» — как бы отвечал начальник лагеря.

Пауза затягивалась. Фома достал из кармана соответствующий ключ.

— Вы знаете, Агриппина Александровна, вы уж извините, но у меня закралось такое подозрение, уж не влюблена ли она в меня.

— Кто? — глухо спросила бабушка.

— Лиза. Девочки в ее возрасте увлекаются молодыми учителями. Ничем другим я не могу объяснить количество внимания, уделяемого мне Лизой.

— Нет, — сказала завуч, — хотя да, Лиза близка к тому, то есть к этому возрасту... когда появляется интерес к представителям противоположного пола.

За дверью изолятора раздались какие-то звуки. Такое впечатление, что кто-то двигает с места на место кровать.

— Но, уверена, это пока не началось. Я слишком хорошо ее знаю и слишком внимательно к ней присматриваюсь ввиду понятных причин. Как раз, я думаю, когда она кем-то увлечется, она оставит свою правозащитную деятельность. Вы ее интересуете не как мужчина.

— А как кто?

— Что там происходит? — спросил Спартак Арнольдович, показывая пальцем за дверь, все еще пропускающую какие-то странные звуки.

Фома вставил ключ в замок.

— Уверю вас, не как мужчина.

Дверь распахнулась. В комнате было темно, но не пусто, это чувствовалось. Агриппина Александровна включила свой фонарик и быстро нащупала струей света кровать у противоположной стены. На кровати под одеялом кто-то лежал. Кто-то, судя по очертаниям вспухшего одеяла, огромный. Могла возникнуть ассоциация с волком, сожравшим бабушку из сказки, но в этот момент никому никакие ассоциации не явились.

— Ты кто? — спросил Фома, соображавший быстрее других.

Одеяло немного сползло вниз, и выяснилось, что гигант представляет собой двухголовое существо. Спартак Арнольдович даже не смог кашлянуть, фонарик в руке Агриппины Александровны дернулся. Фашист, тоже просунувший голову внутрь, грубо, хотя и вполголоса, выругался.

Две щурящиеся головы принадлежали Голове и Барракуде. Причем было видно, что под одеялом они лежат в одежде.

— А Лиза где? — страшным голосом поинтересовалась бабушка Лизы.

— Я здесь! — раздался голос слева. Переместившийся луч фонарика обнаружил в оконном проеме восьмиклассницу Землянкину.

— Девочка совсем не интересуется мужчинами, — признал директор школы, а начальник лагеря вдруг повторил слова, только что произнесенные Фашистом.

Агриппина Александровна велела поставить вторую кровать в изолятор и сказала, что сегодня перед сном поговорит с внучкой, а завтра утром, на свежую голову и при дневном освещении, оценит состояние лагеря. Возразить ей никто не посмел, хотя и директор, и Фома были явно недовольны.

Голова и Барракуда, как оказалось, были снабжены документами об оплате пребывания в лагере. Их повели устраиваться в спальне для парней.

И вот бабушка с внучкой беседуют.

— Надеюсь, хотя бы в то, что я не воровала и не пила шампанское, ты веришь.

— Допустим, Лиза, допустим.

— Что значит «допустим»?

— Прежде ты никогда не воровала и не пила, это не в твоём характере.

— Значит, вывод один — меня подставили. Этот вывод сразу же рождает вопрос — зачем меня нужно было подставлять?

— Лиза, выключи свет.

— Комаров боишься?

— Люблю покурить в темноте.

— Здесь нельзя. Строго.

— Мне можно.

— Но это свинство, бабуля, обычное чиновное свинство. Рыба гниет с головы, и подчиненные не перестают воровать, пока не перестает воровать начальство.

Агриппина Александровна вздохнула:

— Ты права, но мне нужно подумать.

— А ты мысли добываешь из дыма? Как хочешь, я — против.

— Чего ты привязалась к старухе? Ты еще валокордин запрети мне пить, тоже ведь доказано — вредно!

— Предлагаю сделку.

— Что еще такое?

— Все, что не выкуришь, оставишь мне.

— И это говорит человек, утверждающий, что не пьет шампанского и не ворует.

— Мне для дела, для де-ела, бабуля. Сигареты здесь валюта.

— Как в тюрьме?

— В тюрьме я еще не была.

Агриппина Александровна сладко затянулась в темноте.

— Ладно, излагай свою версию.

— Да простая версия: Фома бизнесменит, в школе я ему поковеркала финансовые потоки, он выплеснулся на природу, а тут снова я.

— Какие у него могут быть здесь заработки, Лиза? Макароны вам недокладывает?

— Жрачка, кстати, дрянь.

— Называй ее едой, может быть, будет казаться вкуснее.

— Нет, они со своим Фашистом привезли миноискатель.

— С кем?

— Ну, с Десантником.

— Опять не поняла.

— С Сан Санычем Лобычевым.

— Что, минируют муравейники?

— Миноискатель — это наоборот. Тут были бои в лесах, когда напирал Гитлер.

— А теперь Фашист ищет его следы.

— Да, бабушка, смешно, но не смешно, что там, в земле, куча оружия. Фома, то есть Олег Олегович, — черный копатель. К нему же приезжал мужик на большой машине, как у бандитов, кстати, ночью приезжал, заметь, сказал, что через неделю опять будет. Для чего? Забрать нарытое. Но я все время сижу за решеткой и не разузнала еще, где арсеналы. А шампанское понадобилось, чтобы обосновать решетку. У Фомы, директора, судя по всему, есть агентура среди нас, доносят.

— У тебя прямо какая-то Агата Акунина.

— Бабуля, ну ты и сама понимаешь, что я почти наверняка права. Зачем бы потащился здоровый хитрый молодой дядька в лес с толпой малахольных жертв прогресса, если не на заработки?

— И я у тебя хочу спросить: что, молодой неглупый дядька не может больше нигде заработать, как в лесу в реабилитационном лагере для детей с отклонениями в развитии? Одно приходит в голову — там, в окопах, зарыт клад. Золото партии, причем фашистской партии. Тогда все сходится. Что молчишь?

— Клад в голову не приходил.

— И слава богу. Тебе вообще в голову мысли приходят только определенного рода. Ты, например, даже не спросила, что там с папой после той истории.

— И что там с папой после той истории?

— Ладно, тебя не переделаешь. Может, когда вырастешь, найдется молодой укротитель. Слушай, Лиза, а я тебя хотела спросить — извини, просто обязана задать этот вопрос. А ты, часом, не увлеклась, так сказать...

— Поняла-поняла, успокойся, не увлеклась, сама думала об этом. От ваших этих влюбленностей девы не только гормонально дуреют, но и сильно теряют в умственном отношении, а у меня на Фому мозги только проясняются, иначе бы он не вел со мной войну всерьез.

Агриппина Александровна несколько раз зятянулась.

— Спишь, Лиза?

— Нет, злюсь.

— А сейчас-то...

— Как на что? Я поняла, что произошло с Головой и Барракудой.

— И что с ними произошло?

— Это все штуки нашего начальника. Это он подставил им эту страшную бабку.

— Ту, что попросила их проводить ее до кладбища?

— Понимаешь, Олегычу нужно, чтобы мы, контингент, сидели по ночам тише воды у себя в бараке, пока он будет обстреливать свои дела.

— Золото партии отгружать?

— Продолжаешь шутить — значит, давление нормальное. Не знаю, для чего ему надо — запугивать нас этими кладбищенскими штуками, пока не знаю. Кстати, Даниленко — его человек, то-оно, она сразу с этого начала.

— С чего?

— В первую же ночь стала истории про «черную руку» и всякое такое нести.

— Ну, дети во всех пионерских лагерях этим развлекаются. Еще мы, помню...

— Мне все ясно, ба.

— Мне расскажешь, что именно?

— Олег Олегычу...

— Ладно уж, называй его при мне, как тебе удобно.

— Фоме нужна свободная ночь, мы спим под замком, каждый с собственным горшком, а он в это время... — Пружины в кровати Лизы издали нервный звук.

— Ты считаешь, он черную магию поставил себе на службу? — Агриппина Александровна затушила сигарету.

— Но ты сама видела их.

— Кого?

— Голову и Барракуду.

— Да, на Голове лица не было.

— Не могли же они испугаться невесты чего.

— Да все просто, Лиза. Доехали не до места, высадил их частник раньше, не знал подъезда непосредственно к лагерю. Поттащились пешком, а тут начало вечереть, а навстречу старуха с клюкой, тоже мне редкость в русской природе. Проводите сынки, говорит, до погоста. А тут стемнело еще больше, и старуха уж им показалась страшенькой, а страху только дай зародиться, что-то она там сказала, и они дунули от нее, и от кладбища...

— Старуха? С клюкой? А кто за ними по лесу ломился, как лось? Они оба в один голос про эту погоню тараторят.

— Хочешь посмеяться?

— Нет.

— А я насмешу. Это ты за ними бежала. Да, да. Ты же спешила вернуться в свою клетку, пока меня к тебе не приведут.

Лиза немного помолчала.

— Да, ты умная. Я бежала по лесной опушке, может, они меня и слышали. Но все равно с той бабкой у кладбища не все ясно. Понимаешь, Голова и Барракуда не трусы, сама проверяла, и чтобы так ошалеть от страха...

— Самое интересное, что они прямиком в окно твоего изолятора забрались, а не куда-нибудь еще.

— Просто я решетку не закрепила, вот она и отворилась, пока я там твой приезд высматривала, а они как раз на это окно из леса и выскочили. Лезь — не хочу.

— Ну да, ну да.

— Знаешь что, бабуля, здесь что-то происходит, я пока не разобралась. Черные копатели наехали, какая-нибудь еще хрень...

— Не надо ругаться, у тебя язык начал портиться, ты помнишь, как сама вела с этим борьбу?

Лиза вздохнула, бабушка была права.

— А как насчет вернуться домой, внучка?

— Ну, не обижай, парни ко мне через такой страх пробились, а ты...

— Я и не очень рассчитывала, по правде сказать. Просто Спартак Арнольдович предложил.

— Директор? А он какую роль играет во всей этой истории?

— Фома, то есть Олег Олегович, позвонил ему с жалобами на тебя. Спартак Арнольдович позвонил мне — зачем ему неприятности в подведомственном заведении.

— Понятно, понятно.

— Что тебе понятно?

— Я остаюсь, бабуля. Впереди много дел. Без кровопролития, но к победе.

— Мат? Какой мат? — Фома сделал удивленное и оскорбленное лицо. — Да я им даже «упс» и «вау» запретил, как элементы эрозии родной речи.

— Кое-что я слышала сама.

— А, это когда я увидел двух дружков Лизы у нее в постели, ну, знаете, — вырвалось! И у кого бы не вырвалось, Агриппина Александровна!

— А это что такое?

Высокая комиссия находилась в классе для шитья российских флагов, и завуч взяла в руки один из них. Обход территории, как и опасалась Лиза и была уверена ее бабушка, ничего не дал. Никаких складов боеприпасов не обнаружилось на территории лагеря, пищеблок если и не блистал чистотой, то и резких нареканий не вызывал. Утреннее меню было скудным, но питательным, что, впрочем, оговаривалось изначально условиями педагогического эксперимента. Тетя Тоня Спартаку Арнольдовичу и Агриппине Александровне даже понравилась. Спокойная пожилая женщина. Опрошенные дети никаких внятных жалоб не высказывали. Ныли, и было понятно, что они пожаловаться могут только на отсутствие того, от чего и просили их оградить родители.

Никаких компьютеров.

Никаких мобильных телефонов.

Нет даже развивающих настольных игр типа «Монополия», «Галактика», «Происхождение видов».

— А из книжек — только проверенные временем авторы. Классика, как я вам и гарантировал.

Агриппина Александровна осмотрела библиотеку и заявила собравшимся детям, что у настоящего Робинзона Крузо не было даже зачитанного «Робинзона Крузо».

Короче говоря, дети поняли, что надеяться не на что, высшее руководство на стороне Фомы.

— Теперь он озвереет, — сказала Каринэ.

А сейчас завуч держала в руках сшитое из трех разноцветных лент полотнище в полметра шириной и спрашивала:

— Что это такое?

— Флаг, — ответил за своего прямого подчиненного директор школы.

Но сообразительный подчиненный уже догадался — что-то тут не так — и стал плести что-то, чтобы успеть сообразить, что именно не так.

— Ко Дню независимости. Девочки. Собственными руками. Знаете, Агриппина Александровна, меня всегда мучило, почему всегда эти полоски так неаккуратно друг к другу пришиты, всегда что-нибудь топорщится на стыке цветов. Причем даже если флаги висят по телевизору за креслом президента...

— Я не про то. Пусть там что-нибудь и топорщится. Президент терпит, и я потерплю. Но есть вещи поважнее — порядок цветов.

— Ах, поря-ядок.

— Как они должны располагаться на российском флаге?

Фома молчал секунды две, а потом как сорвется с его языка бранное слово.

— Е-мое!

— Вот видите, — сказала Агриппина Александровна, — а говорите, что не ругаетесь.

Он молчал, она продолжила:

— Белый, синий, красный — так надо шить. Только в таком порядке, и никак по-другому.

Лера и Мила стояли вытянувшись с белыми лицами, которые начинали краснеть. Фашист сбежал подальше от места страшной экзекуции к миноискателю.

— И что значат эти цвета?!

Никто не знал ответа. Агриппина Александровна обвела всех ядовитым взглядом, и даже Спартак Арнольдович поежился.

Фома вдруг, зажмурившись, начал отвечать.

— Белый означает благородство и откровенность, синий — верность, честность, безупречность и...



— Целомудрие! — грозно напомнила завуч. — А красный?

— Красный — мужество, смелость, великодушные...

— И любовь! Что вы так улыбаетесь, Олег Олегович?

— Простите, я просто... ну, рядом целомудрие и любовь, сразу не сообразил. Странно.

— Ничего не странно. Вы, я вижу, видите странности там, где...

— Нет-нет, я ничего не вижу там, где не надо видеть.

— А это что?

Агриппина Александровна вытащила из стопки флагов работу, явно принадлежавшую исколотым пальцам Лужиной. Ленты были переплетены и сшиты в шахматном порядке.

— Это флаг Хорватии?

— Нет, я подумала, может, усовершенствовать шахматную доску? — сказала Защита.

— Блин! — прошептал Фома, закрывая глаза.

Агриппина Александровна опять повернулась к нему:

— А вот выразаться не надо.

— Но я же...

— Я бы не накинулась со своими замечаниями на этот счет, не будь вы руководителем летнего лагеря для подростков, — примирительным тоном начала завуч, но голос ее быстро затвердел: — И если бы в речи моей собственной внучки я уже не обнаружила некую «хрень», причем это не самка хрена, огородного растения, используемого в пищу русским народом, любящим трехцветные флаги с правильно расположенными на нем

цветами! — И Агриппина Александровна вышла из помещения.

Фома поглядел на Леру с Милой, находившихся в пошивочном классе, и угрюмо спросил, поднимая полотнище, на котором белая полоса была пришита к красной:

— Кто это сделал?

— Наверняка Земляникина, — не задумываясь ответила химичка. — Диверсия.

— Дура! — ответил то ли ей, то ли все же омерзительной Лизе начальник лагеря.

— Ты что, слова без мата сказать не можешь? — зло спросил Спартак Арнольдович. — Беги догоняй, заглаживай как хочешь!

Спартак Арнольдович рванул неправильный флаг вдоль, как бы показывая неизвестно кому, что он резко против всякого надругательства над государственной символикой.

Фома мгновенно догнал строгую инспекторшу.

— Там все переделают, Агриппина Александровна. Мы успеем к двенадцатому. Наперстков я завез. Если надо, одолжу у Тони швейную машинку в деревне. Но я вам главного не сказал.

— Ах вот почему у девочек зеленые пальцы.

Фома тут же предъявил завучу удостоверение фельдшера с правом оказания первой помощи.

— Больше никаких микротравм, клянусь!

— Родители сюда отправляли своих детей не для того, чтобы их калечили, а скорее наоборот. Согласны?

Фома выпучил глаза и размахнул руки, показывая, до какой степени он «да».

Агриппина Александровна встала на привычно назидательную волну, все же тридцать лет в школе.

— Но ведь поранить ребенка можно не только иголкой, но и словом.

Директор уже торопливо кивал, опять-таки — согласен!

— Лекция, Агриппина Александровна, лекция. Язык — это наш друг, тем более родной язык, и мы должны, сами понимаете, всячески... и я решил — лекция!

Суровая гостья остановилась и свысока поглядела на запыхавшегося Фому.

— Лекция?

— Про, извините, мат. Откуда он и почему нам никак не годится. На настоящем этапе.

Она мощно, угрожающе прокашлялась.

— Вы хотите под видом лекции нашим детям сообщить вслух все эти ужасающие слова? Я знаю, как выглядят специальные лекции на данную тему.

— Что вы, нет же. Я учитываю аудиторию. Они не узнают ничего, кроме того, что нецензурно выражаться стыдно.

Агриппина Александровна посмотрела на подошедшего Спартака Арнольдовича. Тот сделал движение руками, означавшее, видимо, «попытайся». Когда завуч отвернулась, обдумывая прозвучавшую идею, директор показал своему историку кулак — «что ты опять затеял, идиот?», а вслух сказал:

— Но ведь, как я понимаю, надо подготовиться. Через недельку так, да? Мы подведем с Агриппиной Александровной.

— Да хоть через две, — с готовностью согласился Фома.

Завуч медленно повернулась к нему.

— А по-моему, такая лекция у вас должна была быть готова еще до выезда на природу.

Фома побледнел, но улыбнулся:

— Так она и готова.

— Тогда зачем нам со Спартаком Арнольдовичем приезжать лишний раз?

В этот момент в местах общего умывания Лиза беседовала с Мухой. Он умывал руки, не исключено, что после только что произведенного в неизвестном месте мелкого взлома. Лиза встала рядом, для вида подняла крышку одного из умывальников и, встав на цыпочки, заглянула внутрь, мол, сколько там водички.

— Это ты? — спросила она у фыркающего юного взломщика.

— Чего? — искренне не понял он.

— Ты открыл замок на решетке?

— Какой решетке?

— В изоляторе.

Муха выпрямился, вода стекала с лица на рубаху, удивление на лице оставалось.

— Нет.

— А кто тогда?

— А я откуда...

— Не врешь?

— Не сейчас.

— Свободен, — сказала Лиза и освободила Муху от своего общества.

Слух о том, какое предстоит зрелище, мгновенно облетел ряды сосланных. Никого не пришлось специально загонять и искать по территории. Кроме того, сидеть на лекции — это лучше, чем рыть землю в лесу и загонять себе иголки под ногти.

Расселись в пошивочном цеху, закинув все неправильные флаги на подоконники.

Руководство разместилось за последним столом. Агриппина Александровна предчувствовала, что неплохо развлечется. Забавно будет понаблюдать, как этот умелец выкрутится из ситуации, в

которую сам себя ввинтил. Что думал Спартак Арнольдович, было непонятно. Лицо его выглядело непроницаемым.

Дети сидели в идеальных ученических позах, ибо территория простреливалась и с фронта, и с тыла.

Олег Олегович вышел почему-то с указкой, хотя не прихватил с собой никаких наглядных пособий. Очевидно, чтобы почувствовать себя в образе учителя.

— Не помню, заметили вы, дорогие мои, что я совершенно не употребляю или, скажем так, практически не употребляю в своей речи ненормативную лексику — то есть говорю на обычном человеческом языке, не злоупотребляя словами, которые в приличном обществе не принято употреблять.

Кое-как выскользнув из этого словесного пируэта лектор, видимо, почувствовал неожиданный прилив умственных сил.

— А знаете, почему?

Дети, конечно, не знали, а взрослые не сочли вопрос обращенным к ним.

— А потому что я себя уважаю. Прежде чем материться, нецензурно выражаться, сквернословить, надо подумать и вспомнить, как обстояло дело с матом в прежние времена. Надо сказать, грязно ругались и раньше. Еще до выборов нынешнего президента, и до дефолта, и до развала Советского Союза, и до Великой Отечественной войны, и до Октябрьской революции, если эти слова вам что-нибудь сейчас говорят.

— А Ленин матерился? — спросил Борин, и было понятно, что этот вопрос наполнен не праздным интересом.

— А Алла Пугачева? — поинтересовалась Каринэ. Фома отрицательно махнул указкой.

— Вопросы потом. А мы пока ударим интеллектуальным пробегом по сквернословью, словесному разгильдяйству... И вот что мы видим, взглянув на темное русское средневековье. Мы видим крестьянина, тяжело крестьянину, коровка не доится, лошадка вот-вот сдохнет, а землю пахать надо, и хоть сам впрягайся в соху с бороной. Есть в хате нечего, ни макарон с тушенкой, ни киселя. Но, должен заявить вам несомненное «но», крестьянин русский не матерился. Почему же, спросите вы? А ответ простой, у крестьянина были нужные слова для обозначения всех явлений, которые его окружали. Землю он называл землей, воду водой, корову коровой, тоску тоской, черта чертом, сволочь сволочью, а вся любовь происходила тут же, на полатах, и нечего было судачить об этом простом, понятном, а значит, и не стыдном бытовом деле. Ему не нужно было выдумывать дополнительный язык. Крестьяне

экономны от природы, зачем содержать для обозначения одного явления несколько слов.

Фома перевел дух.

Никто его не перебивал.

— Тогда встает вопрос, а матерился ли барин, который пользовался результатами непосильного крестьянского труда? Нет. Барин брезговал говорить на ржаном крестьянском языке и завел для себя импортный, французский язык. Парле ву франсе комси комса о-ля-ля. Это чтобы подчеркнуть не только имущественное свое отличие от землепашца.

Лектор прошелся перед слушателями, протыкая воздух указкой, как бы нанизывая мысли, населяющие его.

— Так откуда же берется этот самый мат, если три основные группы населения к нему не прибегали?

— А кто третья? — спросила Лиза, слушавшая лектора очень внимательно.

— А, попы. У них была Библия, и все нужные слова они брали оттуда. Ну вот, если не крестьяне, не дворяне, не священники, то кто ругался?

— Царь? — недоверчиво спросил Барракуда.

— Нет, ну как, посудите, царь! Да, царь иной раз сердит, но он один, ему столько не наговорить слов, чтобы замусорить целый язык. А ругались, дорогие мои, скоморохи. Бродячие артисты. Народ, надо сказать, предельно презируемый во все времена.

— И Джордж Клуни презируемый, и Брэд Питт? — спросила недоверчиво Каринэ.

— Я говорю не про сейчас, а про давно и даже очень давно. Тогда театр называли «вертеп». Знаете, что такое вертеп?

— Нет, — ответили сразу несколько голосов.

— Еще его звали «позорище», тут-то вам ничего не надо пояснять, надеюсь?

— Надо, — подала голос поэтесса. — Разве стыдно играть в театре?

— Или в телешоу? — поддержали ее.

Фома с трудом подавил сердитую гримасу.

— Сейчас ничего не стыдно, даже в голом виде, а тогда стыдно было, и очень. Скоморохи мучились, но ничего не могли поделывать со своими обезьяньими склонностями, от этого им и было так за себя обидно, что они бранились непрерывно. И все их представления, а это уж современной наукой вполне доказано, состояли из сплошной нецензурщины. Шлялись они по всей Руси-матушке и постепенно засоряли речь чистую и гладкую. Но...

Лектор снова несколько раз прошелся туда-сюда.

— Но не все воспринимали скоморошью поганую речь. С сознания одних она скатывалась, как с гуся вода, а вот в извилины других залегала. И знаете,

кто оказался наиболее восприимчив к пакости этой? Не дворянин, он в своем французском языке как в дорогом сюртуке прятался, не крестьянин, из него всякая умственная зараза с потом выходила. Дворяня. При имениях было довольно много полупраздного люда с непонятным набором обязанностей, чуть-чуть слуги, чуть-чуть бездельники, доедали с барского стола, иногда и участники утех хозяйских. Им и огрызок пирожного доставался, и барским стейком по физиономии перепадало, когда у барина разыгрывался холецистит. И вот они, находящиеся в неопределенном положении субъекты, очень даже усвоили матерную речь. Среди них она заколосилась.

— А у нас дворники все таджики, они по-русски вообще не говорят! — встрял один из Шпиляусков, второй подтвердил: да, все так.

— Ну, если бы вы услышали, что они там себе думают не по-русски... Но, главное, дворник — это не часть двора. Дворник — он тот же крестьянин, только не в поле, а на асфальте и с метлой. А дворня — это слуга, лакей, человек с неопределенным статусом, матерною речью он рефлектирует на этот свой статус.

Агриппина Александровна кашлянула. Спартак Арнольдович поиграл лицевыми мускулами: давай попроще.

— Со временем явление пошло вширь, в толпы заводских рабочих. Петр Первый строил Урал — чугуны давай, пушки... Рабочие были кто? Прежние крестьяне, от земли оторванные, образования не получившие, подвешенные в воздухе социальной неопределенности. Рядом с шахтой, железной горой, верфью и доменной строились теснины страшных бараков, вот там она и расцвела пышным махровым цветом, всепроникающая матушка матерная речь. Пролетарий, перестав быть крестьянином, так никем больше и не стал, и мучительно переживал свое ложное состояние, и глубинное свое недовольство миром выражал с помощью мата.

Лектор упер острие указки в передний стол, и голос его стал уверенным, даже назидательным.

— А поскольку революция у нас была объявлена как пролетарская, то и пролетарская культура должна была стать главенствующей. А в ней, извините, кроме мата... Я не хочу ничего плохого сказать против рабочего человека. Наоборот, даже уважаю того, кто своими руками может... Вон у меня сосед — токарь шестого разряда, так это артист, а не сосед. Сейчас он на пенсии, а в свое время сам министр отрасли знал его лично и руку жал. Так он и не матерится никогда. Он нашел себя в мире, он токарь, и в качестве токаря ему не стыдно и не обидно

предстать ни перед кем. Я о другом. Потребность в мате, то есть в словесном перепачкивании всего святого, важного, тонкого, появляется у человека внутренне обиженного, недовольного своим местом под солнцем. В тот момент, когда человек матерится, он как бы признается: я не знаю, кто я, я никто, меня каким-то непонятным образом выбросили из жизни, причислили к быдлу. Но потом, обнаружив, что таких много — да большинство практически, он, наоборот, начинает бравировать, как бы заявляя — а все быдло, все мразь, и нечего притворяться. Выдумываются всякие глупости, что мат гибче основного языка, что без мата, по крайней мере у нас на Руси, ничего не построить и войны не выиграть...

— Ну, хватит! — встала со своего места Агриппина Александровна.

Когда они остались втроем, она спросила у докладчика:

— Что это за теория? Я о такой не слыхала, хотя, между прочим, у самой Кучборской эту тему проходила.

Фома, бросив взгляд в сторону директора, сказал:

— Моя теория.

— А когда придумана?

— Ну-у...

— Чепуха, конечно же. Но не буду вам выговаривать за интеллектуальное самоуправство, думаю, до отроков ваш пафос дошел в минимальной степени.

Лектор-директор улыбнулся с виноватым облегчением.

В то же самое время заседал и другой триумвират. Лиза у пищеблока грызла шоколад, привезенный вчера из города соратниками.

— Как это вас отпустили?

Барракуда только хмыкнул. Голова объяснил:

— Отец как только узнал, куда я собрался, не только заплатил и за меня, и за Барракуду, но еще и на такси денег дал. Ему, оказывается, мое сидение в Сети вот где.

— Бабуля позвонит ему сегодня и успокоит, что доехали. И твоей мамане.

— Не обязательно, — вздохнул Барракуда, — она и не заметит, что меня нет.

— Так, — Лиза спрятала недоеденную плитку шоколада в карман комбинезона, — вас еще не обыскивали? На предмет айфонов-телефонов.

— Нет, — сказал Голова.

— Пошли в лес.

— Зачем?

— Зароем, а то отберут!

— В лес? — мрачно спросил Барракуда.

— Вы что? — ткнула парней острыми кулачками Лиза. — Все из-за старухи трясетесь? Что за дурь?! Не ходят мертвецы, не выкапываются из земли, просто попалась вам неприятная, очень старая гримза, вечер, лес кругом незнакомый, про кладбище спросила, вот и щелкнуло в башках. Пошли-пошли, вон за теми елками и закопаем, а вдруг понадобится позвонить срочно, если Фома совсем с ума сойдет.

— А чем копать?

— Там лопаты у сарая, сейчас резко разделимся, а то кто-нибудь обязательно высмотрит, а соберемся вон там, у раздвоенной березы. Ни из одного окна это место не просматривается.

— Ну, он вообще парень креативный, — покашливая, развивал свою мысль Спартак Арнольдович, следя за выражением лица Агриппины Александровны. Не мог никак предугадать, какого директорского вывода главный идеолог ждет от него.

— То, что Фома, то есть Олег Олегович, молодой человек с широким набором идей, и раньше было известно.

— Я понимаю, он слегка зарвался, его, как бы это сказать, понесло, но в целом позиция хоть и странная, но, как раньше говорили, «наша». Стоп цензурщине!

Завуч молчала.

— Я подумаю, как его наказать, но ведь надо учитывать, что контингент достался ему не рядовой.

— Это вы про Лизу? — исподлобья поглядела на него бабушка.

— Лиза девочка удивительная. Да тут все того, и не слегка. Такое индиго в голове. Но вот эта ее идея насчет черного копательства... — Спартак Арнольдович виновато развел руками, мол, это ни в какие ворота.

— Да-да, это у нее пунктик, — кивнула Агриппина Александровна. — А мы вот что сделаем: мы присоединим ее к мальчикам, пусть сама покопается в земле и увидит, что никакие боеприпасы из нее не изымаются для неизвестных целей.

Лицо директора просияло. Фома, стоявший рядом, понуро кивнул — мол, ладно.

— Разумеется, больше никаких изоляций и карцеров, эту историю с шампанским я считаю недоразумением, Лиза никогда не возьмет чужого.

— Разумеется, недоразумение, — поспешил согласиться Спартак Арнольдович.

Фома опять сделал вид, что ему все равно.

— Теперь что касается дальнейшей программы. С патриотизмом у вас все в порядке. Гимн разучиваете, флаги...

— Перешьем, перешьем... — поднял руки директор школы.

— Мы еще наляжем на историю, — сказал Фома.

Агриппина Александровна внимательно на него посмотрела.

— Только вы не сами сочиняйте эту историю, я понимаю, у вас, наверное, на все есть своя версия, но тут лучше опираться на авторитеты.

— Будут только авторитеты, — серьезно подтвердил Фома. — История, традиция, авторитеты. Только документы и утвержденные программы.

— Ну что ж, будем прощаться, и едем, Спартак Арнольдович.

Директор вздохнул:

— Да, да, только, знаете, последнее...

— Что еще?

— Вот эти два мальчика, которых мы нашли в кровати у Лизы.

— Но ведь все выяснилось — недоразумение. И решетки у вас не на замке.

— Все теперь будет на замке, — немедленно пообещал Фома.

— Я не о том, — поморщился директор. — Они с какими-то странными рассказами явились. Да, с квитанциями, все оплачено, но эта старуха, кладбище. Зачем нам пугать детей? Остальных.

— Так что, вы предлагаете отослать их обратно? Сами же говорите, у них оплачено за пребывание. Значит, родители в курсе.

Спартак Арнольдович вздохнул.

— Понимаю, они приятели Лизы.

— Это оставьте, и чепуху с кладбищем тоже. Я еще и вам должна объяснять, что никакие мертвые старухи по дорогам не могут шляться? Видите, у меня от волнения даже язык поехал.

— Но все-таки не мат, — хмыкнул Фома.

— Ничего, дайте им лопаты в руки, и вся чертовщина вылетит с потом. И все разговоры о ней прекратить. Я больше о ней слышать не желаю!

Орлята учатся летать!

Как трудно спорить с высотой,

Еще труднее быть непримиримым!

После завтрака колонна мальчиков двинулась на место ежедневных раскопок. Впереди вышагивал Фашист, последней семенила Лиза. Лидер движения нес на плече огромный миноискатель, у крохотной Лизы был на плече небольшой совок. Лиза понимала, что со стороны выглядит комично, но стоически переносила хихиканье «портних», уво-

димых Лерой и Милой в мастерскую на переделку знамен.

Метрах в трехстах от лагеря располагалось несколько невысоких всхолмий, поросших сосняком. Кое-где на вершинах этой лесной гряды имелись углубления. В общем, при желании их можно было принять за линию старинных окопов, заплывших песком и засыпанных палой листвой. Три или четыре из них были свежеразрыты, но неаккуратно и неглубоко.

Фашист снял с плеча свою бандуру для поиска подземного железа, нацепил наушники и сдвинул брови. Можно было подумать, что в предстоящей операции он именно на брови больше всего и рассчитывает. Юные поисковики, лениво зевая, плелись на нем, волоча за собой явно уже ставшие ненавистными лопаты, пиная попадающиеся изредка сыроежки. Вооруженный человек вдруг останавливался, начинал медленно топтаться на одном месте, вода подошвой миноискателя туда-сюда. Потом подзывал пальцем парочку ребят, например Борина и Тишу, и показывал подбородком — копать здесь. Для новеньких он провел короткий инструктаж, сняв наушники. Голова, Барракуда и Лиза узнали, как вести себя при обнаружении патронов, гранат и взрывчатки.

— Здесь были страшные бои? — спросила Лиза.

Фашист кивнул и призакрыл глаза, мол, бои действительно были тут ого-го какие. Лиза с решительным видом вонзила совок в песок, перемешанный с мелкими сухими ветками и хвоей. Фашист сделал отрицательный жест рукой: нет, здесь останутся они, то есть Голова и Барракуда, а ты иди за мной. Пришлось подчиниться. Они продвинулись вдвоем по холму еще метров на пятьдесят.

— Тут, — показал десантник.

Почему нужно было копать именно тут, Лизе было непонятно, но возражать она не стала. Поплевала на ладони и врубилась совком в хвойный наст. Человек с миноискателем отошел к ближайшей сосне, положил прибор на землю, сел, привалившись спиной к большой сосне, и растекся в сладкой надсмотрщицкой дреме.

Так, поняла Лиза, ей оказывают честь, господин в наушниках будет присматривать за ней лично, как за самым опасным представителем контингента.

Однако присматривать ему как раз и нелегко. Вчера ночью руководство на радостях очень гуляло, даже пели «пьяную, помятую, пионервожатую». Исполняли и еще какую-то вокально-инструментальную жуть, в сравнении с которой даже «пионервожатая» казалась хоралом. Впрочем, размышляла на эту тему Лиза без особого ожесточения, моральный и интеллектуальный облик лагерной

элиты давно уже был ей ясен. Наоборот, она очень рассчитывала на то, что Фашист ночью пел и пил много, поэтому скоро от дремы перейдет к отрубному храпу.

В том участке почвы, что ей выделили для исследования совком, конечно, никакого военного железа и быть не могло. Лиза поняла это очень быстро. Засыпающий Фашист халтурил не только по отношению к педагогической идее, но и по отношению к своему преступному вожаку. Но не возмущаться же в самом деле тем, что тебе плохо закрепили оковы!

Уже через пятнадцать минут Лиза отправилась по «объектам». Первой она нашла яму Борина и телефонщика Тиши. Оба не работали. Толстяк банально ел, сидя на куче песка с раскрытой пачкой печенья «Топленое молоко». Тиша лежал ничком на соседней куче, подложив под бледный лоб голый локоть. Если бы он застонал, это дополнило бы картину.

— Что с ним? — спросила Лиза шепотом у Борина, делая вид, что не заметила его пищевого преступления против режима.

Толстяк был ей за это благодарен. Она, скорей всего, никому не расскажет о том, чем он занимается тут, в окопе. За это он ответит на все ее вопросы.

— Что с парнем?

— Голодание, но алфавитное. Даже термин есть. Он мне говорил: а, эсэмэс-исихазм!

— Чего-то я не слышала о таком.

— Нет, правда, если у человека отнять его телефон, он впадает в такое.

— Чепуха!

— Не чепуха, в Европе этого уже полно, и даже лечат в клинике. Как компьютерная зависимость, даже злее. Человек должен все время держать пальцы на клавиатуре телефона, он может ходить, играть одной рукой в шашки, есть, — Борин показал пачку печенья как аргумент, — а другая рука все время посылает и посылает, ну, поняла? Исихазм.

— А здесь ему не дают, и он...

— Чахнет, сама видишь. Как я без сгущенки.

— А как лечат? Я имею в виду, там.

На этот вопрос ответил сам болящий, приподняв голову:

— Надо постепенно, как у курильщиков, сокращать дозу. Нельзя резко обламывать, очень тяжело. Можно еще и ночные процедуры применять.

— Какие еще ночные процедуры?

Тиша опять лег, Борин объяснил:

— Когда такой психихаст засыпает, ему в руку дают телефон, и он во сне отводит душу. А утром забирают, и человек весь день держится.

— С кем же он переписывается во сне?

Тиша застонал, и Лиза резко занесла руку — молчи! Фашист услышит!

Шпиляускасы работали, как красиво украшенные машины, — тюнинг и графика. У них были самые большие лопаты и самые большие успехи. Два дня назад они отыскивали железяку, похожую на подкову. Фашист исследовал ее своим прибором и объявил, что его оставила на поле боя артиллерийская лошадь, убитая налетевшим месершмитом.

Лиза некоторое время наблюдала за ними, попутно стараясь разобраться в сюжетах, покрывавших длинный, плоский торс татуированного брата.

— Вот так бы Борин...

— Что? — одновременно не поняли они.

— Похудел бы.

Лиза хотела спросить братьев, что они будут делать, если тату и пирсинг вдруг выйдут из моды. Но догадалась, что не стоит. Спросила по работе:

— Ну что, были тут бои?

Один из Шпиляускасов полез в карман шорт и достал оттуда большой ржавый и кривой гвоздь.

Свой инспекционный рейд Лиза продолжила в ухудшающемся настроении. Версия о том, что настоящая фамилия Фомы — Бут и в окрестностях лагеря «Родник родины» намечается крупная торговля оружием, все больше превращалась в фикцию.

— Ни фиги тут нет, — подтвердил Барракуда и потряхнул головой так, что с нее веером полетели капли пота.

Голова только подтверждающе вздохнул.

Лиза сидела на краю окопа и жевала горькую веточку. Что же это получается — пустышка? Ничего мы тут не имеем, кроме самого обыкновенного трудотерапевтического лагеря, вся преступность которого — только в извращенных учебных приемах, применяемых персоналом.

Нет, сказала она себе, не все так просто. Лагерь, конечно же, всего лишь прикрытие.

— Кто-то же к Фоме приезжал, я сама видела. Пусть не торговцы оружием. Но кто тогда?

Голова и Барракуда молчали.

— Стойте, вы что-то говорили про избушку.

Соратники переглянулись и вздохнули.

— Вы бежали по лесу, краем глаза заметили небольшое здание и не повернули к нему только потому, что там не горели окна. Я вас понимаю: маленькая темная избушка в лесу — а вдруг это и есть жилище нашей Бабы-яги.

— Ты зря смеешься, — сказал Барракуда.

— Я не смеюсь, я рассуждаю. Поверь, в вашей ситуации я бы и сама не сунулась ни в какую избушку в лесу ранней ночью. А вот днем...

— Что — днем?

— А днем, Голова, неплохо было бы нам ее разыскать. Почему-то у меня крепнет уверенность, что избушка может оказаться элементом большого плана Фомы.

По тому, как парни посмотрели на Лизу, было понятно, что у них такой уверенности нет.

— Да, соратники, тут явно что-то есть. Кладбище, старуха, избушка, ночные гости Фомы.

— Послушай, Лиз, ты высмеивала нас, когда мы боялись ходячих мертвецов, а сама теперь туда же.

— Я сейчас все объясню.

Не пришлось, шумнули кусты — и появилась недовольная физиономия недовыспавшегося Фашиста.

— Земляника, а я думал, что ты только во время земляных работ будешь у нас парнем.

Лиза явилась на «теоретические занятия» на мужскую половину во второй половине дня. В женской аудитории тоже предполагалось заняться теорией. Лера с Милой должны были погрузить неумных любительниц «ВКонтакте», «Гарри Поттера», «Властелина колец» и непрерывных шахмат в пучины самого натурального «Домостроя». Оказывается, Фома и с этой стороны подготовился к выезду на природу и захватил с собой старинную книгу в современном издании. Невеселые надсмотрщицы по очереди вертели ее в руках, прикидывая, с чего бы правильнее всего было бы начать.

Сам Фома, напротив, сразу же пошел в интеллектуальную атаку на мужскую часть контингента:

— Александр Васильевич Суворов. Что вы про него знаете? А я должен вам сказать, что был это персонаж самого особенного разряда. Он вполне может считаться основателем Швейцарии. Да, до альпийского его похода такого государства не существовало. Не проиграл ни одного сражения за всю свою карьеру, что бы там ни плели про Кинбурнскую косу. Был одним из самых остроумных и умных людей своего времени. Если бы Наполеон не потащился по совершенно невнятной причине в Египет и им довелось бы сойтись где-нибудь на поле боя, вот здорово было бы посмотреть. Любил вешать поляков и казаков, но не по своей охоте, а когда государыня попросит.

Парни сидели со скучающими видами.

Лектор прохаживался перед ними, всем своим видом говоря: мне велели вам дать историю, и вот я даю вам историю, а тут неподалеку исправные подручницы Лера и Мила дают девочкам «традицию». Попутно он еще и забавлялся такой мыслью: у нас тут само собой ввелось раздельное обучение, как в послевоенной школе.

— А почему вы говорите, что самый умный? В чем это выражалось?

Да, отвернувшись, Фома поморщился, обучение было бы подлинно раздельным, а значит, по-настоящему традиционным, если бы не девочка Лизавета. В каком это старинном романе петербургский студент укокошивает топориком бабку и подвернувшуюся под руку особу с таким точно именем? Только та, великовозрастная Лизавета, значительно меньше портила кровь окружающим, чем эта лютая малолетка. Только старушки при Лизаветах, пожалуй, равны отвратительностью, хоть и каждая в своем роде.

— Так в чем же выражался суворовский ум?

Фома повернулся уже с улыбкой:

— А мы сейчас все и узнаем. Мы будем конспектировать и заучивать наизусть суворовскую «Науку побеждать». Ведь вы хотите побеждать — правда, мои юные сеньоры?

Лектор положил руку на плечо Тиши-телефонщика и едва не потерял равновесие — плечо не явило никакой опоры, сидячая фигура качнулась, как водоросль.

Фома пораженно покосился на отрока, выхватил из полиэтиленового мешка стопку листов и начал быстро и тупо диктовать. Нечего интересничать, играть в ловкого рассказчика, отныне — заунывное талдыченье и фаршировка бошек.

— «Наука побеждать» по своему назначению является наставлением по строевому и тактическому обучению войск. Она делится на: первое — обучение разводное или перед разводом и второе — словесное поучение солдатам о знании, для них необходимом. Центральным пунктом учения является двухсторонняя сквозная атака. Тактика Суворова логически вытекала из его стратегических взглядов на общие принципы ведения войны. В основу своей тактической школы Суворов положил правильное соотношение двух основных факторов боя — человека и оружия.

Слушатели по-разному отреагировали на начало лекции. Муха сразу же начал потихоньку вытаскивать самодельную колоду из носка. Шпиляускасы откинулись на спинку стульев: ну-ка поведай, мил-человек, а не прокалывал ли этот говорливый генерал себе язык или ухо? Телефонщик сидел вертикально, как немыслящий и сонный тростник. И только вздрагивал, когда Фома объявлял особенно громко:

— Каждый воин должен понимать свой маневр. Поняли, не просто знать и выполнять, но и «понимать»!

Лиза молча и быстро записывала все, что говорил Фома, и считала, что излагает он предмет внят-

но и доходчиво, разве что чуть монотонно. Голова и Барракуда как бы выполняли ее команду «делай как я». Борин что-то чертил в своей тетради, может быть, и просто облики особенно памятных тортов. Коробков и другие перебарывали позывы зевоты, так что в целом было ощущение, что лекция успехом все же не пользуется и Александр Васильевич Суворов не становится для будущих защитников отечества иконой поведенческого стиля.

— Глазомер: как в лагере стать, как идти, где атаковать, как гнать и бить! Быстрота: деньги дороги, жизнь человеческая еще дороже, а время дороже всего!

В этом месте Муха и Гарик на секунду отвлеклись от своей секи и бросили взгляд в сторону говорившего. Знакомое словосочетание «время — деньги», только при чем здесь Суворов в этом американском раскладе?

— Натиск: атакуй с чем пришел, чем Бог послал, руби колы, гони, отрезывай, не упускай!

Фашисту жилось в этот час привольнее всех, он прогуливался по двору с банкой мангового компота от «мужского» класса к «женскому», выгребал ложкой большие пахучие дольки, запикивал в рот и пытался определить на слух, какая ахиня скучнее — «Домострой» или «Наука побеждать».

У входа в пищеблок стояла, вытирая фартуком большие добрые руки, тетя Тоня. На лице у нее блуждало неуловимо счастливое выражение. Гречка вся съедена подчистую, даже черный хлеб разобрали с подноса, а теперь к такой науке припадают! Ну что за дети! Вернее — что за чудо-учитель Олег Олегович!

Подмигнув ей, Фашист сообщил:

— Есть только два математических действия: отнять и поделить.

Видимо ему хотелось продемонстрировать поварихе, что у него и интеллектуальный уровень имеется, и жизненная позиция.

— Нога ногу подкрепляет, рука руку усиляет! Стреляй редко да метко, пуля дура, штык молодец! Всякий своего противника должен целить, чтобы его убить! Сам погибай, а товарища что?

— Выручай! — жидким хором заныли слушатели.

— Хотя храбрость, бодрость, мужество всегда и при всех случаях потребны, токмо тщетны, ежели будут истекать от неискусства.

Муха на миг оторвался от карт в этом месте лекции и бесшумно присвистнул: данная конкретная мысль его непонятно почему впечатлила.

В конце лекции Лиза все же добралась до Фомы со своим неудовлетворенным интересом: и все же почему вы считаете Суворова таким уж умным?

Фома, укладывая в пакет бесценные свои конспекты, сказал:

— Умный — это тот, кто знает, когда имеет смысл придуриваться. Александр Васильевич иной раз был просто шут.

— Шут — это кто шутит, да? — спросил Борин, чтобы показать: он тоже интересуется историей и лоялен к преподау.

— Нет, шут — это как раз тот, кто говорит правду. Да, учтите, я ведь не только говорил, я еще и смотрел, смотре-ел — не все записывали. Отвечать-то придется всем. И тем, кто спал, и тем, кто в карты резался.

Этой ночью Лиза решила не нарушать режим. Если какие-то исследования можно сделать при свете дня, то доверимся дню.

Фашист повел себя и во время очередного выхода на «линию окопов» точно так же, как и в прошлый раз. Побродил для виду с миноискателем, да и завалился вздремнуть.

— Муха говорит, что эта штука у него неисправная, он осмотрел еще в первый день, — сказал Барракуда.

Эта информация окончательно укрепила Лизу в новых подозрениях. Значит, никакого черного копательства у нас тут нет. Но что тогда?

— Я же чувствую — что-то зреет. Не вздыхай, Голова.

Тот только отмахнулся и яростно врубился лопатой в мягкое дно «окопа», как будто известие о том, что искать что-либо бесполезно, наоборот, придало ему сил.

Барракуда шепнул Лизе:

— Он с самого утра такой.

— Какой?

— Какой-то не такой.

— Понятно.

— Наверное, думает о своей команде.

— Его команда, Барракуда, здесь, и сейчас она займется делом.

И Лиза рассказала парням свой новый план, который начал у нее оформляться еще накануне.

— Значит, все-таки избушка, — вздохнул Барракуда.

— А вы думали, я забуду?

— Да нет там ничего, — сказал Голова, но в его словах настолько не было никакой уверенности, что Лиза даже не сочла нужным комментировать их.

— А если Фашист притащится сюда?

— Скажем, что пошли грибы искать.

— Как это мы скажем, если нас здесь не будет?

— Хватит ставить мне словесные подножки и совать логические палки в колеса. Позови, Голова, Борина. За три наших компота он нас прикроет.

Барракуда насупился. Все же на вечерний компот он в каком-то смысле рассчитывал — какие тут в дебрях еще развлечения?

Сначала пришлось устроить совещание — а где она, замеченная в вечернем полумраке, неприятная лесная избушка? Мнения слишком не совпадали. Судя по всему, обследовать предстояло половину леса, надсмотрщик двадцать раз проснетесь. Все-таки о каком-то общем направлении поисков договорились. Решили идти на расстоянии шагов в двадцать друг от друга. Ориентиром для возвращения, если что, взяли ель с сильно загнутой вниз вершиной, которая стояла примерно там, где дремал миноискатель.

Лес, когдаходишь в него, готовясь к встрече с чем-то неизвестным и почти наверняка неприятным, очень скоро начинает производить впечатление враждебной среды. Обыкновенные еловые лапы покалывают неожиданно, всякие сучки предательски хрустят под подошвами, и то оттуда, то отсюда раздаются звуки, происхождение которых сразу и не определишь. Ежи небось резвятся или белки спяют. И главное — освещение: имели мы беспримесно июньский полуденный хвойник пополам с орешником, а вдруг потянуло каким-то почти что бором, щаббно стало вокруг. Или только кажется?

Да нет, Голова повертелся на месте, вон она, Лиза, справа в желтой майке и синих шортах, как очень маленькая Украина. И Барракуда, если присмотреться, из-за елки выдвигается невдалеке слева. Юный интеллектурал не хотел себе признаваться, но ему уже очень сильно надоело в «Роднике» за какие-то несколько дней. Один этот людоедский режим наголо без родного экрана может довести до судорог и анемии нормального горожанина. Нет, его место, конечно, здесь, где они все втроем борются с реальным негодяем — может быть, вором, а может быть, и похуже. К своим компьютерным забавам можно будет вернуться, как только они возвратятся в город. Но вот только когда это будет?

Голова двигался все медленнее, и Лиза справа и Барракуда слева стали уходить от него вперед. И тогда он спросил себя — а не боится ли он? Что же все-таки произошло три дня назад? Во-первых, бабушка была какая-то огромная, капюшон высокий и острый кверху и надвинут так, что лица не разглядеть, только кончик острого, загнутого носа, клюв, чистый клюв. И голос, человек в обычной жизни не может издавать такие звуки — такое впечатление, что говорила обученная сова, с уханьем и бульканьем где-то в горле: «А как бы мне пройти на кладбище, сынки?» Как они дернули, не сговариваясь! Хорошо еще, таксист, перед тем как высадить, махнул рукой — мол, дома где-то там, за деревьями.

Нет, надо идти быстрее, а то подумают, что он трусит. Направление взято чуть в низинку, и вот уже запахло сыростью. Ручеек, узкий, извилистый, почти невидимый в траве. Когда давеча неслись, был ли он здесь? И здесь ли они проносились. Да нет же, избушку видели со стороны, справа от себя, значит, бежали... Голова обернулся и уже через секунду понял, что не видит ни Лизы, ни Барракуды.

Заблудился!

Опять стал вертеться, теперь уже в поисках елки с загнутой вершиной — ничего похожего. Вообще такое впечатление, что елок в здешних краях не водится и вообще лес не хвойный. Вблизи ручья царили осинник и ивняк.

Надо было отказываться — никакой избушки не было, нам все привиделось. Над головой что-то каркнуло. Голова резко и криво присел, почти касаясь одним плечом травы. Ворона. Обыкновенная, даже не очень крупная ворона, на ветке ближайшей осины. Голова был почему-то уверен, что та самая, только переодевшаяся птица, ухавшая из-под платка Бабы-яги.

Какие страшные места. День, солнце, тишина, и так жутко.

Что делать?

— Вот она, — раздался почти над ухом голос Барракуды.

Голова кинулся к нему и нашел его прямо за соседним кустом. Они с Лизой лежали за поваленным обомшелым стволом и глядели куда-то вперед с таким видом, как будто у них были полевые бинокли.

— Лежать, — скомандовала Лиза не оборачиваясь.

Голова повалился на бок и тоже подполз к бревну, служившему отличным бруствером.

Впереди в лесу виднелась средних размеров проплешина, расположенная в излучине того самого ручья, а на ней, ярко освещенная солнцем, стояла избушка, сложенная из серых потрескавшихся бревен, с крохотным окошком и дряхлым крыльцом. Ничего, ну абсолютно ничего опасного или хотя бы подозрительного во внешнем облике строения не было. Правда, вид у него хоть в общем-то и опрятный, но не жилой. Если бы на крыльце или на солнышке во дворе зевала кудлатая собака, бродила, кивая башкой, нечистая курица, сушились тряпицы на веревке, было бы лучше. А так она гола как-то и неестественно одинока.

— Мы туда, надеюсь, не пойдем, — сказал Голова.

— Мы туда обязательно пойдем.

Чтобы долго не раздумывать, Лиза сразу отдала команду — вперед! Сама двинулась первой. Подкрасться было совершенно невозможно — ни

деревца на подходе, чтобы укрыться, поэтому направились с открытым забралом прямо к срубам. Перепрыгнули ручеек, все время оглядываясь да посматривая по сторонам. Голова был уверен, что как только они попробуют приблизить нос к окошку, изнутри сунется чья-нибудь харя. Хорошо, если человеческая. Он перехватил взгляд Барракуды и понял, что друг опасается чего-то похожего. Лиза же решительно расплющила свою курносость по стеклу, щурилась, шипела, пытаясь высмотреть что-нибудь.

— Нет, ничего почти не видно. Печь, кажется, стол... Ни души. Тряпка белая, большая, на ней что-то... Нет, плохо видно.

Обошли кругом. На крыльцо подниматься не стали, оно заскрипело от одного взгляда на него. Да и не имело смысла соваться к дверям — вон какой амбарный там охранник. Немного стало легче на душе, когда неподалеку обнаружили яму с отходами, а там пакеты из-под сока, бутылки из-под вина, пустые консервные банки.

— Здесь были люди, — сделал вывод Голова.

— Да уж, домик не сам собой построился, — усмехнулся Барракуда.

Лиза терла переносицу, было понятно, что ей ничего не понятно. Следы нахождения здесь людей имели место, но одной бабушке столько не намусорить, да и не питаются бабушки шпротами, сыром «альметте» и чилийским вином.

Вдруг с той стороны, где спал Фашист во главе бессмысленных земляных работ, раздался крики.

— Ищут! — сказал Барракуда.

Лиза махнула рукой — возвращаемся, и они стали со всей возможной быстротой подниматься по пологому склону в сторону «окопов». Фашист кричал и матерился так, словно никакой лекции своего шефа о происхождении мата не слушал. Если вдуматься, для данного случая выводы Фомы были совершенно справедливы. Матерные вопли человека с миноискателем очень явно обнаруживали и его растерянность, и его опасения на свой счет, в случае если трое пропавших не сыщутся.

Надо сказать, что соратники Лизы в этот момент давали себе клятву, что, пожалуй, уже не будут столь бездумно и автоматически выполнять команды своей маленькой упертой руководительницы. Ведь если рассудить, все у нее не в жилу, все у нее мимо масти. Идея с оружием — явно ерунда, в кладбищенскую бабку она не верит, а ведь было, было, да еще как страшно. А теперь еще и шанс получить по шее от властей из-за этой бессмысленной вылазки.

— Стойте!

Все-таки остановились.

— Вон под теми елками наберите грибов. Мы же за грибами ходили.

Через каких-нибудь семь минут Фашист заглядывал в мешок, сымпровизированный Барракудой из собственной рубахи, и вытаскивал на свет грубой и удивленной ручищей великолепные белые грибы.

— Можно пожарить, — прокомментировала Лиза. — Отличная закуска.

Голова и Барракуда смотрели на нее со смешанным чувством. Да, с вылазкой, с несуществующим оружием, все, конечно, у нее... Но чтобы так, на бегу, и выследить целое грибное племя, да еще и белых...

Такая редкостная добыча произвела впечатление и на Фома. Он долго решал, как ему быть. Посматривал на гору превосходных боровиков, а потом переводил взгляд на троицу добытчиков. Вычитаем из преступления удачу или умножаем одно на другое?

— Я уверена, он догадался, что мы видели избушку, — тихо сказала Лиза.

— Нас же нашли у самых окопов, — пожал плечами Голова, — не доказано, что мы куда-то там ходили.

— И кто сказал, что он сам не знает про избушку эту, — в свою очередь пожал плечами Барракуда.

— Знает, — усмехнулась недобро Лиза, — знает. Как бы мы ни притворялись просто грибниками, он нам устроит.

Этим троим Фома ничего не сказал. Сделал большое объявление для всех. Во-первых, сегодня на ужин будет картошка с грибами, а во-вторых, все земляные работы отменяются.

В ответ на первое сообщение «ура» заорал Борин, второе вызвало восторг у всех. А зря. Взамен «поиска останков красноармейцев, павших за свободу нашей родины», вводится строевая подготовка после завтрака. Для мальчиков с древками, для девочек — со знаменами собственного изготовления.

— Близится важнейший, хоть и новый, но уже завоевавший, в общем...

— Знаменательный, — сказала Лиза.

— Да, знаменательный праздник, — согласился Фома, тут же понял, что зря согласился, но делать было нечего, — День независимости России. Возможны гости, мы не должны ударить в грязь лицом.

— И вы нас опять запрете на замок после ужина в такой знаменательный праздник?

— Нет, Землянкина, ты как всегда ошибаешься. Мы с вами все граждане независимой страны России и имеем право праздновать свой праздник.

— А как? — раздалась осторожные голоса, очень могло оказаться, что по-здешнему «праздновать» — это таскать кирпичи.

— Сначала будет экзамен.

— У-у-у, — поплыла унылая буква.

— А как вы хотели, вы попали сюда не для того, чтобы сами знаете что. И я бы мог вообще пресечь всякие там попытки неоговоренного веселья. Но я же понимаю и как руководитель лагеря «Родник родины» объявляю вечером в такой патриотический дня, как 12 июня, дискотеку!

Контингент ахнул и загомонил, так что Фоме пришлось перекрывать общий шум:

— Но только для тех, кто сдаст экзамен.

— У-у-у!

— А вы готовьтесь, благонамеренные дети, готовьтесь.

Показав издали пряник, Фома и не думал выпустить из рук кнут. В девичьей после обеда продолжался упорный домострой, перемежаемый походами по ягоды. Лужина, Каринэ, поэтесса и все остальные под ленивым приглядом зевающих воспитательниц бродили среди неинтересных деревьев, изредка находя на теплой полянке земляничину. Даниленко тормозила и тех и других, мол, велено Олегом Олеговичем наслаждаться природой, воздухом и теплым деньком, так давайте же, наслаждайтесь: смотрите, белка, смотрите, птичка!

Парни зубрили устав караульной службы, маршировали и учились разжигать костер на волейбольной площадке. Впрочем, костры быстро прекратились, когда горящую газету чуть не забросило порывом ветра на крышу здания.

Лизе пришлось соответствовать. Текст обязанностей постового она запомнила легко и даже поделилась с Фашистом своими соображениями насчет того, какой это продуманный и компактный документ. Но на плацу ей приходилось солоно. Не в физическом плане. Упорной мелкой силы в ней было сколько угодно, и команды «напра-аво! кру-угом!» она выполняла легко. Тяжело было в плане моральном. Ей казалось, что она выглядит довольно глупо в строю парней. И Фома укреплял ее в этом подзрении. Он садился на внутренней веранде с бутылкой холодной минералки и иронически поглядывал в сторону умучиваемого Фашистом «отделения». Особенно, Лиза была уверена, он любит ее строевой неказистостью.

Кроме того, надо было держать под контролем свое «войско». День проходил за днем в однообразном и неинтересном времяпрепровождении. Голова становился все более и более вялым, а Барракуда все более и более нервным. Моральное разложение кончается бунтом, предупреждал еще Суворов.

Лиза как могла старалась помочь парням. Для Головы она придумала вот что: вырезала из добытого в штабе куска картона прямоугольник и нарисовала на нем клавиатуру компьютера. Простой до идиотизма ход, но он сработал. Голова, уединившись, да хоть и в туалете, укладывал на колени картонку и постукивал по ней дрожащими от возбуждения пальцами. И тяжесть клавишного голодания уменьшалась. Он сказал, что постарается продержаться несколько дней, остававшихся до 12 июня.

Для Барракуды Лиза отыскала «гимнастический зал» — прибитую к двум соснам за дровяным сараем трубу, и он мог там в свободное время тренировать и подъем переворотом, и выход силой. Кроме того, она сказала ему, что может, в крайнем случае, конечно, стать для него и спарринг-партнером, чтобы он отрабатывал на ней свое тхеквондо и не слишком отставал от тренирующейся где-то на воле команды. Барракуда только вздохнул:

— Не надо, Лиза.

— Да почему не надо, я сильная.

— Стопудово, ты вешишь не больше двух пудов.

— Ну и что?

— Вот если бы ты помогла уговорить Борина, — хищно прищурился в сторону едока боец, — по этому тюфяку я бы отработался.

Лиза в задумчивости отошла.

Она пыталась помочь всякому, кто нуждался в подмоге. Глубоко замечтавшейся Лужиной она предложила: «А давай вылепим из хлебного мякиша шахматные фигурки и сыграем с тобой». Лужина снисходительно отказалась, примерно с таким же выражением лица, как и Барракуда. Типа, вот если бы ты мне могла сюда выписать Каспарова...

— Знаешь, я решаю в голове, нужно только закрыть глаза.

И Тише помочь не удалось. Изготовленная тем же способом, что и клавиатура Головы, «модель» телефона вызвала у тоскующего тихони истерику. Он зашвырнул подарок Лизы в кусты и убежал рыдая.

Ко всем нужен индивидуальный подход, сделала вывод Лиза. Будем думать.

— Что с ним? — спросил свидетель сцены Голова.

— У него исихазм.

— А, — понимающе кивнул он.

— Что-что? — переспросил Барракуда.

— Ну исихазм, — поморщился Голова.

— По-нят-но.

Но главные ее силы были направлены на разгадку замыслов Фомы.

— Так, — сказала она через пару дней, собрав совещание тройки, — я поняла, в чем тут дело.

Голова и Барракуда смотрели на нее устало и без доверия.

— Его цель — кладбище.

— У нас у всех эта цель, — заметил Барракуда, проявляя неожиданно философский взгляд на мир.

— Нет, вы не поняли. Кладбище попало в сферу его грязных коммерческих интересов. Что конкретно он задумал сделать, я пока сказать не могу, но что это будет связано с кладбищем, не сомневаюсь.

Парни переглянулись.

— Какая может быть коммерция на кладбище?

— Может, Голова, может.

— Клад он там, что ли, ищет?

— Может, и клад, Барракуда. Может, и клад.

— А может, трупами торгует! Я читал, в средние века медикам продавали тела для исследования.

— Нет, Голова, не трупы. Надеюсь, не трупы. Кладбище старое, заброшенное. И место, как я теперь думаю, проклятое.

Парни хором прыснули.

— Судите сами. Там есть церквушка, мы видели, когда проезжали, но разрушенная. Нынче, когда буквально везде каждую колоколенку реставрируют, это странно.

Тема была настолько далекая от сферы обычных интересов соратников, что они даже немного опешили, вон о каких предметах может, оказывается, размышлять их несгибаемая предводительница.

— Смотрите дальше: с первого дня наймитка Фомы Ленка Даниленко в палате у девочек сеет ужас рассказами про черную руку. Потом вы случайно натываетесь на страшную старуху, и она производит на вас неслабое впечатление, и вы об этом рассказываете здесь, в лагере.

— Мы случайно с ней встретились, — покачал головой Голова.

— А она, эта бабушка, я думаю, там и ходит на всякий случай. Нанятая. Вдруг кто-нибудь вечером захочет прогуляться из наших или, скажем, тетя Тоня с кухни. Ему важно, чтобы кладбище было для нас страшным местом и никто не сунулся бы туда, даже если что-то почует, подсмострит или о чем-то догадается.

С полминуты имело место полное молчание. Лиза переводила взгляд с одного, недоверчиво кривящего щеку, на другого, смущенно покашливающего. Они высказались в том смысле, что ты же сама, Земляникина, высмеивала нас за кладбищенские байки, а теперь? Лиза легко парировала: тогда я была права в том смысле, что чертовщина есть ерунда и дурь, а сейчас права в том отноше-

нии, что некоторые хитрованы от запретных видов коммерции все же могут иной раз использовать эту тему спекулятивно, то есть в своих мерзких целях.

— Не верите?

— Не очень-то, — сказали они.

— Я вам докажу. Сегодня же пойду к Фоме, и, вот увидите, он придумает тысячу предлогов, чтобы не подпустить никого к кладбищу. Он боится, что мы там высмотрим его проклятые секреты.

И Лиза при большом стечении народа вдруг обрушила на главу лагеря претензию: а что это у нас здесь за патриотизм с приобщением к национальной истории, если для нас предусмотрена только зубрежка старых уставов и не очень-то великорусского «Робинзона»?

— Чего ты хочешь, Земляникина? — спросил директор.

— А где посещение достопримечательных мест здешней округи? Окопы — это хорошо, но есть же и памятники архитектуры.

— Правильно! — воскликнул радостно Фома. — Экскурсия! Тут неподалеку есть старинный погост, и церквушка не менее старинная. Вместо маршировки и вышивания — экскурсия!

Лиза не стала смотреть в сторону своих друзей. Нет. Они над ней не смеются, они ее жалеют, что в тысячу раз противнее.

После обеда весь контингент лагеря «Родник родины» был снабжен пустыми пластиковыми бутылками. По три-четыре штуки на человека. Фома объявил, что до разрушенной церкви всего-то расстояние в несколько сот метров — мало для полноценной прогулки.

— Мы еще осмотрим старинный источник, из которого, по преданию, набирались сил русские воины во времена Смутного времени, то есть когда в Кремле засели поляки, а в окрестных лесах стояла рать, чтобы идти на помощь Минину и Пожарскому.

По плану Фомы, предполагалось затариться родниковой водицей и наварить из нее супа и компотов. Мать сыра земля отдаст, таким образом, свои целебные соки нынешним своим детям, как отдала четыреста лет назад самоотверженным русским ополченцам.

Врет, все врёт, думала Лиза, но помалкивала и шла в конце колонны, постукивая по загорелой голени пакетом, где мягко побрякивали две емкости, в которых когда-то была «Новотерская целебная».

Шествие возглавлял Фашист, он тащил связку пустых пятилитровых баллонов из-под «Святого источника», намереваясь дать им с помощью заслуженной родниковой воды вторую профессиональную

жизнь. На спине он примостил рюкзак, очевидно, тоже с какой-то емкостью для соков родной земли.

Замыкала колонну Лера. Мила с Фомой остались в лагере.

Фашист был в прекрасном расположении духа. Его окружили в основном девочки, да еще и начавшие задавать ему вопросы по теме, которая его бодрила: «Вы десантник, да?», «И эта майка с голубыми полосками, и костюм такой — это...»

— Это не майка, это тельняшка. И костюм тоже, это все из ВДВ.

— А что такое ВДВ?

— Войска дяди Васи.

— А кто такой дядя Вася?

Вошли в лес с того направления, с которого раньше в него Лизе проникать не приходилось. Предстояло, как она поняла, описать довольно большую петлю по окрестностям, двигаясь по часовой стрелке. Если представить лагерь находящимся в той части циферблата, где рисуют цифру 6, то кладбище предполагалось где-то в районе половины третьего.

Прогулка получалась неинтересная. Только из головы колонны доносилось:

— Есть патроны — еда найдется! Голубые береты — это войска, которые будут брошены в пасть врагу, чтобы порвать эту пасть! Десантник не должен набрасываться на женщин, но должен выглядеть так, чтобы все женщины мечтали на него наброситься!

Девочки были в восхищении, генерал Маргелов, которого цитировал Фашист, нравился им больше, чем мальчикам Суворов в изложении Фомы.

Лера морщилась-морщилась, а потом крикнула страшным голосом за спиной Лизы:

— Запевай!

Лиза даже присела от неожиданности. Муха и Борин, шедшие в середине колонны не в лад, все же одновременно грянули: «Письма нежные о-очень нам нужны, я их выучил на-и-зуть!» Кто-то подхватывал отдельные слова, кто-то целые фразы. К припеву наступал момент почти полного единства. «Через две, через две зимы-ы, через две, через две весны-ы от-слу-жу, отслужу как надо и вернусь». Звонче всех звучал голос Даниленко.

Пока продвигались лесной тропой, песня еще кое-как переливалась туда-сюда вдоль по нестройной колонне, но потом пришлось свернуть на вырубку под линией ЛЭП и петлять по захлапленной местности, среди выкорчеванных пней, по древним рывинам, оставшимся после былинной техники еще советских времен, и хор разрушился.

Форсировали проселок, прошли по тропинке по полю кормовой, едва по плечо ребенку, кукуру-

зы, за ним стояла компания разлапистых, витиевато разросшихся дубов, как тут же выяснилось, они охраняли спуск в овраг. Фашист поднял над головой свои пустые пятилитровки и погремел ими в воздухе. Очевидно, так он старался вселить бодрость в доверенных ему подростков. Похож на какого-то модернизированного шамана в этом камуфляже, подумала Лиза.

После опаленного солнцем кукурузного поля в овраге показалось темно. Пахло, разумеется, сыростью, струился по дну ручеек, в нем было полно мелкого, старого мусора. Лиза подумала, что этот ручеек наверняка как-то связан с тем, на берегу которого они нашли странную избушку. И что с того, если это даже и так, спросила она, и ей стало вдруг немного тоскливо. Пока она думала, что не понимает замыслов противника, это только разогревало в ней азарт, но сейчас ей пришло в голову, что Фома, может быть, и вообще ничего не замышляет.

У ситуации нет второго дна. Мы имеем дело всего лишь с обычной полухалтурной фирмой педагогического уклона. Главный обман уже случился на той стадии, когда несчастные папы и мамы деток с современными отклонениями от нормы отстегивали в кассу Фоме предоплату за его обещание с помощью максимально натурального, «здорового» образа жизни вернуть мальчиков и девочек к нормальной жизни.

Деньги, надо думать, немаленькие.

Если так, то ничего поделаться нельзя. Родителям ни за что не втолковать, что их обманули. Они не захотят признать, что во всем виновата их собственная лень или занятость.

— Пришли! — объявил племянник дяди Васи.

«И, конечно же, в самое сырое, слякотное место во всем овраге!» — вздохнула Лиза.

Из крутой стены оврага торчала железная труба толщиной в руку, из трубы вытекала струйка воды толщиной в палец. На нее падал луч света, как будто специально предусмотренный в рекламных целях. Вода заплеталась жгутом и соблазнительно сверкала.

На дне оврага пришлось провести, кстати, немало времени, пока заполнились все захваченные емкости. Стоявшие в очереди дети дурачились. Фашист первым наполнил свои пластиковые короба и отошел покурить — в сторонку, чтобы не на глазах у детей, хотя детям все было прекрасно видно и, главное, плевать на этот вид.

Даниленко хозяйничала у водяного крана.

Лиза стояла в конце очереди рядом с Лерой. Лизе было смешно и грустно. Почему грустно, об этом было выше, а смешно, потому что Лера ее, кажется, пасла, не желая поверить, что Земляники-

на просто так, без всякого умысла толчется в конце строя.

Но вдруг рванула куда-то. Лиза обернулась. Вот оно что — их полку прибыло. Рядом с курящим Фашистом стоит непонятно откуда взявшаяся и запыхавшаяся Мила. Теперь у них разговор на троих. Вернее так, дамы переругиваются, сцепив зубы, а мужчина попыхивает невидимым в полумраке оврага дымком.

Наконец заправились все. Поступила команда трогаться. Выбрались из оврага, тяжело дыша. Даже Даниленко.

Больше уже не пели.

И вот почти сразу же вам и кладбище.

Первая мысль — старое! И даже можно сказать — старинное. Сильно запущенное. Остатки железной ограды на растрескавшемся, почти утонувшем в дерне фундаменте, молоденькие березки, кусты, заросшие тропы между рядами оплывших могил, надгробия с почти неразличимыми надписями. В углу погоста церковь из темного кирпича с провалившимся куполом. Лиза, конечно же, заглянула внутрь. А там куча земли вперемешку со старинным мусором, на которой уже поселилась семейка тоненьких юных кленов. Свет в достаточном количестве поступает через верхнюю дыру, но общее ощущение, особенно при взгляде на ужасные стены с остатками каких-то трудноразличимых росписей, тяжелое.

Место не просто нехорошее, а как бы и наказанное.

Барракуда, заглянувший сюда вслед за Лизой, только тихо присвистнул: ловить тут, мол, нечего, даже если хочется чего-нибудь поймать.

— Стоп! Стоп! Никому ничего не открывать! — раздался снаружи голос Фомы.

Откуда он взялся?

Лиза вышла наружу.

Запыхавшийся, видимо, только что прибежавший на кладбище Фома объяснял, что набранную из родника воду ни в коем случае нельзя употреблять в питье. Оказывается, только что он разговаривал с тетей Тоней, местной жительницей, и она сказала, что уже лет пять как родник признан ядовитым. В слой грунтовых вод, питающих его, попали неизвестно откуда нефтепродукты.

— А куда нам все это? — спросил Фашист, пиная носком грязной кроссовки одну из своих пятилитровых емкостей.

— Оставьте здесь.

Экскурсия стояла на утопанной площадке перед церковью, обступив большую каменную плиту. Тоже, наверное, надгробие. Да, на ней едва-едва читался какой-то текст. Голова, поправляя очки,

склонил над ним свою губастую физиономию и заинтересованно шмыгал носом.

— Как здесь? — удивилась Мила, оглядываясь. — Мы намусорим, нехорошо.

И правда, при всей своей заброшенности кладбище никак не напоминало помойку. Было в его обличье что-то заповедное.

Фома развел руками.

— Специальной для вас свалки тут у меня нет. В лагерь это тащить не имеет смысла. Придумал. Давайте все в развалины.

— В храм? — спросил кто-то, и слово это прозвучало странно в полудетских устах.

Фома поморщился.

— Это не храм, это развалины. Для тех, кто все же успел глотнуть, у меня тут вот активированный уголь. Не хватало, чтобы вы все тут перетравились. У нас праздник на носу, а вы с поносом. Не для этого вас сюда ваши родители посылали.

Пока шла загрузка отравленной воды в «храм», начальник лагеря все продолжал высказываться на эту тему. А потом заявил, что обратный путь надо бы проделать побыстрее.

— А то, наверное, уже ужин стынет.

Обратно шли налегке, но с осадком в психике.

— Что там прочитал на камне? — спросила Лиза Голову.

— Ничего.

— Не хочешь говорить?

— Да нет, просто ничего не понял. Даже что за алфавит, непонятно. Не кириллица, не латиница, ну и, конечно, не арабская вязь.

— Армян там лежит, они везде на лучших местах, — высказал мнение бывалого человека Барракуда.

— Нет, алфавит не армянский, не грузинский, письмо не руническое, и уж не иероглифы точно. Странно.

— Не просто странно, подозрительно! — прокомментировала Лиза.

— Что тебе странно?

— А то мне странно, Барракуда, почему мы, например, не вылили воду из бутылок.

— Долго. Долго наливали, потом еще долго выливать. А пустые бутылки все равно останутся мусором.

— И вообще, алфавит ли это? — сам у себя спросил Голова.

— Плита ведь старая, — сказала Лиза. — Крестов каких-нибудь ты там не заметил?

— Ты сама видела — никаких там крестов нет.

— Ну и что? — спросил Барракуда.

— А в избушке были.

— Что?

— Такое впечатление, что в избушке была тряпка белая, а на ней вроде как большой такой вроде как крест. Может, даже и красного цвета.

— Как на швейцарском флаге? — Спросил Голова.

Лиза задумалась.

— Нет, — сам себя поправил Голова, — наоборот, у Швейцарии белый крест на красном.

— Правильно, — сказала Лиза, но потом, устыдившись того, что примазывается к чужому интеллектуальному достижению, добавила: — Хотя я не помню, какой у Швейцарии флаг.

— Да какая разница, — сплюнул Барракуда с таким видом, будто он сплевывает уже не первый раз. — Швейцарский был крест или шведский, какое это имеет отношение к той плите? Ничего ни с чем не монтируется. Какая-то дурацкая избушка, какая-то дурацкая бабушка, какое-то дурацкое кладбище с мусором.

— Какой-то дурацкий устав, — добавил Голова.

Он заучил, конечно, исторический текст, но испытывал брезгливое чувство от того, что тот разлегся у него в памяти.

Некоторое время шли молча.

— Вы в любой момент можете уехать, — сказала Лиза.

Окончание следует.



Елена САЗАНОВИЧ

Елена Сазанович — писатель, драматург, сценарист, член Союза писателей России, член Высшего творческого совета Московской городской организации Союза писателей России, главный редактор международного аналитического журнала «Геополитика».

Лауреат литературных премий: журнала «Юность» имени Бориса Полевого; имени Михаила Ломоносова; имени Н. В. Гоголя в конкурсе Московской городской организации Союза писателей России и Союза писателей-переводчиков «Лучшая книга 2008—2010 годов»; Союза писателей России «Светить всегда» имени В. В. Маяковского; международного литературного журнала TRAFIKA (Прага — Нью-Йорк).

Наряду с другими известными писателями и деятелями культуры в 2006 и 2007 годах была представлена в альбоме-ежегоднике «Женщины Москвы».



«Юность» продолжает развивать новую рубрику — «100 книг, которые потрясли мир». Не только потому, что продолжаются споры вокруг предложения Владимира Путина о списке 100 книг, которые должен прочитать каждый выпускник школы. Не только потому, чтобы выявить свои вкусы или чье-то безвкусие. И не потому, что в мире существует всего 100 книг, которые почитать еще как стоит. Конечно, их гораздо, гораздо больше. Но на эту сотню книг обратить внимание стоит — чтобы отблагодарить и время, и планету, которые породили великих писателей.

Уважаемые читатели! Редакция предлагает всем вместе составить список 100 книг, которые потрясли мир и которые необходимо прочитать каждому выпускнику. Ждем ваших писем! Всем спасибо за первые отклики!

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ГОНЧАРОВ. «ОБЛОМОВ»

Осенний день. Хмурый или солнечный. Дожливый или улыбчивый. Вряд ли нам это узнать. Новое Никольское кладбище Александро-Невской лавры. Более тридцати венков. От всех вузов Москвы и Санкт-Петербурга. От газет и журналов. От музыкального сообщества. От людей. Огромная траурная процессия. За гробом. Великого русского романиста. Ивана Александровича Гончарова. Который всю жизнь хотел покоя. И наконец в семьдесят девять лет его обрел. Хотя, без лукавства, он из тех немногих, кто обрел его и при жизни. Во всяком случае — максимально к этому приближался. О, О, О!.. Или — Об, Об, Об!.. «Об-ыкновенная история». Обыкновенного «Об-ломова». Которая заканчивается обыкновенным «Об-рывом». Вернее, краем обрыва. На котором почти всегда стоит Россия. И, кстати,

удерживается. На краю... Может быть, великий писатель Гончаров был героем обыкновенной истории Обломова на краю обрыва? Нам этого уже не узнать наверняка. Хотя, интересно, написал бы Обломов роман «Гончаров»? Наверное, написал бы, будь помоложе. Или постарше. Но в возрасте за тридцать, когда мы его узнаем, — вряд ли. Гончаров и Обломов не были близнецами. Но для истории это уже не имеет значения.

Кто написал романы на букву «о»? Конечно, Обломов. Ответ неверный. Все-таки Гончаров. Если бы Обломов написал роман «Гончаров», он бы Обломовым просто-напросто уже не был. И в историю мировой литературы не вошел. Впрочем, у Ивана Гончарова было прозвище — господин де Лень. По воспоминаниям некоторых современников, он был наискуднейшим и ленивейшим домо-



седом. Да и жизнь его кажется необыкновенно обыкновенной. Особенно на фоне всех остальных писателей, биографии которых читаешь взахлеб, как авантурные или сентиментальные романы. Когда даже их романы порой отходят на второй план. Не поэтому ли Гончаров и оригинален? А, возможно, он просто оказался загадочнее других? И просто-напросто скрыл свою жизнь...

Родился он в обыкновенном провинциальном Симбирске. Узкие улочки. Скривленные дома. Дощатая мостовая. Даже дожди крапают нехотя. Все сонно, лениво, медлительно. разве что хочется зевнуть. Так и вертится на языке: «За-ха-ар!..» А маленький Ваня Гончаров ищет и находит свой настоящий, живой мир. В книгах. Уже в детстве им прочитаны Ломоносов, Фонвизин, Державин, Карамзин, Вольтер, Руссо. «Я с четырнадцати-пятнадцатилетнего возраста, не подозревая в себе никакого таланта, читал все, что попадалось под руку, и писал сам непрестанно...» Затем были Московское коммерческое училище, которое он сразу же невзлюбил. И словесный факультет Московского университета, в который он влюбился мгновенно. Еще бы! Ведь в ту пору там учились Лермонтов, Белинский, Герцен, Станкевич. Хотя от их политических споров он держался в стороне. Может, просто ленился спорить? А вот Пушкина, который посетил Московский университет в 1832 году, он уже боготворил. Затем — опять сонный Симбирск, канцелярия губернатора. И, наконец, Петербург. Опять та же скука. Мелкое чиновничество в департаменте министерства финансов. И далеко не мелкое к нему отвращение.

«Если бы вы знали, сквозь какую грязь, сквозь какой разврат, мелочь, грубость понятий ума, сердечных движений души проходил я от пелен и чего стоило бедной моей натуре пройти сквозь фалангу всякой нравственной и материальной грязи и заблуждений, чтобы выкарабкаться на ту стезю, на которой вы видели меня, все еще... вздыхающего о том светлом и прекрасном человеческом образе, который часто снится мне...» Отдельный человеческий образ, а не человеческое общество. Не в этом ли главное заблуждение Гончарова? Или просто характер? Талантливый и тем более гениальный писатель никогда не может быть аполитичным и равнодушным. И тем более рукоплескать злу. Даже если он всегда в стороне, его творчество всегда на стороне. Стороне правды. И справедливого общества. Жить в обществе и быть свободным от него, наверное, все-таки нельзя. Но писать гениальные книги и быть свободным от них, наверное, иногда можно. «Он поэт, художник — и больше ничего. У него нет ни любви, ни вражды к создаваемым им лицам, они его не веселят, не сердят, он не дает никаких нравственных уроков ни им, ни читателю, он как будто думает: кто в беде, тот и в ответе, а мое дело сторона». Это Белинский о Гончарове... «За-ха-ар!..»

И вдруг Гончаров, этот господин де Лень, прерывает работу над «Обломовым» и отправляется в кругосветное путешествие на парусном военном фрегате «Паллада» в качестве секретаря адмирала Е. В. Путятина. Да уж, сам Обломов, наверное, упал бы с дивана, узнав об этом. Но Гончаров Обломову не изменяет. Шторм, взрывы волн, ослепляющий блеск молнии. И луна. Что может быть красивее?! Его несколько раз вызывали на палубу полюбоваться красотами: вы же писатель! «Молния как молния, только без грома, если его за ветром не слышать. Луны не было. "Какова картина?" — спросил меня капитан... "Безобразие, беспорядок", — отвечал я», — вспоминал Гончаров. И парадокс: «Фрегат "Паллада"» до сих пор признан одним из лучших произведений о морских путешествиях. Нет, конечно, не парадокс. Это ведь Гончаров, а не Обломов. Возможно, писатель всю жизнь доказывал, что Обломов никакого к нему родственного отношения не имеет. Впрочем, своим сильным творчеством он это доказал. Но «Обломов», как бы этого ни хотел автор, стал самым лучшим его произведением. Причем одним из тех, уникальных, которые нужно в идеале прочесть три раза в жизни. В юности, чтобы со свойственной ей энергией, осудив Обломова, заявить: я так жить не хочу. В зрелости, когда начинаешь обожать Обломова, завидовать

и пытаться ему подражать. Лежа на диване. Чтобы наконец вскочить и заявить: я так жить все-таки не хочу. И в старости. Возможно, уже возненавидеть его или сильно пожалеть. И сказать: я так умереть не хочу. Это поразительный роман. Без сложного сюжета, без стремительной фабулы. Медлительный и терпеливый.словно о смене времен года. Весна. Обломов просыпается (на пару сотен страниц просыпается!). Летом влюбляется. Осенью скучает. Зимой засыпает... Роман наделал столько шума! Славянофилы разглядели в обломовщине чуть ли не лучшие черты русской жизни, этаким патриархальный уклад. Либералы-западники — проявление «русской национальной болезни». Социал-демократы утверждали, что обломовщина не что иное, как социальное явление, следствие крепостничества... И все же секрет успеха роман был в чем-то большем. Наверное, в том, что в каждом из нас неизбежно живет Обломов. Даже если мы уверены, что не живем. Даже если мы такие деятели, как Штольц, даже если мы такие идеалисты, как Ольга Ильинская. Даже если мы европейцы или азиаты. Есть такая партия — имени Обломова. И Гончаров ее создал своим бесспорным талантом. Когда любому из нас хоть раз в жизни хочется укутаться в уютный персидский халат и залечь на диване, укрывшись с головой одеялом. И пусть даже муха жужжит на окне. И паутина блестит в углу. На столе тарелка со вчерашнего ужина. И графин с недопитой наливкой. «Глядишь, кажется, нельзя и жить на белом свете, а выпьешь — можно жить!..» А за окном — мягкий рассвет. Или это уже закат? И помечтать можно о чем-нибудь этаким. В общем-то ни о чем. И сон увидеть наименее приятный. О своем райском детстве. И почувствовать прикосновение теплых маменькиных рук. И вдохнуть жар самовара. А у печи увидеть медведя из нянькиных сказок. И пробежаться по пшеничному полю. А потом проснуться, зевнуть. Взять книжку и отбросить тут же ее. Поморщиться, потому что накопилось куча пренеприятнейших дел. Да ну их! Дела могут и подождать. А там, глядишь, и сами собой разрешатся. Ну разве не красота? Не свобода? И в этом однообразии дней есть некая веч-

ность. Это Мцыри у Лермонтова хотел прожить три дня на свободе — а не в неволе всю жизнь. Обломов же выбрал для себя вечную свободу. И, как ни парадоксально, в этом ничегонеделании есть тоже протест. Вызов миру и обществу. Почти как у Чацкого. С одним отличием — протест молчаливый. И что правильнее: не совершать зла? Или делать добро? Ведь любое общение — это и зло, и добро неизбежно. Это они, штольцы, пусть возвращаются в обществе, путешествуют, гребут деньги лопатой, преклоняются перед сильными, зарабатывают чины. Обломов выбирает свободу. Даже если она ограничивается диваном. И глотком холодного кваса. И дождливым окном. И персидским халатом. И пустыми мечтами. И потерей любви и мечты. И неизбежной Агафьей Матвеевной... «За-ха-ар!» Общество, в котором жил Гончаров, было далеко не справедливым. Пушкина и Лермонтова довело до могилы. Шевченко забрало в солдаты. Чаадаева объявило сумасшедшим. Салтыкова-Щедрина упекло в ссылку. А Гончаров пишет роман о скуке и о потере смысла жизни. Может быть, для того, чтобы нам удалось преодолеть скуку и найти смысл в жизни? Или хотя бы попытаться? Даже если на диване. Впрочем, сегодня этот роман современен как никогда. Увы, но общество все конкретнее делится на обломовых и штольцев. Только обломовы гораздо менее чисты и непорочны. А штольцы более наглые и безнравственные. А где же третьи? Последние двадцать лет великий писатель Гончаров прожил в полном, почти болезненном уединении. Без семьи, без близких друзей. Уныние и одиночество. Он умер от воспаления легких в Петербурге. Свою литературную собственность завещал семье старого слуги... «За-ха-ар!..» «Без жертв, без усилий и лишений нельзя жить на свете: жизнь — не сад, в котором растут только одни цветы...» Конечно, Иван Александрович Гончаров не был Обломовым. Он прошел и через жертвы, и через усилия, и через лишения. Порой в одиночестве. Он искал свой цветущий сад. Потому что честно спрашивал себя: «Зачем жить?» А не «как жить?». И, наверное, находил ответ. Для всех нас. Впрочем, как и еще 99 писателей, которые потрясли мир.



Алла МАРЧЕНКО

О СЕБЕ

Родилась на окраине Ленинграда — в Лесном. Сюда весной 1915 года к критику Льву Клейнборту приезжал Есенин, в феврале 1840-го Лермонтов выяснял отношения с де Барантом. В Лесном же по инициативе С. Витте и Д. Менделеева выстроен знаменитый Политехнический, где в начале 30-х учился мой отец. После убийства Кирова старшекурсных «механиков» забрали в Высшее военно-инженерное морское училище. По окончании распределили в Севастополь, а в 1939-м переместили в Москву. Севастополь остался в памяти сердца самым прекрасным городом мира, а любовные отношения с Москвой так и не сложились. Учиться всерьез начала в 44-м, по возвращении из эвакуации. В нашей окраинной 153-й работали учителя, не прижившиеся в элитных (анкетных) школах. По причине умственной независимости. В университет (русское отделение филфака) поступила до смерти Сталина, диплом по Есенину защитила в лето Двадцатого съезда. В 1961-м вышла замуж за художника Владимира Муравьева. Печататься начала в 1956-м. В «ЛГ» — рецензия на подборку стихов Н. Заболоцкого в «Литературной Москве». Первая большая статья о поэзии — в «Вопросах литературы» (1959). Первая настоящая книга — «Поэтический мир Есенина» (1972).

В 1984 году — «Подорожная по казенной надобности». В перестройку вместе с прозаиком В. В. Михальским издавала толстый журнал «Согласие». В 2009—2014 годах вышла биографическая трилогия «Поэты»: «Ахматова: жизнь», «Есенин: путь и беспутье», «Лермонтов: под гибельной звездой». В 2013-м — сборник стихов для детей «Дом со скворцом». «Ахматова» угодила в финал «Большой книги» за 2009 год, премии, разумеется, не получила.

ДАТЬ НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ЖИЗНИ...

ЛЕРМОНТОВ. НЕЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

Во всяком сердце, во всякой жизни пробежало чувство, промелькнуло событие, которых никто никому не откроет, а они-то самые важные и есть, они-то обыкновенно дают тайное направление чувствам и поступкам.

Лермонтов. Я хочу рассказать вам...

Сто с лишним лет назад Блок в рецензии на книгу Нестора Котляровского о М. Ю. Лермонтове назвал биографию поэта «нищенской» («Педант о поэте», 1908). Речь шла, разумеется, не о биографии как таковой. В сравнении

с тем, что успел в неполные двадцать семь пережить, испытать, увидеть, написать, да еще и издать Михаил Юрьевич, нищенски скудной выглядит даже летопись жизни Пушкина. Если бы, допустим, Александр Сергеевич внезапно

умер в Михайловском от холеры или аневризмы в 1826-м... Что уж тут говорить о других современниках? Да и не только современниках, о том же Блоке, к примеру.

Словом, наверняка имелись в виду неразведанность архивного материала и малочисленность записанных по свежим следам авторитетных свидетельств. В результате и «лик» и судьба, как и «лик» и судьба Пушкина, хотя и совсем по другой причине, по сей день считаются, как и считал Блок, «загадками русской жизни и литературы».

Авторитет Блока столь высок, а действие его мнения столь победительно, что и сегодня любое дополнение к «нищенской» биографии Лермонтова преподносится и воспринимается как раскрепачивание той или иной загаданной им загадки. Судя по ярости предъюбилейных литературных сшибок, одной из таких рассекреченных загадок считается знаменитое «Прощай, немытая Россия». История публикации этого текста подробно описана в «Лермонтовской энциклопедии», но отсылать к ней думающих читателей «Юности» бесполезно. Неистовые ревнителю казенного патриотизма, решившие, что автор «Бородин» не мог написать сие мерзопакостное сочинение, не приводят никаких аргументов. Не мог — и все тут! Однажды в получастной беседе я, по наивности, попробовала задать очередному ревнителю простенький вопросик: а мог ли автор «Бородин» и «Песни о царе Иване Васильевиче...» написать в хрестоматийной «Родине»: «“Ни слава, купленная кровью... Ни темной старины заветные преданья Не шевелят во мне отрадного мечтанья”»? По вашей прямолинейной, как школьная указка, логике не мог. Написал, однако». Что было дальше — понятно. Вместо ответа получила в лицо, через столик, выплеск стопроцентной ненависти, в сравнении с которой «Тройной» одеколон советского производства нежнее французского лосьона для проблемной кожи...

Потому-то и начинаю издаю. Впрочем, не совсем уж далекого далека, ибо появление спорного текста, на мой взгляд, самым непосредственным образом связано с историей второй, второй, а не третьей, как предполагает Энциклопедия, ссылки Лермонтова, с которой, кстати, тоже не все так уж ясно-прозрачно, как представляется любителям «однозначных» решений. Для убедительности подсыпаю соломки: впервые эта история в приблизительном, фактически черновом варианте изложена в моей статье «История двух литературных дуэлей», опубликованной много лет назад в журнале «Дружба народов». Предложенную в ней интерпретацию одного из

предшествующих ссылке обстоятельств одобрила Эмма Герштейн, по словам навещавшего ее лермонтоведа Е. Н. Рябова. Сама же я с ЭГ знакома не была.

Итак, 1840-й.

16 февраля: в результате обмена колкостями на балу у графини Лаваль сын французского посланника Эрнест де Барант вызывает Лермонтова на дуэль.

18 февраля: дуэль.

10 марта: арест.

13 апреля: приказ императора о высылке гвардии поручика на Кавказ. В Тенгинский пехотный полк.

Этого не ожидал никто. В определении суда предполагался любой армейский, и бабушка уже почти успокоилась, решив, что этим полком, как и в 1837-м, будет Нижегородский драгунский, расквартированный неподалеку от Тифлиса. И не потому, что этот конный полк (ежели глядеть из Петербурга) выглядел родом грузинской гвардии. А потому, что одним из его командиров был Александр Чавчавадзе, тесть Грибоедова. Уж он-то, считала Елизавета Алексеевна, придумает способ уберечь внука от чеченской пули...

Узнав о царском приказе, пришли в недоумение и издатели, спешившие как можно скорее и как можно лучше отпечатать «Героя нашего времени». Запаниковал и главный редактор «Отечественных записок» А. А. Краевский. Он же знает, что у Лермонтова на столе несколько новых почти оконченных вещей, а публикации, подписанные его именем, увеличивают тираж и читабельность журнала.

Не предвидел столь резкой, да еще и внезапной перемены судьбы, похоже, и сам Лермонтов. И тем не менее, несмотря на фирменную выдержку («я не чувств, но поступков своих властелин»), почему-то позволил пустой бальной перепалке перерасти в дуэль. Больше того, втянул (в роли секунданта) в неприятное, подсудное предприятие родственника и приятеля, однокашника по юнкерской школе Алексея Столыпина-Монго.

Ни Барант, ни Лермонтов физически не пострадали (дрались по-французски: на шпагах). Француз, нападая, слегка поцарапал руку супротивника, Лермонтов, делая ответный выпад, сломал шпагу, врезавшись в рукоятку шпаги Баранта. Секунданты, посовещавшись, предложили перейти на пистолеты. «Мальчишка Эрнест», наверняка намеренно, промахнулся, Лермонтов выстрелил в воздух. Его, однако, арестовали, отдали под суд и выслали.

Несоразмерность наказания удивила не только друзей Лермонтова; пришли в недоумение и члены Столыпинского клана. Успокоились, правда, на том, что решили: внук Лизы Столыпиной от большого ума наделал глупостей, ну а потом просто не повезло, не все, мол, коту масленица. Но если бы причиной высылки поэта на Кавказ была одна только дуэль, по несчастному стечению обстоятельств ставшая достоянием гласности (как правило, бескровные поединки удавалось скрыть), могли бы успокоиться и мы. Но мы, в отличие от современников, успокоиться не можем. Совокупность неизвестных им, но известных нам документов наводит на мысль, что поединок был поводом; истинная же причина монаршего гнева осталась утаенной. Слишком уж многие из причастных к дуэльному делу сочли за лучшее сделать вид, что с Лермонтовым поступили по закону: «Если кто выходит на поединок и обнажит шпаги, лишается дворянского достоинства и ссылается в Сибирь навсегда».

Закон, введенный в общероссийский дворянский обиход Петром Первым, был достаточно гибким и допускал исключения. Проступок Лермонтова под исключение подходил. Инициативу проявил Барант, а Барант был гражданином Франции, где дуэль считалась легальным способом разрешения конфликтов, связанных с пониманием дворянской чести. Сия тонкость настолько усложняла применение закона, что был момент, когда даже госпожа Нессельроде, супруга министра иностранных дел, считала, что наказание «не будет строго». Судьба автора «Смерти поэта» ее, конечно же, не волнует, но она дружна с семьей посланника и как мать разделяет беспокойство родителей Эрнеста.

Николай Павлович Романов исключения для беспокойного поручика не сделал, хотя вряд ли мадам Нессельроде стала бы надеяться, что «кончится милостиво», когда бы с самого начала расследования император всея Руси настроен был на немилость. Было бы так, дело о дуэли не разворачивалось бы столь медлительно: приказ об аресте поединщика Лермонтова отдан спустя чуть ли не месяц после дуэли (11 марта 1840 года), хотя факт как таковой стал известен командиру Гусарского полка Н. Ф. Плаутину уже 21 февраля, на четвертый день после происшествия. Следовательно, изменение в отношении царя к поэту произошло между 21 февраля и 11 марта. Что же вызвало перемену? Уже первый биограф Лермонтова Павел Висковатов предположил, что раздражение и императора, и императорского семейства вызвано стихотворением «Как часто пестрою

толпою окружен...», опубликованным в первой за 1840 год книжке «Отечественных записок» со странной пометой 1 января. Если читать текст, не обращая внимания на помету, неудовольствие царствующего дома понять трудно. Речь же идет о банальном увеселении, каких в Петербурге в пору зимних праздников не счесть? Опустив нейтральные сельские эпизоды, напомним крамольные городские:

Как часто, пестрою толпою окружен,
Когда передо мной, как будто бы сквозь сон,
При шуме музыки и пляски,
При диком шепоте затравленных речей
Мелькают образы бездушные людей,
Приличьем стянутые маски,

Когда касаются холодных рук моих
С небрежной смелостью красавиц городских
Давно бестрепетные руки...
О, как мне хочется смутить веселость их
И дерзко бросить им в глаза железный стих,
Облитый горечью и злостью!

Правда, версия, идущая от Висковатова и Ивана Сергеевича Тургенева (на новогоднем, мол, маскараде в Дворянском собрании Лермонтов, якобы не узнав их под масками, дерзко обошелся с царевнами Марией и Ольгой), не подтвердилась. Как доказала Эмма Григорьевна Герштейн, Мария Николаевна в ту зиму не выезжала из-за беременности, а Ольга была слишком юна. По мнению Герштейн, Лермонтов имел в виду не царевен, а царицу, которая действительно тайком, «у мужа не спросясь», посещала публичные маскарады. Ближе всех к истине оказался С. А. Андреев-Кривич, предположивший, что пришел в ярость, приняв какую-то «дерзость» Лермонтова на свой счет, сам царь. Работа Андреева-Кривича опубликована в 1975 году, однако вопрос, что же явилось истинным мотивом монаршего раздражения, все еще считается зависшим в неопределенности. Неутомимые архивисты, перерыв уйму источников, не обнаружили в 1839 и 1840 годах ни одного маскарада, на котором 1 января одновременно оказались бы Лермонтов и Николай Романов.

Но может быть, Андреев-Кривич ошибался? Ведь у Лермонтова были личные, домашние основания для чрезвычайной нервности в этот день. Тридцать лет назад, в ночь с 1 на 2 января, у себя дома в Тарханах, посреди маскарадного шума, из-за неразделенной любви к молоденькой замужней соседке по имени покончил с собой его дед по матери Михаил Васильевич Арсеньев, в память о котором поэт и наречен Михаилом. И не

случайно наречен. Даже вдова самоубийцы, несмотря на оскорбленное самолюбие, не скрывала ни от себя, ни от родственников, что обожаемый внук и нравом, и свойствами в Михаила Арсеньева, не пожелавшего смириться с властью обстоятельств!

Предположение эффектное, но не убедительное: взрослый Лермонтов не из тех нервно-откровенных авторов, кто беззастенчиво выносит боль «душевных ран» «на диво черни простодушной». Это же не отроческие дневники в стихах, для открытой печати и не предназначенные? К тому же даже персонажи императорской свиты, Бенкендорф, к примеру, догадывались (нюхом чуяли), что Его Величество разгневался не на пустом месте.

Справедливость догадки Андреева-Кривича разделяли многие исследователи, а вот доказательства привести не могли. Между тем ключ к зашифрованной помете — *1 января* — лежал на открытом, общедоступном месте. Может, именно поэтому там его никто и не искал? Я имею в виду опубликованные в «Русском архиве» (1884) воспоминания капитана Е. П. Самсонова.

Е. П. Самсонов, окончивший то же военное училище, что и Лермонтов, только четырьмя годами раньше, уже в Школе обратил на себя внимание высоких шэфов — Николая и Михаила Романовых. Отметила Самсонова и императрица. Юнкер был боек умом и недурен собой, за что и оказался в числе товарищей наследника, а по окончании курса оставлен при дворе. Место почетное, но хлопотное, а юному «фигаро» хотелось действовать. Помогло несчастье: по недосмотру прислуги загорелся и за семь дней выгорел Зимний дворец. Дворец через год «починили», а Самсонов шанса не упустил. По его инициативе для усиления порядка и бдительности создали очередную комиссию: Управление делами императорской главной квартиры и Его Величества конвоя. Самсонов же как инициатор стал его главным действующим лицом. И закрутилось: Самсонов здесь, Самсонов там! И *здесей* и *тамов* не продохнуть, и все-таки самым хлопотным в деятельности «Управления бдительностью» было мероприятие, именуемое предприятием *1 января*. Почему? Да потому, так как раз на это число, по давно заведенному порядку, назначаемы были в Зимнем дворце маскарады, на которые допускалась вся петербургская публика. Подчеркиваю — *вся*! В обязанности же изобретенного Самсоновым Управления входило назначение дежурных — по генералу, флигель-адъютанту или генерал-майору в каждой комнате! Помножьте одного офицера высшего ранга

на бесчисленность дворцовых покоев — что получится? А получится, что *1 января* цвет столичного воинства по капризу хозяина Зимнего превращался в челядь — зрителей бальных залов. (Дабы простолюдины под шумок «музыки и пляски» не прихватили толику царских сокровищ!)

Служивцы Лермонтова посмеивались и над патриархальными амбициями царя-батюшки, и над показным его демократизмом. На людях, однако, помалкивали. Первоянварский маскарад в Зимнем, как и народное гулянье в Царском Селе и в царских садах в июне, в день рождения императрицы, куда свозили избранный простой народ — благообразных пейзажистов и красивых купцов и купчих, — при всей своей потешности был акцией, исполненной государственного значения. Братаясь с простонародьем, самодержавие демонстрировало свою народность. И собственному престольному граду. И всему миру — через послов и посланников, каковые непременно приглашались и на зимнюю, и на летнюю церемонии (последняя выразительно и подробно описана в полном издании книги маркиза де Кюстина «Россия в 1839 году»). Лермонтов, таким образом, одним взмахом пера — *1 января* — задевал слишком многих. А главное, посягал на святая святых: основы порядка и власти. (Уточняя: написать резкую критику на маскарадно-ритуальное действо в Зимнем дворце, поставив вместо эпитафии «известной подлостью прославленную» дату, было по тем временам ничуть не менее дерзким проступком, чем, скажем, фельетон, который высмеял бы «фальшак» доперестроечного юбилейного, с присутствием членов советского правительства, мероприятия с явными приметами Колонного зала Дома Союзов, если б его, разумеется, опубликовали, да еще и с пометой «7 ноября».)

Пушкин поступил осмотрительнее. Снимая после женитьбы дачу в Царском Селе и, следовательно, имея возможность наблюдать воочию, как император в день «открытых ворот» общается с народом (злые языки втихомолку ехидничали, что «Николаев день» позволяет городским прелестницам предложить самому богатому помещику империи свое единственное богатство — красоту), он тем не менее в «Сказке о царе Салтане...» изобразил государя не селадомом, а вполне добропорядочным, без аристократических предрассудков человеком, ведь сказочный царь предлагает красавице родить ему не бастарда, а законного богатыря «к исходу сентября». Вот это-то и намекает, что сказочный праздник происходит в начале января! Что же касается «забора», стоя за которым батюшка-царь подслушивает разговоры

своих подданных, то такого рода построек-однодневок для летнего гулянья в царских садах заказывалось множество. Спрятавшись за декоративным заборчиком, и впрямь можно было слышать, о чем говорят насельники «лубяной избушки». Впрочем, в черновике «Сказки о царе Салтане...» есть и еще одна фраза, намекающая, с кого списан герой веселой безделки: «Царь имел привычку гулять по городу и подслушивать речи своих подданных».

Пушкину усмешка над патриархальными претензиями императора сошла с рук. Лермонтов заплатил за «облитый горечью и злостью» «железный стих» хронической царской немилостью и новым изгнанием.

Впрочем, трудно допустить, чтобы Николай так уж внимательно читал «Отечественные записки». Кто-то, и, видимо, не без задней мысли, обратил внимание государя и на стихотворение, и на разъяряющую злокозненность авторского намерения помету.

Нельзя, конечно, утверждать наверняка, не пойманный не вор, и все-таки, предполагаю, что скорее всего сделал это граф Владимир Соллогуб, человек большого света, а по совместительству еще и удачливый беллетрист, сотрудничавший, как и Лермонтов, в «Отечественных записках». И вот почему предполагаю. В феврале 1840 года, то есть в самый разгар дела о дуэли Лермонтова с де Барантом, Соллогуб опубликовал в «Отечественных записках» повесть «Большой свет». В ней под именем Леонина, восторженно жалкого офицера, высмеивался и Лермонтов, и ничтожное его значение в высшем свете. Повесть, как свидетельствует сам автор, была написана по заказу великой княжны Марии Николаевны (ученица П. Плетнева, старшая из дочерей Николая, была не лишена литературных интересов). Но даже если царевна и сделала жениху ближайшей подруги такой заказ, возникает неизбежный вопрос. Ну что, кроме тайной зависти, могло понудить Соллогуба, фаворита летучей литературной славы, сочинить, по мнению одних лермонтоведов, пародию, а по убеждению других — пасквиль, причем не на одно какое-нибудь произведение, а вообще на все опубликованное Лермонтовым?

Защитники Соллогуба, включая Эмму Герштейн, мотив «тайной зависти» категорически отводили как невозможный. Дескать, Соллогуб, по свидетельству современников, был бескорыстным ценителем искусств и искренне восхищался каждым новым дарованием. Не спорю, восхищаться поэтическими творениями Лермонтова граф мог совершенно искренне, ибо на лавры



М. Ю. Лермонтов после возвращения из первой ссылки. 1838 г.

стихотворца не претендовал. Его авторское самолюбие не только устраивал, но еще и тешил такой тандем: Лермонтов первый поэт, а он, Соллогуб, первый прозаик лучшего в стране журнала. В 1839–1840 годах это означало лидерство. Общество, объевшись стихами, жаждало прозы, и не вообще прозы, а именно журнальной повести, краткой и быстрой, легкой и глубокой вместе. «Мы люди деловые, — писал Белинский, ведущий критик “Отечественных записок”, — мы беспрестанно суетимся, хлопочем, мы дорожим временем, нам некогда читать больших и длинных книг... нам нужна повесть». Таким тандемом они как бы и выступили в первом номере «Отечественных записок»: Лермонтов — с «Думой», Соллогуб — с повестью «История двух калош».

Словом, равновесие было более чем приятным, но оно вмиг нарушилось, как только автор «Думы», никому не открывавший, что пишет еще и прозу, напечатал «Бэлу». «Бэла» появилась в марте, а уже в мае Владимир Соллогуб отослал Вл. Одоевскому, соредктору А. А. Краевского, первую часть «Большого света», где некто Сафьев (в котором и литераторы, и читатели сразу же угадали черты сходства с Соболевским, приятелем Пушкина и знакомцем Лермонтова) советует

Леонину (читай: Лермонтову) не заниматься писательством: «Оставь это людям богатым и с истинным гением».

Короче, исключительный перевес Лермонтова-поэта Соллогуб пережил. Даже успех ненапечатанного «Демона» — в дамском секторе придворного круга — уравновешивался популярностью соллогубовской «Истории двух калаш». Уступить «совместнику» (современнику и сопернику) славу гениального прозаика оказалось намного обиднее. Особенно если учесть, что место «второго Гоголя» уже было обещано графу самим Белинским.

Гоголь в 1840-м еще только прикидывает, лошадей какой масти и стати запрячь в бричку господина Чичикова, а соллогубовский возок — путевая повесть «Тарантас» — уже почти готов, снаряженный всем необходимым и для путешествия из Петербурга в Москву, и далее, далее... Да перед таким изобретением литературная Россия расступиться должна! Расступиться и дать изобретателю символического тарантаса зеленый свет. Все слажено, все рассчитано! И тут вдруг, в обгон, как на курьерских, мчит этот нечиновный, незнатный офицерик, этот Лермонтов-Леонин! Трясется кремнистым путем в неуклюжей казенной тележке, а поклажа? Чемоданчик с записками о провинциальной Грузии! А шуму! А звону. «Ничего не значит», а ведет себя как власть имеющий? Да за такую дерзость наказывать надобно! И накажем: «Миша ваш в свете менее нуля».

Биографы Соллогуба почему-то охотно извиняют этот явно не совместный с привычками порядочного человека литературный поступок (имеется в виду «Большой свет»), ссылаясь и на Белинского, и на Краевского, и на князя Вл. Одоевского, которые, в отличие от нынешних «лермонистов», не углядели в повести ничего для Лермонтова унижительного. Вот, мол, и сам Михаил Юрьевич даже после публикации «Большого света» оставался с автором пасквиля на дружеской ноге, продолжая, как и прежде, запросто бывать у него дома.

Между тем вежливый нейтралитет и главного редактора «Отечественных записок», и его со-редактора не аргумент. И Краевскому, и Одоевскому невыгодно ссориться с Соллогубом. Финансовое положение новорожденного журнала неустойчиво, литературный небосвод почти беззвезден, а летучие повести бойкого графа нравятся подписчикам. Что до неистового Виссариона, то тот наверняка и мысли не допускал, что Лермонтов, перед цельной и мощной натурой которого

он даже как-то робел, в чьих-то глазах всего лишь жалкий офицерик. Тем более в глазах своего брата, литератора! Да, конечно, в фамилии главного героя «Большого света» Леонин можно угадать намек на его же собственное суждение о Лермонтове: «Львиная натура!», но Белинский, по нравности сердца и благородству ума, к такого рода колкостям и слеп и глух.

А что же Лермонтов? Оставил без ответа ядовитый укол? Напоминаю: «Большой свет» появился на журнальных страницах в тот самый момент, когда по Петербургу таскали историю лермонтовской дуэли и над автором изумительного «Героя нашего времени» нависла угроза новой, на сей раз уже не условной ссылки. К тому же в сочинении Соллогуба, кроме насмешек над потугами Леонина «втереться во все великосветские переднии» и провинциальностью его бабки, содержалась еще и оценка леонинской дуэльной истории, а также обращенное к властителям и судиям *общее мнение лучших людей общества*: «Выпроваживается поделом», ибо поединок — дело, запрещенное законом.

Пушкин, как известно, спуска обидчикам не давал. По словам Петра Андреевича Вяземского, у Александра Сергеевича была специальная ваза, куда тот бросал записочки с именами тех, с кем надлежало когда-нибудь, не обязательно здесь и сейчас, расквитаться. Лермонтов на личности не перешел. Однако в мотивах своего как бы приятеля разобрался вполне. Уезжая во вторую южную ссылку, на прощальном вечере у Карамзиных прочел «Тучи»:

Кто же вас гонит: судьбы ли решение?
Зависть ли тайная? злоба ль открытая?
Или на вас тяготит преступление?
Или друзей клевета ядовитая?

Значит, оставил Соллогуба с пощечиной (как и Арбенин князя Звездича!), которую тот посчитал за лучшее не заметить? Иначе не рассказывал бы полвека спустя Павлу Висковатову, как именно изгнанник с милого севера читал свое «прощание» с Петербургом: импровизировал, стоя у окна и глядя на тучи... Кто старое, мол, помянет, тому глаз вон. Но это очередная небылица, ибо в реальности, в интересующую нас пору, когда старое было наиновейшим, друзья-враги поступили точь-в-точь как те «принадлежащие враждебным дворам дипломаты» (пассаж из авторского предисловия ко второму изданию «Героя...»), которые, дурача простодушных наблюдателей, делают вид, будто обманывают свои правительства «в пользу взаимной нежнейшей дружбы».

Предисловие Лермонтов писал в Петербурге, во время последнего отпуска, зимой 1841 года, прочитав по приезде, с запозданием, десятую книжку «Отечественных записок» предыдущего сезона, где соперники снова оказались как бы в тандеме: Соллогуб — с первой частью «Тарантаса», Лермонтов — с посланием к А. И. Смирновой...

Однако и весь 1841-й, и печальная история третьей ссылки Лермонтова, включая смертную дуэль с Николаем Мартыновым, — это совсем другой сюжет и другая загадка, для попытки разрешения которой «Юность», если позволят журнальные обстоятельства, может быть, и сочтет необходимым ко мне обратиться. А пока вернемся в 1840-й. Мы же еще не попытались выяснить, при каких таких обстоятельствах создано и, видимо, до лучших времен спрятано от «всевидящих глаз пашей в голубых мундирах» крамольное восьмистишие. А для этого еще раз вчитаемся в уже процитированное четверостишие, прочитанное Лермонтовым накануне отъезда на Кавказ 4 или 5 мая 1840 года:

Кто же вас гонит: судьбы ли решение?
Зависть ли тайная? злоба ль открытая?
Или на вас тяготит преступление?
Или друзей клевета ядовитая?

Смысл второй строки, надеюсь, теперь более или менее ясен: и тайная зависть (Соллогуба), и открытая злоба (императора) имели место, и Лермонтову об этом прекрасно известно. А вот о каком преступлении идет речь и связано ли оно с ядовитой клеветой друзей? На мой теперешний взгляд, связано, поскольку, судя по всему, Лермонтов считал себя виновным во внезапном, сразу же после дуэли отъезде, практически бегстве из Петербурга в Москву княгини Марии Щербатовой, которую весь светский Петербург считал виновницей ссоры Баранта-младшего с Лермонтовым. А раз знал, значит, знал и о смерти ее двухлетнего ребенка неделю спустя, 1 марта того же года. Ситуация усугублялась тем, что мальчик умирал на чужих руках, а мать не могла приехать даже на его похороны (весть об этом несчастье дошла до Москвы слишком поздно). Больше того, даже узнав, что Лермонтов арестован и ему грозит ссылка под чеченские пули, в Петербург княгиня не вернулась. В официальный предлог и внезапного отъезда, и слишком долгого отсутствия (болезнь отца, голод в принадлежащих семейству деревнях) Михаил Юрьевич, естественно, не поверил. Для такого поступка у Марии Щербатовой,

с точки зрения Лермонтова, должны были быть куда более серьезные основания. Помня о ее дружбе с младшей сестрой Эрнеста де Баранта, а также о том, что княгиня покинула столицу 22 февраля, то есть через четыре дня после дуэли, поэт, видимо, убедил себя, что истинной причиной ее поступка является именно это обстоятельство. Не дуэль как таковая, а те толки и сплетни, которые неизбежны, ведь бальная ссора двух ее поклонников была прилюдной.

Долгое время, даже после того, как дважды по моей инициативе, всерьез без сокращений, были опубликованы найденные Е. Н. Рябовым письма Щербатовой, я почему-то предполагала, что главной причиной побега М. А. Щ. была все-таки не дуэль, а ссора с Лермонтовым из-за опубликованной в «Литературной газете» строки: «Любить... но кого же? На время не стоит труда, а вечно любить невозможно» («И скучно, и грустно», 20 января 1840 г.).

Был и еще один щекотливый момент, вполне, кстати, подходивший под убеждение М. Ю., что «решение судьбы» не обошлось и «без ядовитой клеветы друзей». Я имею в виду мемуары А. М. Меринского (М. Ю. Лермонтов в юнкерской школе: «Русский мир». 1872, 10 авг.) По данным мемуариста, четверостишие «Ах, как мила твоя богиня! За ней волочится француз. У нее лицо как дыня, Зато жопа как арбуз» написано Лермонтовым на его соученика по юнкерской школе князя И. Шаховского, который частенько влюблялся в молодых девиц и всегда называл предметы своей страсти богинями. На этот раз под богиней подразумевалась гувернантка знакомого Шаховскому семейства, а под французом — «офицер юнкерской школы француз Клерон, ради шутки притворившийся увлеченным гувернанткой». В дуэльные дни школьная эпиграмма кем-то из давних недоброжелателей поэта была переадресована ему самому «в связи с его увлечением княгиней М. А. Щербатовой». Первую строку, как вспоминают современники, товарищи по училищу соответственно переделали, заменив прежнее *твоя богиня на моя богиня*. В годы моей университетской юности у кого-то из членов лермонтовского семинара И. Н. Розанова имелся и куда более «неприличный» вариант: «Ах, как мила моя княгиня! За ней волочится француз. Грудки у нее как дыни, Зато жопа как арбуз».

В настоящий момент, перечитав в десятый раз и ее письма, и соответствующую главу в своей последней книге («Лермонтов: под губительной звездой»), убеждаюсь, что ситуация была куда более сложной...

Впрочем, смятый обстоятельствами роман Лермонтова с Марией Щербатовой требует иного жанра, скорее всего, документальной повести листа этак на полтора... А пока в рассуждении интересующей нас проблемы можно с уверенностью сказать только одно: и высылку «с милого севера в сторону южную», и разрыв с Машенькой Штерич (девичья фамилия М. А. Щербатовой) Лермонтов не принял как катастрофу, чем видимо, и возмутил М. А. «...Мне... пишут, что он (Лермонтов. — А. М.) просит быть отосланным обратно на Кавказ. Какой безумец! Думает ли он о своей бабушке, которая умрет от огорчения. Думает ли он о проклятиях всей его семьи, которые он навлечет на мою голову? Родные его никогда не поверят, что я была ни при чем в этой дуэли...» (А. М. Щербатова. Письмо из Москвы в Петербург Антонине Блудовой. От 23 марта 1840 г. «Согласие», 1991. № 6).

Ну как тут не вспомнить начальные строфы маленькой его поэмы «Валерик», написанной, видимо, после того, как Лермонтов узнал, что Мария Штерич-Щербатова, хотя (в мае 1840-го) и призналась А. И. Тургеневу, что «любит Лермонтова», уже в октябре того же уехала, и надолго, за границу.

Я к вам пишу случайно; право,
Не знаю как и для чего.
Я потерял уж это право.
И что скажу вам? — ничего!
Что помню вас? — но, Боже правый,
Вы это знаете давно.
И вам, конечно, все равно.

И знать вам также нету нужды,
Где я? что я? в какой глуши?
Душою мы друг другу чужды,
Да вряд ли есть родство души.

Впрочем, если не безумным, то достаточно странным поведение Лермонтова находили многие. Радоваться перемене судьбы? Да еще и такой опасной перемене, как ссылка на воюющий Кавказ?

А между тем желание Лермонтова вырваться из Петербурга в тот самый момент, когда вся столичная читающая публика занята «Героем нашего времени», ничуть не более безумно, чем внезапное путешествие Чехова на Сахалин!

Считается, что Лермонтов художник субъективный, занятый своей судьбой как мировой проблемой. На самом деле прав Лев Толстой: «Если бы этот мальчик остался жив, не нужны были бы ни я, ни Достоевский». Вдумайтесь в произведения, написанные «этим мальчиком» после 1835 года: «Маскарад», «Сашка», «Тамбовская казначей-

ша», «Княгиня Лиговская», «Смерть поэта», «Бородино», «Песня про царя Ивана Васильевича...», «Мцыри», «Казачья колыбельная песня», «Не верь себе, мечтатель молодой...», «Три пальмы», «Воздушный корабль», «Тамара», «Родина», «Спор», «Свидание», «Завещание», «Валерик». Как широко, глубоко и разнообразно представлена в этих произведениях русская жизнь! Петербург, Москва, провинция, Кавказ и кавказцы, война и мир, быт и история. Казалось бы, можно притормозить и сделать передышку. Но Лермонтов, как и в юности, не может понять, что значит отдыхать. Какая передышка, если у него уже выработан план двух романов. Один — «из времени смертельного боя двух великих наций, с завязкою в Петербурге, действиями в сердце России и под Парижем и завязкою в Вене». Другой — «из кавказской жизни, с Тифлисом при Ермолове, его диктатурой и кровавым усмирением Кавказа, Персидской войною и катастрофой, среди которой погиб Грибоедов в Тегеране» (из воспоминаний Михаила Глебова, друга и секунданта поэта на его последней дуэли с Мартыновым в июле 1841 года). А чтобы этот великий план осуществить, нужно на своей шкуре испытать, что же такое война. Во время первой ссылки, в 1837-м, Михаил Юрьевич все восемь месяцев «вожировал», так и не дождавшись у кавказского начальства направления в действующий отряд. Да и настоящей Грузии почти не постиг. Самое время все это узнать. Конечно, он мог бы добиться длительной командировки в действующую армию и с меньшими потерями — гвардейцы уезжали на войну с повышением в чине. Путь Лермонтова опять оказался слишком каменистым. Но втайне, житейскому рассудку вопреки, М. Ю. был доволен. И ситуацией, и собой. И даже увидел в том, что все произошло как бы само собой, «решение судьбы». К тому же отъезд задерживался и по уважительной причине: необходимо же заказать новое пехотное обмундирование. А это быстро не делается. Тем более что бабушка, вопреки обыкновению, портных не торопит.

Итак, освобожденный наконец из-под ареста, Лермонтов наслаждается домашним уютом и, конечно же, работает. Краевский все-таки надеется, что ухитрится опубликовать несколько эффектных фрагментов из «Демона», благо цензурное разрешение на это имеется. Но план планом, а его превосходительству Случаю (Случай, по Бальзаку, — величайший романист мира) не по замыслу столь обыкновенное «решение судьбы». И он, недолго думая, надоумил матушку Эрнеста де Баранта упросить графа Бенкендорфа потребовать от Лермонтова, чтобы тот отказался от сво-

их показаний на суде. Да еще и извинился перед ее сыном. Шеф жандармов был то ли дальним родственником, то ли свойственником Столыпиных. Больше того, именно он помог бабке поэта перевести Лермонтова в гвардию после первой ссылки. В 1838-м. И вдруг такое подлое, такое лакейское, такое рабское предложение! Вот уж действительно: «И перед властью — презренные рабы».

В какое состояние привело Михаила Юрьевича омерзительное предложение шефа жандармского корпуса, нетрудно представить себе, вчитавшись в следующий документ (письмо Лермонтова великому князю Михаилу Романову, командующему Гвардейским корпусом): «Граф Бенкендорф предлагал мне написать письмо к Баранту, в котором бы я просил извиненья в том, что несправедливо показал на суде, что выстрелил в воздух. Я не мог на то согласиться, ибо это было против моей совести... Я решил обратиться к Вашему Императорскому Высочеству и просить Вас защитить и оправдать меня во мнении Его Императорского Величества, ибо в противном случае я теряю невинно и невозвратно имя благородного человека...»

Великий князь Михаил согласился защищать невинного и сдержал обещание. Но это случится не скоро, лишь после 27 апреля. Значит, у Лермонтова было достаточно и времени, и оснований, чтобы «отделаться стихами» от душившей его ненависти к господам в голубых жандармских мундирах:

Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, послушный им народ.

Быть может, за стеной Кавказа
Сокроюсь от твоих пашей,
От их всевидящего глаза,
От их всеслышащих ушей.

Но тут Провидение (а может, все тот же господин Случай?) сделало своему избраннику вещий знак. В тот самый день, когда Михаил Юрьевич, не помня себя от гнева и ярости, отправил с нарочным письмо Великому князю, 27 апреля 1840 года, «Литературная газета» опубликовала сообщение о выходе из печати «Героя нашего времени». Такой скорости от типографчиков никто не ожидал. Автор «изумительного романа» уже смирился с тем, что «Герой...» выйдет тогда, когда его уже не будет в столице. Но у книжных промышленников был свой коммерческий расчет. Весь Петербург только и говорит что о деле Лермонтова, о дуэли Лермонтова, о ссылке Лермонтова! Вмиг разойдется драгоценный товар — дорого яичко ко Христову дню!

И все сразу стало на свои места. Изгнанник помирился и с немилым севером, и с милой бабушкой, и даже с Соллогубом, сочинившим «ядовитую клевету»:

Люблю отчизну я, но странную любовью!
Не победит ее рассудок мой.

<...>

Проселочным путем люблю скакать в телеге,
И, взором медленным пронзая ночи тень,
Встречать по сторонам, вздыхая о нощлеге
Дрожащие огни печальных деревень;
Люблю дымок спаленной жнивны,
В степи ночующий обоз,
И на холме средь желтой нивы
Чету белеющих берез.
С отрадой, многим незнакомой,
Я вижу полное гумно,
Избу, покрытую соломой,
С резными ставнями окно.
И в праздник, вечером росистым,
Смотреть до полночи готов
На пляску с топаньем и свистом
Под говор пьяных мужичков.



Валерия НАРБИКОВА

Валерия Нарбикова родилась в Москве. Окончила Литературный институт им. Горького. Автор десяти романов, вышедших на английском, французском, немецком, японском и других хороших языках. С 1978 года занимается живописью. У Валерии было несколько персональных выставок в музеях и галереях, она принимала участие в групповых выставках.

Публикуется в авторской редакции

Иллюстрации автора

...И ПУТЕШЕСТВИЕ

Почти повесть

ПРЕДИСЛОВИЕ ГЕРОЯ

Написать о себе самом на себе самом — не так просто. Потому что героем романа и являюсь Я — Язык. Это я — герой, а не они. Они персонажи, они простые люди в книжке. Это на мне они говорят, мною они любят и дышат. Я — им все: воздух, вода и тепло, только в виде языка. Без меня бы они погибли тут же. Я такой для них главный, как солнце. Я даже главнее мамы для них. Но я также и беззащитен. И перед этими персонажами. И пе-

ред автором. С автором у нас любовь, мучение и страсть. Как же иногда автор мучает меня, как терзает, но он меня любит. Я тоже мучаю автора, он такой же беззащитный, как и я, такой же нежный. Но так как меня терзают порой персонажи, так даже автор не обращается со мной. Если бы у меня были ноги, я бы пошел и подал на них в суд. Но у меня только слова.

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Мне хотелось понять, сформулировать, что это такое. Потому что сейчас в этом для меня заключалась жизнь. И могла выразить это только с помощью языка, больше никак. Я была беспомощна перед этим и абсолютно одна. Я не могла себе объяснить, что такое это, чего я так жажду,

чего добиваюсь и не могу уловить, что ускользает от меня подобно мгновенному свету, что мучает меня и доводит до отчаяния, и я не знаю, что это такое, как это называется. И очутившись в Германии, я окунулась в океан шума, где я не понимала ни слова. Это был поток звуков, волны звуков,

приятные для слуха и безразличные для сердца. И я поняла, что за последнее время это и было моим единственным страстным желанием — не понимать человеческую речь. Может, для этого и развалилась Вавилонская башня, чтобы у человека оставался хоть один язык, который он никогда не поймет, который будет для него только шумом, только щебетанием, только мелодией, в нем не будет слов, в нем не будет смысла. Мне хотелось слышать и не понимать. Я не хотела бы очутиться в деревне, в чистом поле, где от полного отсутствия звука звенит в ушах. Ведь когда ты сам говоришь, и ты понимаешь, что говорят вокруг, то для окружающих ты и есть ты. Но не произнося ни слова, не понимая ни слова, ты бежишь из «Ты» в — «Я», совершая необычайное путешествие из второго в первое лицо.

Слова — это только шум
слова — это физиологическая потребность
слова — это несостоятельность мысли
слово пренебрегает словом
слову мало слова
в слове мало слова
слово конечно
слово можно обожать
слово имеет скелет, плоть
у слова есть тень
словом можно играть
но словом нельзя играть в шашки, шахматы,
карты
с помощью слова нельзя перейти шоссе
в слове есть страх слова
в слове слишком много букв.

ПРЕДИСЛОВИЕ ЧИТАТЕЛЯ*

* Этот лист нарочно остается пустым, для того чтобы каждый читатель мог написать его самостоятельно.

ГЛАВА 1

НАЧАЛО

Однажды в студеную зимнюю пору шел поезд. В купе сидели два господина. Они ехали в одну и ту же сторону. Но господин, который сидел по ходу поезда, видел один пейзаж, а Сережа, которой сидел напротив, видел уже совсем другой пейзаж. Вот так в течение всего времени, находясь в одном и том же пространстве, в этом купе, они были очевидцами совершенно разных картин, мелькавших за окном. Все, что наблюдал господин Ив, совершенно не попадало в поле зрения Сережи. А все, что видел Сережа, было скрыто от господина Ив. Как будто из купе можно было наблюдать явную сторону мира и тут же одновременно ее обратную сторону. Конечно, Сережа не знал, что этого господина так зовут. Сережа смотрел то в окно, то на господина Ив. И не мог определить его возраст. Какой-то он был вечный, этот господин. То есть ему могло бы и триста лет, и в свои триста лет выглядел он лет на сорок. И выглядел он хорошо. Может, он был и не красив, но наружность его поражала. Казалось, что его глаза посажены не одинаково. Правый — глубже. А левый как бы совсем на поверхности, чуть ли не плавал в воздухе даже. К тому же казалось, что этот левый ничего не видит. Если Сережа и чувствовал на себе взгляд этого господина, то только одного глаза — правого. И форма его головы была не совсем правильной. Слишком длинная голова, такая, какая бывает вместе с бородой. Но бороды как раз не было. Борода была внутри господина Ив. А снаружи он ее брил. И когда господин Ив смотрел в окно, он покусывал губы, может, поэтому они и были такими яркими. А вот нос у него был как нос. Нос и нос. И больше нечего про него сказать. И поправляя волосы, он как бы зачесывал их назад. И ни одной седой пряди — совершенно черные были у него волосы. Лицо — загорелое. Слишком загорелое. Может, поэтому на фоне лица левый плавающий глаз и казался таким прозрачным. И если бы поезд шел по России, то за окном бы лежал снег, потому что время было зимнее, а зимнее время в России — студеное. Но поезд убежал из России в Германию, и зима растаяла по-немецки. Поезд остановился как раз тогда, когда окончательно вышло солнце. То, что оно осветило, было серое с белым, а подальше от вокзала — с красной или черной черепицей на крышах. В очень чистой аккуратной луже отражалось все вертикальное, что было вокруг нее: часть

дерева и часть стены, и вниз головой в нее входили люди, так и пропадая в ней, улетая вниз головой вглубь земли. Сережа даже не ожидал, что господин Ив окажется таким высоким. Потому что сам Сережа был достаточно высокого роста. Но этот господин оказался выше его на целую голову. В привокзальном кафе Сережа еще раз увидел его, когда тот заказал себе пиво, а Сережа подумал и тоже заказал себе пиво, и они улыбнулись друг другу как знакомые, и Сереже показалось, что вот сей этот господин его о чем-то спросит, но господин Ив как-то мгновенно осушил свой бокал, он именно утопил жажду и ушел. И тогда Сережа подумал, что этот человек какой-то странной породы, может, раньше таких людей было много, а потом они вымерли, как египтяне, остались только на вазах, а этот чудом сохранился, может, только в одном экземпляре и не на вазе.

Вот эта улица, вот этот дом, вот эта барышня, что я влюблен, детская площадка, палисадник, пешком на четвертый этаж. Сережа открыл дверь и позвал: «Кис-кис-кис». Она выбежала сразу. «Киса», сказал он, она сказала: «Сережа», а потом еще раз: «Сережа, Сережа». И они обнялись.

Они любили друг друга, как брат и сестра, даже не потому, что были на самом деле родными братом и сестрой, а просто это чувство совпало: по-настоящему брат и сестра, по-настоящему сестра любит брата, а брат — по-настоящему сестру. А все, что не по-настоящему, не касалось этого чувства.

Сережа называл Ксению ее детским именем Киса.

Почему мы все дети божьи? может, один раз сперма воскресла, ожила, вознеслась к богу вся сразу, все сперматозоиды сразу, ни один не погиб, все выжили, и все стали людьми, населили планету, все сразу: хорошие, плохие, разные, слабые, хилые, полудохленькие, но живые, и сильные, и дерзкие, и могучие; все до одного; и все — дети божьи. И не было еще расы, наций, места жительства, все — везде, ни черненьких негрятят, ни желтеньких щенков, ни беленьких котят, все — божьи, все — дети, ни одного взрослого, все — девочки и мальчики, все — ничьи, без мамы, все — божьи, а потом повзрослели и поссорились, расстались братья и сестры, переженились, составились, наплодили собственных детей, не от бога, друг от друга, населили землю, и стали воевать, и стали умирать.

— Ну как там? — спросила Киса, — как?

Ясно, она спрашивала о Москве.

Об этом пространстве не для людей, об этом числе не для единицы, о том месте, где тебя нет,

пока ты где-то в Голландии, в Гренландии, и в новой Зеландии, о месте, которое не похоже на все остальные, как холодный рай.

Ясно, она спрашивала о Москве.

«Что вы за люди такие, русские», — сказал во время застолья один *иностранн*ый писатель, родившийся то ли в Цюрихе, то ли в Вене, то ли в поезде, шедшем из Цюриха в Вену. Он не помнит и помнить не хочет ни этот Цюрих, ни эту Вену, пусть там будет хоть землетрясение, наводнение, гунны, он европеец, и душа у него в Европе.

А где у русского душа? в темном подъезде, где лампочка перегорела, в замызганном лесочке по колено в грязи, в храме, набитом старухами в платках, в яблочке — «это тебе гостинец от бабушки», в этих поцелуях под кроватью и на кровати без белья, бедное место, в котором живет душа, бедная душа, отдававшаяся с потрохами этому месту, есть ли у души потроха? выпотрошенная душа.

— нормально, — сказал Сережа. Он имел в виду дом и мужа Кисы Александра Сергеевича.

— это тебе, — и он достал из внутреннего кармана письмо для Кисы, — от него.

Александр Сергеевич. Вот единственное имя, достойное кия слова «муж». И если «муж» — слово, то это слово зовут по имени Александр Сергеевич. Потому что ради слова «жена» погибло слово «муж». Есть первый муж, второй муж, первый стражник, второй стражник, законный муж, официальный, тайный муж, вечный муж, муж сестры, брошенный муж, муж во время чумы, муж во время войны.

Но пусть имя Александр Сергеевич звучит все равно. Пусть останется имя во имя во имя утраченного слова.

Они разговаривали.

Они вспоминали.

Они смеялись.

Есть ли критерий памяти. Память самая непостоянная величина. Прерывная во времени. Нет, именно времени у памяти и нет. Ты помнишь совсем не то, что было последовательно. Только выборочно. И совсем не то, что надо помнить, не учитывая важности событий. Скорее всего, ты помнишь свое настроение и воспоминание — это память настроения.

Было пять часов по немецкому времени, а по русскому было бы уже семь. Но пять часов — было настоящее время, а семь — не настоящее, а если бы оказаться сейчас в Москве — то наоборот, семь было бы настоящее, а пять — ненастоящее.

Хороший город — маленький, все недалеко: вокзал, почта, ресторан, речка, прикс. Выбрали

китайский рестораник. Люди между собой договорились, что качественные блюда и напитки имеют устойчивый вкус: виски — свой, смирновская водка — свой, джин — свой, кю д'анс — свой. Этот рестораник обслуживали люди, имеющие устойчивый вкус ресторана. Этот ресторан мог быть где угодно, место не имело значение — Париж или Мюнхен. Все равно эта девушка с подносом будет самой незаметной точкой. Она «бес»: бесполо, бестелесна, бесчувственна, бескровна, она также принадлежит ресторану, как вкус водки принадлежит водке — она бесподобна. Плавали золотые рыбки. В третий раз закинул он невод, пришел невод с золотою рыбкой: «чего изволите?» — «почему ты не пишешь акварели? есть вода». Голубой фитилек. Освещение. Свет. Дневной свет. Тот свет. Боимся подумать, но думаем о том свете. «а знаешь, чего там нету?» Ведь там нет смерти. Смерть есть только здесь — в жизни. Теперь десерт.

А теперь спать, хотеть спать — это именно хотеть. Можно хотеть выпить, но не пить, хотеть любить, но не любить. Можно даже сказать: «я хочу хотеть любить», но нельзя сказать: «я хочу хотеть спать». Потому что человек вообще не хочет спать, кроме того состояния, когда он спать хочет. И тогда он не хочет ничего — только спать. Он все равно заснет. Он не может не спать. Нет человека, который может не спать. Человек — существо, которое спит. И засыпая, Сережа вспомнил своего попутчика в поезде. Он хотел рассказать о нем Кисе, какое у него необычное лицо, но забил. Завтра расскажет. А теперь спать спать. Золотые рыбки.

2

Когда Киса вышла из дома, Сережа еще спал. Она вышла бесшумно. И, немного прогулявшись, она остановилась у витрины маленького магазинчика. Магазин был закрыт. И внутри — темно. Она рассматривала ножики на витрине: маленькие, большие, кривые. Коробка с монетами. Замшевый футляр для книги, украшенный бледными камушками. А один камушек выпал.

Киса была в голубом коротком пальто, которое отражалось в темной витрине, как вертикально поставленный водоемчик. И когда она заметила, что камушек выпал, она заметила еще одно отражение в витрине. Это был кто-то очень большой. Киса оглянулась и даже немного закинула голову назад, потому что человек, который стоял за ней, был высокого роста и смотрел он не на витрину, а на нее. И глаза их встретились. То есть глаза

Кисы встретились с одним глазом этого господина, потому что второй его глаз то ли не видел, то ли смотрел как бы мимо. Это был господин Ив. Он видел, как она подходила к витрине. Она его не видела. Его внимание привлекла эта совершенно западная женщина с совершенно восточным лицом. «Иностранка», — подумал он. «Иностранец», — подумала Киса. Сейчас спросит, как пройти на такую-то улицу. Может, из-за ее праздного вида ее часто спрашивали, где и то-то и то-то, и она отвечала по-английски: «Я не понимаю». Он не спросил. Она не ответила. Оставаясь у витрины, он проводил ее взглядом до перекрестка, пока она не свернула на другую улицу. Если бы он сейчас поторопился, он успел бы ее догнать. Но господин Ив пошел совсем в другую сторону. А Киса, дойдя до перекрестка, свернула налево, и, пройдя немного вперед, она оглянулась. Ей показалось, что этот высокий господин сейчас выйдет из-за угла дома.

Но он не вышел.

Стало накрапывать что-то дождь. И запахло сыростью, как в лесу. Почему в лесу? Деревьев почти нет. Туфли — не зимняя обувь, даже здесь. «Чулки — не зимние брюки». И Киса улыбнулась, вспомнив, как она когда-то покупала чулки, когда по дороге в ресторан со своей немецкой подругой, немного понимавшей по-русски, они остановились у одного магазина, и Киса сказала: «Я хочу купить чулки». «Что такое чулки?» — не понимала подруга. И встав посреди улицы, Киса проделала такое движение: ухватив пальцами дымчатый воздух, она натянула его на ногу. И подруга засмеялась: «поняла, поняла». Эта пантомима обозначала по-немецки это: «Strumphe». Переводится по-русски как «брюки». «Ты хочешь один? — и она двумя руками перехватила этот воздух у Кисы, натянув его до самого пояса, как рейтузы, — или два?», и она двумя руками сразу пристукнула себя по ногам, точно попав в то место ляжки, где кончаются чулки. «Я хочу два», — и Киса, как бы взяв по чулку в каждую руку, одновременно натянула их одновременно на обе ноги, что натурально проделать совершенно невозможно.

Холодно в туфлях и в «два» зимой. Горячий хлеб. А на улице он уже теплый. А дома он просто мягкий. Киса отдала Сереже хлеб. «Ты же замерзла, — сказал он. — В туфлях зимой. Душ». Квартирка, которую они снимали, была двухкомнатная, с небольшим холлом и довольно большой кухней. Но хозяйка, сдававшая им эту квартиру, никак не могла вывезти свою дачную мебель. И там стояли парусиновый солнечный зонт, два складных кресла и несколько мешков с летними вещами, а так-

же пыльный здоровый мешок и такая же пыльная резиновая лодка. Поэтому кухня была похожа на грузовик, который вот-вот должен отъехать за город. Хозяйка звонила, назначала время на следующую неделю, обещала точно забрать вещи, потом извинялась, и вещи — ни с места.

Так она бы могла дотянуть и до лета. А так квартирка была неплохая — с большой голубой ванной. Зато туалет находился под самой крышей. Поскольку это был последний четвертый этаж и на этом этаже больше не было других квартир, нужно было из тамбура перед холлом подняться по такой скрипучей лесенке под самую крышу — и вот там был туалет. Туалетная комната с овальным окошком, из которого видны были крыши домов. И стоя над унитазом, поглядывая в окно, Сережа писал на весь город сверху. Он писал на него с самого неба: на улицы, автомобили, людей, пуделей. Почти фантастическое удовлетворение.

Киса предпочитала ночную вазу. Это была самая настоящая ваза с довольно широким горлышком. Сережа завидовал сам себе. Он знал, что вот так пописать — как он — сверху на весь город она никогда не сможет. В этом было его превосходство. Это было ей не дано. Этим они отличались — брат и сестра. Но только этим. Она с детства была киской, а он рыжим шалопаем; у него только в 18 лет пропали веснушки, по его словам, он ими наградил одну шлюху. Он потерял невинность и потерял веснушки — сразу. Он стал мужчиной и стал темнеть прямо на глазах. В двадцать лет его волосы были уже не рыжие, а светло-каштановые. А к тридцати годам они стали еще темнее. А когда год назад он захотел отпустить бороду, из него полезла редкая черная щетина. Киса посоветовала сбрить. Он всегда был способным двоечником. Всегда к концу года он как-то ловко подтягивался с двоек и на одних тройках беззаботно переходил в следующий класс, на следующий курс, на следующую ступеньку. Было похоже, что он вот топчется с лентой на ступеньке, мнет ее на ней, а потом раз — и прыгнет на ступеньку выше.

Дверь в его комнату была всегда открыта, он не любил закрытых дверей. Были видны стулья и кресло, заваленное штанами, носовыми платками, грязными трусами, рубашками, а на полу стояли пустые бутылки из-под пива, банки из-под варенья, ботинки, сумки. Но был один угол в комнате, чистый, как снег на крыше. Там стояли его рабочий стол и чертежная доска. Он чертил как бог.

Нет, не как сам бог, бог не умеет. Но если бы богу было угодно начертить что-нибудь, он бы избрал его. Он бы начертил для него все, что его душе угодно. Для этого у него были всевозмож-

ные «штучки», как их называла Киса. Но главное, рука. Она ни разу не дрогнула. Даже с утра после литра водки — и такое случалось — он мог провести такую линию. И эта линия ложилась так, как мог бы лечь на горный снег волос, выпавший из бороды пророка. Во время работы он мог даже болтать, это ему не мешало. За работу ему платили немаленькие деньги, на которые они с Кисой помаленьку жили.

Сережа не говорил по-немецки. В школе он довольно бойко стал его изучать, но его отпугнули неслитные приставки, из-за которых смысл был понятен только в конце предложения. Он не мог себе позволить так мыслить. И он подучил английский. Хороший язык, удобный в быту. Я хочу, я не хочу. Я хочу есть и пить по-английски. Хорошо, что русские в свое время не завоевали Америку. А ведь могли бы. Просто было не до М Америки. Своей америки хватало вокруг: вся Сибирь, все направо и налево, вверх и вниз. И Ермак, наш Колумб. Это хорошо. Как бы было обидно за русский язык. Как бы его истаскали, истрепали, исковеркали, говорили бы, как узбеки: «твой мама, хороший девушка, бричку сяду, Москва поеду». И что французы так завидуют англичанам, что не их французский — международный, а был — пока не было Америки, весь Петербург на нем говорил, вся Москва — и все французы под Москвой. Хорошо, что не русский — международный. Что русский — на большого любителя.

Английский — для всех. А ведь и англичане не терпят, когда его коверкают. Не терпят, но терпеливо терпят. По-английски Сережа мог спросить дорогу, поблагодарить официантку. Он мог даже по-английски пригласить девушку в кино. Этого было достаточно. Больше и не требовалось. И он никого не любил. Ни одну женщину. Нет, Кису любил как сестру. Нет, один раз чуть было не влюбился. В одну девушку. Ему было лет двадцать пять. Ей сколько же. Он с ней встречался месяца. И никак не мог понять, что ему так не нравится в ней. Собственно, он и продолжал встречаться, чтобы понять, что именно не нравится. Это было зимой. Во время любви она спросила, любит ли он ее? Если женщина в постели спрашивает: «ты меня любишь?», ничего не остается как ответить «да». «Сделай для меня одну невероятную вещь». Это она сказала после любви, уже почти на рассвете. «Сейчас попросит денег или ребенка», — подумал он. «Сделаешь?» — Он сказал: «да». Он уже почти спал. «Принеси мне в этой миске снегу», — попросила она. Он вышел на улицу. Он сгреб со скамейки снег. Самый чистый. Она ела его и размазывала по лицу. И он понял. Она ему напомина-

ла Кису. Сестру. Это было невыносимо. Потому что Кису он любил. Он не хотел любить ее подобие. Больше он ее не видел.

А еще Сережа заметил вот что: когда все становится по фигу, тогда все и получается.

Лет в двадцать семь, он был тогда без денег, без дома, без женщины, в одних трусах и пальто. И попал он случайно в гости. Это был престижный дом в престижном районе, и человек был престижный, как будто нарочно выращивает таких престижных людей для престижной жизни.

И этому человеку, хозяину дома, было плохо. Гости в тот день у него были случайные, и среди прочих — Сережа тоже был случайным гостем. А утром, когда Сережа проснулся на диванчике в сапогах и шапке, гостей уже не было, а был только хозяин. «Ты тут откуда?» — поинтересовался хозяин. «Со вчерашнего дня». И они выпили с хозяином. Он много пил, хозяин, потому что от него ушла жена. К другому. Еще он плакал. Прямо как ребенок. Он не стеснялся Сережи. Не обращал на него никакого внимания. Он был поглощен своим горем. Он купался в слезах. «Не надо тебе больше пить», — посоветовал Сережа. «Пить надо. Не надо допивать», — сказал хозяин. Он был прав. Все равно напитков было столько, что допить их было невозможно. Можно было умереть, но не допить. «Она от меня ушла», — он это повторял. Больше всего его, видимо, потрясло не то, что она от него ушла, а то, что она ушла от него. Этого он не мог перенести. Расстались они совершенно друзьями. И совершенно трезвыми. А встретились только года через три. Тогда и пальто приличного у Сережи не было, только трусы. И главное, никакого настроения, чтобы чем-нибудь заняться. Хотя всю страну тогда охватило именно настроение: бегали деловые люди в этом деловом 88-м году. И жизнь вся была на арене. Как цирк. Такая она была праздничная, жизнь, наглая, жадная, пустая, вся в мишуре, в огоньках, как будто шло какое-то всеобщее надувательство. И это надувательство было таким открытым, нарядным, шумным, таким сладким, что все люди липли к нему, к этому надувательству. И все жужжали, и летали, и подыхали, насосавшись, как осы, этого алкогольно-сиропного надувательства. И этот Сережин друг, хозяин, был уже хозяином фирмы. А Сережа опять никем. И Сережа пришел к нему в контору, и хозяин хотел ему помочь.

«Ты ведь учился?» — спросил он. «Учился». «От нас чертежница ушла. Сделай вот это», — и он протянул Сереже металлическую болванку, такого технического башка с дырками в место глаз. «Сделаешь чертеж, попробуй», — сказал хозяин.

«Попробую», — сказал Сережа. Он попробовал и сделал. Он даже не пробовал. Он просто раз — и сделал, без всякого труда. И труд его был оценен.

Киса была младше Сережи на два года. Не очень точно сказано. Ведь нет «младше» и «старше», есть «раньше» и «позже». Киса родилась на два года позже Сережи. И когда ей было уже пятнадцать, а ему всего семнадцать, у нее был поклонник, женатый человек, а у него — никого. А в девятнадцать она вышла замуж и окончательно превратилась в старшую сестру. Он же в свой двадцать один — продолжал оставаться мальчишкой. А когда Киса через год развелась, то Сережа так никого и не любил. А через два года Киса опять вышла замуж. И чем дольше она жила со своим вторым мужем, и чем дольше Сережа так и не женился, тем Киса для него становилась почему-то младше. И теперь, когда ему было тридцать пять, он к ней опять относился как к младшей сестре. Не понятно почему.

Киса вышла из душа. Она плескалась там целый час. Он успел приготовить яичницу. Она уже успела остыть. Киса проглотила ее. Он даже не успел заметить, как у нее так быстро получилось. Она была голодной.

В Москве — зима.

В Москве — любовь.

В Москве — Москва, столица нашей родины.

«За что ты ее так не любишь и никогда ты ее не любил, Москву, что она тебе сделала». — «Тесный город, грязный, некрасивый и большой, как сарай...»

Вся комната янтарным блеском озарена это прямо на крышу село солнце, не русское, не немецкое, не иностранное, ничье, самое любимое и среднее — предмет обожания художников, поэтов и прочих насекомых, зверюшек и птиц. «Я же не съем ее, твою Москву». Нет костылей, нет гробов, сразу надо помирать без ног в общей могиле.

Это было в 1998 году в октябре месяце.

Это было четвертого октября,

а шестого Сережа должен был улететь во Франкфурт.

И он беспокоился, что, может он не сможет вылететь,

если в Москве не прекратят стрелять.

Он сидел и смотрел телевизор, а там показывали Мост,

и на мосту стоящих людей,

и пушки стреляли по дому напротив,

И этот дом, по которому стреляли пушки, был некрасивым,

Он, конечно, не был произведением искусства,

И в этом смысле его было не жалко,

Он просто был домом, в котором сидели люди. И эти люди, они тоже не были произведением искусства.

Среди них не было ни одной Венеры,

Среди них не было художников и поэтов,

Среди них не было ни одной балерины,

Которая бы танцевала на сцене.

Эти люди, которые сидели в доме, были завистливые и смешные.

В прошлом они были троечниками, а может,

Кто-то из них был спортсменом, а может,

Кто-то из них был на войне, а может,

Кто-то был крестьянином и хулиганом, а может,

Кто-то был первоклассным рабочим, а может,

Кто-то больше всего любил авокадо, а может,

Кто-то любил деньги и женщин, а может,

Кто-то любил ходить в кино.

К это ничего не значит,

что среди них не было ни одной Венеры,

Это ничего не значит,

Что по ним надо было палить, как по мишеням,

И людям, стоявшим на мосту, не надо

Было орать, как на футбольном матче:

«еще разок, давай, давай же».

Это было зрелище, и если

Сведенборг говорит правду «О небе, о мире духов и об аде»,

то все политики 1993 года:

парламентарии, премьеры и даже

губернаторы, фрейлины, сторожа кабинетов, и даже

министр иностранных дел, и даже

голубой секретарь и холодный партийный работник —

когда все они окажутся в мире духов,

там есть такие щели, какие бывают в скалах,

и только через них, протиснувшись друг за дружкой,

можно попасть в ад.

Но также в этом же мире духов есть такие скважины

или воронки, через которые души попадают в рай.

И может, в мире духов,

из-за того дня, из-за четвертого октября 1993 года,

будет очень тесно в темных щелях,

где будут давиться бедные души.

Сережа сказал, что Александр Сергеевич приедет в Германию через две недели, так он хочет, так он может, раньше он не может. Остается только писать стихи. В общем-то нет смысла осваивать Луну. За границей, как на луне. Так хорошо ды-

шится в противогазе, такой чистый кислород, так пустынно... а там далеко совсем под другим небом — такая малюсенькая-малюсенькая земля, совсем под другим снегом. И какой же там ветер! он умеет выть. И с листьями там все в порядке. И с цветами, цветов полно. И с грибами. Они прямо под ногами. А с людьми не все в порядке. Они прямо под ногами. Вот уж кого-кого, а людей Сережа не вспоминал. Если уж он вспоминал, так это целиком русский народ. Народ целиком —

душевный
тихий
болтливый
красивый
добрый
грязный
злой
умный
жадный
сильный
глуповатый
верный
хитрый
здоровый
простой
бедный

богатый-богатый-богатый-богатый-богатый-богатый-богатый-богатый

От кофемолки звенит в ушах. Какой вкусный у кофе запах. Ни с чем ни сравнимый. Единственный. Так может пахнуть только кофе. А талый снег может пахнуть — любовью, только что вылупившимися листьями, рекой, а кофе — только кофе. Несколько лет назад Киса научила Сережу варить кофе, и теперь он варил лучше ее. Почему, она не могла понять, но она не могла понять.

— В поезде напротив меня сидел господин, как бы тебе его обрисовать, я тебе еще вчера хотел про него рассказать, какой-то необычный.

— Пупсик, что ли? — спросила Киса.

Между собой они так распределили для удобства — есть пупсики и люди. Пупсики бывают резиновые, пластмассовые, тряпочные, набитые и пустые, да каких только пупсиков не бывает.

— Нет, человек, — сказал Сережа.

— Челове-е-ек, — протянула Киса, — интересно.

Опять же выходило, что когда они вспоминали всех, кого встречали, то пупсиков оказывалось значительно больше. Люди, конечно, тоже попадались. Злые, красивые, умные, было даже и так, полное дерьмо, но человек!

— понимаешь, — сказал Сережа, — он такой большой, загорелый, и какой-то то ли одноглазый, то ли у него этот глаз как-то не так смотрит,

— у тебя кофе бежит, — сказала Киса и вышла.

Она пошла к себе в комнату.

— куда ты, — окликнул Сережа. — А кофе!

— потом, — сказала она, — я поплюю.

И она закрыла свою дверь.

При очень плотных шторах, даже в солнечную погоду в комнате было совсем темно. И в этой темноте Киса представила себе господина Ив. Конечно, она не знала, что его так зовут. Но, по правде говоря сказать, таких людей она раньше не видела. Он ей никого не напоминал. Конечно, Сережа рассказал именно о нем. Это ясно. Она мгновенно увидела его отражение в витрине и повернулась к нему. Он посмотрел ей в лицо.

3

Прошла неделя. Она прошла в трудах. Сережа чертил. Киса вязала, как Пенелопа, — свяжет и распутит. Похоже, ей нравился процесс. А Сереже нравился свитер, которого так и не было, потому что как только он был почти готов, Киса говорила: «не то». И от свитера оставались клубки. Она играла с ними, как кошка.

Оно было почти морозным, это утро. Почти зимним. Почти московским. Почти. Не совсем. Полдень.

И они шли вдоль реки, по такой узенькой набережной. И народу не было. Почти. Она его сразу узнала. Еще издали. Она держала Сережу под руку. А когда он почти приблизился к ним, Киса остановилась и чуть слышно сказала Сереже: «познакомь». Почему-то господин Ив остановился, поравнявшись с ними; он узнал своего попутчика в поезде и ее. Они стояли и смотрели друг на друга. Все втроем.

Сережа протянул ему руку и сказал по-русски: «здравствуйте». Господин Ив пожал Сереже руку. «Здравствуйте», — сказал он по-немецки. «Это моя сестра», — сказал Сережа по-русски. Господин Ив не понял и улыбнулся. Улыбнулся он очень большим своим ртом и одним глазом. И бровями, которые у него подскочили вверх. «Это ваша жена?» — спросил господин Ив по-немецки. Сережа понял слово «жена», но начисто забыл слово «сестра». «Нет», — сказал Сережа по-немецки. И Киса сказала по-английски: «Это мой брат». Господин Ив понял, и все втроем они засмеялись от того, что с таким трудом объяснились. У него был глухой смех, у господина Ив. Он искал ее уже целую неделю. Он не мог представить, что в та-

ком маленьком городе больше не увидит ее. Он каждый день проходил по той улице, где увидел ее впервые у витрины.

— Меня зовут Ксения, — сказала Киса по-английски и протянула ему руку.

— Ив, — сказал господин Ив и пожал ее руку. А Сережа сказал: «Сережа».

Господин Ив стал что-то очень быстро говорить по-немецки, показывая на противоположный берег и на мостик через речку. Они его не понимали. Тогда господин Ив на плохом английском языке с трудом объяснил, что на том берегу есть маленькое кафе, и он их приглашает выпить кофе вместе с ним. Причем из его объяснения выходило, что мост под рекой, а кафе «в» улице с домами, но хозяин лично знакомый в дверях стоит каждый день в другую погоду.

— хотите? — сказал господин Ив.

И они вместе направились «через воду», как по-немецки сказал Сережа, «в такой прекрасный день», по словам Кисы по-русски, и далее по-английски: от солнца без зонта, надеясь, что погода пройдет мимо, пока маленькие машины, которых на часах чуть-чуть, уехали навсегда.

В кафе стоял бильярдный стол. Молодой человек играл сам с собой. Из Сережиного объяснения трудно было понять, в чем заключается его работа. Получалось, что он держит карандаш в руке и делает предметы на бумаге.

— Он не художник, — сказала Киса. — Он работает.

Но господин Ив так и не смог понять, что за загадочная работа у Сережи. И когда Сережа отошел к бильярдному столу, господин Ив сказал Кисе: «я буду здесь в двенадцать завтра. Вы будете здесь в двенадцать завтра?» И Киса сказала: «да».

Время летит. Но у него нет крыльев. Оно не прилетает обратно. Оно даже на лето не возвращается, чтобы гнездиться у себя на родине. У него нет родины. И у него нет потомства. У него нет времени на это. Оно сделано из ничего, как небо, и невозможно понять вот что: если там дальше (в небе) — ничего нет, то что там? Что? Это пустой вопрос. А может, там так же пусто, как этот пустой вопрос. Женщины и мужчины. Женщины дают. А мужчины берут. «Она дала, она не дала, она тебе дала? — не дала». Александр Сергеевич, вы защищали свою честь? честь нашей жены и была вашей честью? Но ведь господин Д. хотел сделать с вашей женой то, что вы сами делали с чужими женами. Или с чужими можно и только с вашей нельзя? или только вы любили, а больше никто не любил, или только вы ревновали, а боль-

ше никто не ревновал, или любовь — это то, что только и бывает у одного только человека, а больше ни у кого. И это тот человек, который любит в данный момент. И если бы нашлись любители, которые любят считать, то вдруг нашлись бы и такие, которые бы подсчитали, что в данную минуту есть только один человек на всей земле, который любит. А в следующую есть только один, но другой, а в следующую — другой, и любовь оказывается бесконечной за счет присутствия человека, она бесконечна сама по себе, а любовь в человеке конечна сама по себе.

А что если вместо дуэли провести пресс-конференцию на тему: О доблести, о подвигах, о славе; на тему — чем больше женщину мы больше, тем меньше мы поменьше ей; но кроме шуток, за измену можно убить! можно так убить, убить и все; можно убить и еще раз убить! а можно и не убивать, не убивать и все. А ведь ревность — это орган, у этого органа есть усики и рожки, этот орган расположен между сердцем и желудком, и когда сосет под ложечкой и стреляет в ухе, этот орган еще спит: и усики и рожки; и даже когда горло болит — это не ревность, и когда сердце — тоже нет, и голова и нога — это все не то, этот орган даже не омывается кровью, не выполняет ни одной полезной функции, в нем нет ни грамма серого вещества, но он материальный, этот орган! его можно наблюдать по ночам, даже на вокзале, в привокзальном буфете, ворочаясь между сердцем и желудком, он так ударяет в голову; этот омерзительный орган, что все подробности всплывают у стойки, в этом органе есть специальный мешочек для обсаживания деталей, этот мешочек не чистоплотный, грязный, серый, но железный, как железо, и нежелезный, как нервы.

Женщинам нельзя поднимать тяжести, а мужчинам можно, собакам нельзя есть сладкое, а людям можно, птицам нельзя орать по утрам, а детям можно, и клетку с птицей можно закрыть тряпочкой, а кроватку с ребенком нельзя. Потому что дети профессионально орут, а женщины профессионально носят пушинки, а мужчины — булжники, и с древнейших времен произошло распределение профессий: кому что можно и кому что нельзя. И есть даже такие профессии, на которые люди согласны. Условно и профессионально. Сниматься голыми в кино — профессионально, сидеть без денег — условно. Киса любила Александра Сергеевича безусловно, но если бы он был Пушкин, она бы любила его еще больше. Он был мужем. И если это можно назвать профессией, то он, безусловно, был профессионалом. Даже когда он не мог уже выносить Кису



Девушка, занимающаяся любовью со слоном, откуда появляются солнце, дети, земля, боги и другие зверюшки

как муж и готов был застрелиться как человек, он оставался мужем до конца, он оставался профессионалом. Все-таки Пушкин был поэтом, но не мужем. На кого он оставил жену! на другого мужа! а детей! на кого он оставил детей! Нет, Александр Сергеевич Пушкин был поэтом, а вот Александр Сергеевич — был мужем. Хотя кто знает, может, А. С. Пушкин был и мужем, и отцом, и поэтом, может, он был — наше все. А вот Александр Сергеевич не был отцом. Не был поэтом. И даже не был мужем, в том смысле в котором был Пушкин, то есть на дуэли бы не погиб. Но зато Александр Сергеевич был не третьим мужем, а вторым, и имя у него было как у Пушкина — Александр Сергеевич, и он никогда не был мужем сестры (потому что у Кисы не было сестры), он был профессиональным мужем. И даже когда он как человек, Александр Сергеевич, не выносил Кису как человека, он оставался мужем. И даже когда он как мужчина ненавидел Кису как женщину, он оставался профессионалом. И когда он как любовник обожал Кису как любовницу, он был профессионалом.

Полдень. Блестит река. Поезд с Александром Сергеевичем приходит сегодня в пять вечера. Вокзал совсем в другом направлении. Киса шла в кафе, вдоль реки, через мост. Кафе по ту сторону реки, а вокзал по эту. И Александр Сергеевич приедет по эту сторону реки, а господин Ив будет ее ждать по ту сторону. С Александром Сергеевичем они не виделись месяц. Почти месяц. А до этого они неделю провели вместе, а до этого месяц провели отдельно. Друг без друга. Как будто они в плавании, а она на суше, или она в плавании, а он на суше. Они оба на суше. Но это разная суша. На этой суше нацарапана граница, кривая, с лесом вдоль границы, полем, речкой, даже небом, даже с луной на границе. Со всем набором. Какой чужой город! абсолютно чужой, просто восторг! В нем нет русских домов. С какой стати, русских людей точка, стихов. Здесь не бывал Блок. Даже Петр I. И русского духа нет. И в помине. Нет языка. Вообще не говорят. Щебечут. Как их легко не понимать! Загадочная вещь. Здесь зимой нет зими. Прохладно. Пусто. Муха. Присохла к стене. Дама застыла в окне.

Хозяин кафе. Наверху его квартира, а внизу кафе. Квартира большая, он ее сдает. А сам снимает маленькую. В ней и живет. А тот, кто сдает маленькую, живет совсем в маленькой. Он на это и живет. А тот, кто сдает совсем маленькую, он совсем нигде не живет, так, у одной дамы, с которой он живет. Вот это жизнь! А странно, что из двадцати одной розы наутро не завяла только одна. Почему?

Господин Ив сидел за столиком в глубине кафе, в самом темном углу. И он увидел Ксению, она его — нет. И он смотрел на нее, а она на него — нет. Сильный удар. Закатится — не закатится. Готов. В сетке. Еще раз. Киса остановилась у бильярдного стола. Мимо, и она прошла мимо. Господин Ив встал. Нечего сказать. И он улыбнулся. Слов нет. Отсутствие общего языка. В буквальном смысле. Натурально. Нет общих глаголов. Не — раз, два, три. И этого нет:

Я вспомнил вас и все бывшее,
я памятник себе воздвиг...
я из лесу вышел. Был сильный мороз.

А он живет около этого кафе, внизу за улицей после дождя, во время последнего времени, после второй мировой войны, во время обеда, но только вместо третьего этажа сломалось дно у пола.

— ты понимаешь меня?
— конечно.

А она живет в Москве, в которой есть дверь. Она открылась летом шесть лет назад. И прямо в Москве она живет целую вечность. Как только Москва родилась. Она родилась зимой. За два года перед тем, как родился брат. Нет, она не работает в кино, нет, она пишет стихи, нет, их не переводили на английский, да, она выпьет вина.

Как же назывались те голубые, мелкие цветы, которые все время рассыпались у Кисы в руках, потому что она боялась прислонить их к себе из-за того, что букет был огромный и мокрый, и поэтому птичка, о которой все еще продолжал рассказывать господин Ив, кажется, уже проглотила камень, и вроде бы господин Ив взял Кису под руку, когда они переходили через дорогу, и букет накренился так, что если бы не мастерство голландских спортсменов, шхуна бы перевернулась, и они бы не пришли к финишу первыми. И вроде бы эта птичка не имела никакого отношения к свиданию Ксении и господина Ив, как собственно гордый СВАН, давший приют беженцам, с наполовину отстреленными руками не имел никакого отношения к любовнику Одеты. Этот СВАН жил в горах, так высоко, что по-

чти у самого неба, почти под луной, прямо среди звезд. И он был — народ.

Так, держась за букет, они перешли через дорогу и поплыли дальше — к дому господина Ив. Там, в его квартире, деловые люди. Три человека. Очень важный разговор, который займет пять минут, а потом господин Ив приглашает Ксению обед в один ресторан, тут недалеко, полчаса на машине, очень далеко пешком, ей там должно очень понравится, очень красиво, очень интересно, а разговор нельзя отложить, потому что птичка может сдохнуть.

— Хорошо, — сказала Ксения.

Это был третий этаж без лифта, кажется пяти-шести-огромно-сталинского дома. Поднялись. Это была пяти-шести-комнатная квартира. В полном беспорядке стояли чемоданы, кресла, связки с книгами, сундуки, старый гоночный велосипед опирался рулем и продавливал шелк небольшой японской ширмы. Киса спросила, и господин Ив ответил, что он только переехал. Да, он живет здесь всего лет семь. Можно сказать, всего лишь миг. А можно спросить, сколько же тогда ему лет, если семь лет пролетели, как миг.

На полу лежал матрас. Киса попыталась уточнить, какое количество прожитых лет приходится на зиму и сколько раз он обедал с чемоданами на матрасе, не боясь порвать, и она похлопала по сиденью велосипеда. Господин не понял вопрос и извинился за беспорядок. Он сначала немножко проехал вперед и на секунду остановился. Постоял. И с грохотом рухнул на ширму, декорировав шелк ручным тормозом, выбив у Кисы из рук букет, он гильотинировал его спицами. Он — это был он, гоночный велосипед. Под разорванным шелком была газета. Иероглифы. Невозможно ничего понять. До революции 80 % в России были безграмотны, т. е. не читали газеты. Сейчас все грамотные, т. е. все читают газеты. Кажется, эти цветы называются... Но какое значение имеет название этих цветов, если безграмотными в России так и остаются восемьдесят процентов, несмотря на то, что они умеют читать газеты.

Птичка сидела в клетке и была птицей. Как морская свинка, но только с крылышками и с клювом. Кажется, она подыхала, эта птичка-свинка.

Господин Ив просунул в клетку палец и дотронулся до птички. Она не шевелилась. Он погладил ее по затылку. Она сидела, как чучело. Как будто она была набита тряпками. Как будто у нее не было сердца. Так бессердечно она сидела.

Она не была беркутом, гордым и красивым, парящим над землей. Она не была ласточкой, ласковой и нежной. Но вдруг птичка вдохнула

воздух свинячьей мордашкой, расправила крылья на толстеньком розовом тельце, вскрикнула по-свински:

воды! воды!

Ей подали воды.

Старинная китайская сказка

в далеком желто-голубом Китае, желтом, как песок, и голубом, как небо, случилась однажды в магазине одна история. Хозяин магазина, бывший лимитчик, а к тому же он еще сидел в тюрьме пятнадцать суток за хулиганство, а в школе его выгнали из комсомола, он был матерщинником и второгодником. И вот этот хозяин магазина купил лягушку зеленую, как лягушку. А сам он был хитрый, как змея. А у него жила змея, мудрая, как хозяин магазина. У хозяина была молодая жена, прекрасная, как пятнадцать лет. И однажды змея проглотила лягушку. А потом так больно укусила жену хозяина, так ядовито, что та умерла прямо на месте. И хозяин прямо на месте зарубил змею. А внутри змеи была лягушка, раздробленная пополам вместе со змеей. А внутри лягушки был камень, прекрасный, как бриллиант. А это и был бриллиант на самом деле. И хозяин задумался. Он думал и думал о смерти: лягушки, змеи и жены. И он пошел в соседнюю лавку к одному скупщику драгоценностей и продал ему камень. И на вырученные деньги он устроил бриллиантовые похороны жены, печальные, как пятнадцать лет. А после этого он внезапно разбогател. Откуда, спрашивается, пришло к нему богатство?

Один из деловых людей погладил птицу и завернул что-то в тряпочку, что было под птицей. А что это было? Это был бизнес. А деловой человек был бизнесменом. И только после того, как деловая операция была закончена, клетку с птичкой накрыли покрывалом. Ей, птичке, нужен покой, ресторан, берег моря, девочки и танцы. У нее через неделю трудная неделя, спи, моя радость, усни.

Автомобиль господина Ив был с помятым крылом. Вчера помял. Металл, как помятая бумажка. Дождь.

На церемонии дождя, которая иногда начинается с утра, как служба в храме. Резкий дождь. Внезапный. И казалось, что эта часть автомобиля может размокнуть под дождем. Железное небо. Даже стальное. Без единой тучи. Не может быть, чтобы дождь был сделан из воды. Он — из металла. И эти острые летящие спицы могут проткнуть насквозь. А изнутри автомобиля, через стекло было видно, что этот железный дождь сделан из воды.

Что такое глаза? Из чего они сделаны?

из — соринки в глазу,

из — солнца — бьет в глаза,

из тьмы — хоть глаз выколи,

из — я вижу собственными глазами.

Поехали. Движение. Стертый пейзаж. Даже протертый до дырки в этом пейзаже. И вот сквозь эту дырку — от резкого тормоза не раздавить белку — дыру, единственно настоящую в этом пейзаже, была видна откуда-то взявшаяся между домами дорога, уходящая вверх. Из чего была сделана эта дыра по-настоящему? Из проглядывающего сквозь нее пейзаж? Нет, не было никакого пейзажа в дыре. Дыра была дырой. В дыре была дыра из себя самой. Но где в дыре была дорога?

Жил-был один человек. Он жил в одном царстве. И жила-была одна девочка. Где жил этот человек? Где было это царство? Где жила-была эта девочка? — ваши стихи — наяву написаны, наяву в газете раньше, чем всегда?

Скорее всего, этот вопрос этот вопрос обозначал, печатала Ксения свои стихи. Она поняла слово «стихи» и ответила: «можно читать». — «Пожалуйста», — сказал господин Ив.

Ресторан был таким домиком, к которому посетители подъезжали со стороны озера. И маленький лесок, даже бег мужиков в лесу. А ветер резкий, как ветер. Они поднялись на второй этаж. Ни одного посетителя.

Окна были расположены низко. И только когда они сели за столик, напротив каждого открылся вид из окна. Окно было рядом с Ксенией. Небольшое окно, прямо на уровне головы. Потом стена. И точно такое же окно на уровне головы господина Ив. И когда она посмотрела в свое окно, это был именно ее вид из окна. И Ксения заговорила по-русски именно об этом. Потому что это ее поразило. Господин не видел той части озера, которую она видела из своего окна, и той части леса и части неба, и полчасти человека, который удалялся. Он ничего не понимал из того, что она говорила.

О великий, могучий, русский язык! Ты еще более великий и могучий тогда, когда, например, один человек говорит, и все так и возвращается к нему самому. Но ведь он не сам с собой говорит. Он говорит для другого человека. Но ты, великий, могучий, русский, недоступен для того, кому он это говорит, он тебя не понимает, язык. Он на тебе, великий, даже не может заказать меню. Он на тебе, могучий, даже не может предложить снять пальто. Он на тебе, русский язык, даже не может дать имя дереву, которое так и растет напротив окна, безымянное. Ты для него, русский

язык, ну как не знаю что, просто про это даже нет слов на русском языке, вот ты что для него такое, русский язык.

И пока она говорила, и пока он слушал и не понимал, официант принес аперитив, потому что Ксения кивнула, когда минуту назад господин Ив предложил ей джин-тоник. Он позволил себе взять ее руку. Ее рука замерла, как зверек в его руке. И если сильнее сжать, то этого зверька можно придушить. Но вдруг этот зверек каким-то образом вывернулся и юркнул в сумочку.

— Вот, — сказала Ксения, — хотите посмотреть?

И она показала господину Ив какие-то квадратики из плотного картона, скрепленные металлическими кольцами. Их было, кажется, четыре, этих фигур. И они составляли небольшую гирлянду.

— Что это? — спросил господин Ив.

Она повернула гирлянду в одну сторону, и господин Ив увидел перед собой треугольник. Она повернула гирлянду в другую сторону, и он увидел перед собой квадрат.

«как разрезать телефонную будку на сорок семь частей, чтобы каждому поместившемуся в ней было не обидно?»

— интересно, — сказал он.

Но в эту минуту его намного больше интересовала не гирлянда, а ее рука, так ловко манипулирующая гирляндой. Неожиданно господин Ив встал, ничего не сказав. Он пересек зал ресторана и исчез за дверью. Куда вела эта дверь? Прошло минут десять. Он не вернулся. И никого не было в зале, даже официанта. Тогда Ксения подошла к этой двери и некоторое время стояла перед ней, не решаясь ее открыть. А когда открыла, то увидела небольшую комнату. Пустую. В ней ничего не было. «Что за фокусы!» Белые стены и одна большая картина. И тут же господин Ив, появившись у Ксении за спиной, обнял ее за плечи, повернул к себе и, что было уже настоящим фокусом, — поцеловал.

Он поцеловал ее в лоб. И потом сжал целовать. Он целовал ее щеки. Волосы. Он поцеловал ее в рот. Он поцеловал ее в губы.

Он целовал ее в Москву, в пригород Берлина, в Африку, в Средиземное море, в яблоко, в грузовик, в подъезд, в жуткую жару, в штиль, в пушок над губой. И одной рукой он поймал обе ее руки у нее за спиной. И он удерживал их, чтобы она не мешала ему целовать ее в подбородок. В прилипшую к губе прядь волос. В Санкт-Петербург, о котором он читал у Достоевского в переводах, в мочку уха, целиком в Азию, в пустоту над головой, когда ей удавалось отклонить голову, в русский

шепот, в котором ничего не понимал. И когда Ксения увидела у него на руке, которой он гладил ее по щеке, такую маленькую толстенькую стрелочку, приближающуюся к пяти часам, она всплеснула руками и опять заговорила по-русски. Из всего сказанного господин Ив понял только одну фразу, да и то сказанную ею по-английски:

— Я опаздываю.

О, возвращение домой. Домой. В свою немецкую квартирку, частичку родины. Там, как в рыбной икринке, навсегда заложена программа рыбы. И сколько бы ни было таких икринок, таких квартирок по всему миру, родина — рыба. В этой икринке — квартирке — есть все, что есть на родине, даже полтораспальная кровать, рассчитанная не на одного, не на двух, а на полтора человека, и у одного из полтора есть все, что есть у человека, — он симметричен, а у второго из полтора есть только створки неправильной формы и неравной величины, одна больше и толще, а другая является как бы крышечкой при ней.

Она опоздала на час. Александр Сергеевич вошел в дом и не нашел дома свою жену. От этого можно умереть в пустыне от жажды, дать пуделю по морде. А можно лечь и смотреть потолок, после того как Сережа, встретив его, опустил глаза, а Александр Сергеевич лживо сказал ему: «пойду отдохну». Дойдет или не дойдет та черная точка на потолке до трещины в углу, и терзать себя: «почему?» И даже Мейстер Экхарт что-то не успокаивает, а какой он молодец, как сладко читать его в дождь после е..., и как сладко он говорит, что вот есть бог и есть творение; и человек, он подальше от бога и поближе к творению. А вот если бы он, человек, забыл себя, говорит Экхарт, родившийся в 1260 году, а умер он, когда ему было всего 67 лет, то есть если человек откажется от самого себя, то тем больше он Бог, и тем меньше он творение. Александр Сергеевич любил свою жену Кису больше бога, и если бы его спросил убийца, который может убить даже бога, кого убить? бога или Кису? он бы сказал ему — ради бога, только не Кису.

Он спрашивал себя:

«почему ее нет?»

«почему, когда он есть, ее нет?»

«почему он должен жить без ребра?» а это ребро, б..., где-то ходит, где он даже не знает, где. Это ребрышко, которое он так хочет обнять и вые..., с таким невинным личиком на ребре, он хочет вставить в это ребрышко.

«почему в России грязно, а в Германии чисто?»

«почему он не немец?»

«почему когда они были в Коломенском, в домике Петра, она сказала: «вот это был мужик», —

«он был царь», — сказал он, — «ну царь, но какой мужик!» — «ты бы ему дала?» — «Петру? конечно». На его столе стояла золотая чарка с давным-давно выпитой им, царем, мужиком, водкой. «шутка», — сказала она. Но ему было не до шуточек. Не до шуточек. Не до смехуечков. И когда Петр входил в комнату, он пригибал голову. Даже когда она вошла в комнату, она пригнула голову. Сколько раз в день он входил, столько и пригибал. А его жена тоже была б...дь, а может, жены не виноваты, может, у всех мужей сидит внутри это б...дское ребро. Ион изначально б...дское, и каждый раз они отдают в это б...дское ребро на сотворение своей жены. А жена сама по себе невинна. Она не виновата в том, что сделана из этого б...дского ребра.

И через час это ребрышко вернулось домой. Это Александр Сергеевич ее впустил. Сережа даже не вышел в своей комнаты. У Сережи ребро было на месте. Оно было при нем. Он его никому не предлагал. Держал при себе.

СЕРЕДИНА

1

А в свободное время она посещала католическое кладбище ради прогулки. Оно было что-то вроде сквера. Хотя деревьев было больше, чем могил. Были могилки и могилы. Были памятники и памятникчики. Были надгробия и надгробища. Были склепы. И туда можно было заглянуть в окошко. Заглянув в первый раз через разбитое стекло, Киса испугалась. Кого? покойника? некую силу? потустороннюю? По ту сторону окошка была маленькая комнатка. Сарайчик? То, на что может рассчитывать на том свете богатый человек, то есть его труп. Бедный человек, то есть труп его, то есть прах его, будет рассеян по ветру. И в этом сарайчике, в склепе, было мусорно. Грязно. Валялись банки из-под кока-колы, разбитая бутылка, кость, не трупа, куриная, опавшие листья, бумажки, выцветшие газеты. Все как в сарае. Пели птицы. Может быть, соловьи. Это католическое кладбище было чище православного. И холоднее. Ухоженное: травка, белки, цветы. И никаких лиц покойников, никаких барельефов, никакой «любимой Тане от любимой мамы». Ни орденов, ни космонавтов, ни военных, ни летчиков «на память от экипажа». Оно было даже умнее православного, это католическое. Оно было расчетливей. И в нем был некоторый стык. И сдержанность. И оно было

Киса вернулась с цветком, с зонтом, и очередь, в которой она стояла под дождем за его любимым вином, была такая длинная, как в Москве, она вернулась с поцелуями, и Александр Сергеевич уже верил своему бедному ребрышку: и про очередь в Калуге, во время горбачевской антиалкогольной пропаганды, почему в Калуге? если он там никогда не был, просто в Калуге, как просто в абсолютной абстракции, где абсолютно ничего нет. И расставив цветы, вино, вещи по своим местам, Александр Сергеевич сказал Кисе одну вещь. Он сказал ей это после того, как пошел туалет, и как и Сережа, тоже пописал на весь город сверху: на очереди, такси, речь. Теперь они были с Сережей, как братья, когда писали по-братски на город с пятого этажа, Александр Сергеевич сказал:

— Дело даже не в том, что я тебя не могу обнять, когда я хочу, когда мы в разлуке. Дело даже не в е...ле. Ты преступница потому, что ТЫ ЛИШАЕШЬ НАС ОБЩИХ ВОСПОМИНАНИЙ.

ГЛАВА 2

удобным. И в нем не было никакой тайны. В нем не было разгульной православной вакханалии. В нем не было разгульного вакханального смирения. Оно было ни горячим, ни холодным. Оно было теплым. Даже тепленьким. Таким тепленьким местечком для покойников. И даже покойники казались покойничками. Оно было игрушечным, вот что, это кладбище. Оно было мертвым. Оно не было живым. А православное кладбище — живое. Со своей глупостью, дебильностью, уродством, гением, страстью, грязью, моветоном, жадностью, ущербностью, бедностью, нищетой, с дождиком, размывшим дороги. Со своей заботой. Марфа, Марфа! Ты, Марфа, в вечной заботе, Марфа, со своими яйцами вкрутую, куличами, свечками, горшками и консервными банками. С жизнью, скопившейся после живых, с мраморными дурами и бедными крестами, с православными березками. Оно живое — покойниками православными. Оно мертвое — с мертвецами католиками. Хотя оно было удобным. На нем было удобно спать. И чисто. И у кого сколько вытоптано на православной могилке, у кого сколько посетителей, тот настолько и знаменит. За полем — по одну сторону деревни, а по другую кладбище. И там никто не спит. Ни один покойник. Все ходят и говорят между собой. Искалечить, нет, лучше быть убитым, но только не искалеченным. Если бы Анне Карениной отрезали одну



Поцелуй на гитаре

ногу, а Вронский за ней всю жизнь бы до смерти ухаживал. Смешно! Если бы Пушкину повредили мозг и он до конца жизни ничего бы не написал, а был простым эпилептиком, а Лермонтов после дуэли лежал бы прикованный к постели, а Байрон не погиб бы после несчастной простуды, сразу в одно мгновенье. Сгорел! а умер бы в шестьдесят лет от туберкулеза, кому это надо? Только мгновенная смерть. Раз — и умер. Раз — два и воскрес, и ты уже там без этой земли, чтобы только ее не видеть, чтобы духу тут твоего не было, чтобы ты сразу плавал среди ангелов, как в пене морской среди афродит, как пузырьков, вышедших из пены. Но только вот что непонятно? если вознестись на небеса, да? и если внизу земля, да? и если ты все время на небесах, она же все время будет отвлекать, она же будет манить? да? она же заманит, отсосет и высосет всю душу, она же ненасытная в своей страсти к отсосу душ. И вообще ведь душ, воспаривших над землей, нигде больше нет, они и есть только над землей, они там обитают, а вдруг... там вообще ничего нет? нет и все; вот так

как нет снега, после того как он растаял в Москве и его вымели, может, и там все вымели и не вымели только нашу одну, такую маленькую, такую никому ненужную землю, может, мы-то думаем, что мы центр вселенной, а может, мы и существуем просто потому, что просто до нас никому никакого дела, может, мы и сохранились только потому, что больше никому не нужны, только потому, что *заброшенные*, так вот и существуем, никем необозреваемые, и никто за нами не наблюдает.

Вот что было странно, что с одним человеком живешь, а другого вспоминаешь, а потом уже с другим кто-то живет, а другого вспоминает, и так до бесконечности: как будто он никогда вообще не присутствует ни с одним человеком, он только и живет сначала с ним, чтобы потом его вспоминать, а не жить с ним; а почему это? и самое сладостное, самое сладкое воспоминание — это то, что этот человек не позволял. Запрет. Запретный плод сладок! Запрещено.

По газонам не ходить. Ходят. НЕ красть! крадут. НЕ прислоняться. Руками не трогать. Не прелю-

бодействовать, равно е...ся. Не убивать. Не умирать. И вообще лучше не жить. Не курить. А может, жизнь — это и есть нарушение. Может, это преодоление запрета, может, жизнь — это и есть что нельзя, потому что нельзя жить.

Киса проснулась часов в семь утра. И в эти семь часов она была совершенно одна в постели, в таком раннем мире, которому стукнуло только семь. Которому каждое утро стучит семь тук-тук. И этот мир потягиваете умывается, летит с червячком в клювике, плывет с мешком икринок под брюхом. Как же он выползает из норок, этот мир, такой еще тепленький после сна, разнеженный, а там за окном «объезд», «проход закрыт», «комендантский час». Что еще сказать?

— Сережа! — позвала Киса.

Тишина. Куда все ушли в такую рань. «Все ушли на фронт».

Главное, ей хотелось выпить кофе, не выползая из постели. Чтобы ей принесли, а она бы выпила.

Свет с левой стороны, а скульптура с правой. Что т скульптура? сочетание чего-то живого на фоне чего-то неживого: часть ноги и ножка стула — скульптура, ствол дерева асфальт — скульптура, скелет в гробу — ширпотреб.

Время в семь утра уже было однажды уже в семь утра может в полвосьмого в Москве. Она звонила из автомата, и монеты все время проваливались, автомат был полудохлый, а ей надо было дозвониться своему... — проще его будет назвать любимым. И соседний автомат был сломан. Рядом стояла девушка, и Киса у нее взяла две копейки (один рубль, сто рублей, деньги — это время, так быстро текущее в России).

И он ее услышал. Разбудила — не разбудила. Конечно, узнал. Но говорить не мог. Перезвонить. И она пошла по улице, наполненной разными штучками: фонарями, скамейками, киосками. И был холодно. И она зашла в магазин, поднялась по лестнице, и там был такой балкончик, и с балкончика она посмотрела вниз, и увидела, что она в раю штучек. Это был писчебумажный отдел, и взгляд падал и разбегался, как самый тишайший, сверкающий миллионами скрепок, склеенный километрами прозрачной ленты, стертый ластиком, вымазанный клеем, с росчерком паркера посередине, как самый бесшумнейший, состоящий из все этих штучек — Ниагарский водопад. Он совсем сюда не подходил как сравнение, этот водопад. Но именно он просился, как великая штучка — он состоял и падал, изрыгая из себя писчебумажные принадлежности. Киса даже не купила кнопки, чтобы выдавить капельку крови из своего возлюбленного: даже скотч, чтобы потом

заклеить ему ранку. Она страшно боялась, это был такой страх, что вдруг его телефон не ответит, что она еще долго наблюдала водопад.

Все-таки она встала.

Она съела будущего детеныша, вареного две минуты, плохо сваренного, слава богу, что человек размножается не посредством яиц. (Яйцо было невкусное. Желток какой-то нежелтый, а белок голубой, а желток тошнотворно-апельсинового цвета, а белок — желтый. Противное.) Она съела два яйца. То, что запрещено, то и жизнь. То, что нельзя, то и можно. То, что плохо, то и хорошо. То, что нет, то и да. А то, что быть, — то быть или не быть.

На кухонном столике стояла роза, имя существительное, стоял глагол, роза — цветок, роза — проза, рифма?

Это была подарочная роза. Это была подаренная роза. Наутро, на следующий день она завяла. Но чтобы было приятно, что она все-таки цела, оставалось только окунать ее головой в тазик. Расправить ей все волосики, растереть пальцами ее череп, погладить по затылку. Причесать. Это была безмозглая роза. Она не хотела вставать. Она хотела лежать в тазике. Плавать. Лежать и плавать, как лилия в пруду, или почти как лягушка. Вот удивительно, роман «Война и мир», такой большой. Почему его читают? кто его читает? его читают девочки и мальчики, девочки отдельно: про любовь, мальчики: отдельно про войну.

А все вместе читают учителя. Это эпопея. Великая. Хорошая. Каждый там может найти свое. Это и есть хорошее. Хорошее — это то, что хорошо и для мальчиков, и для девочек, и для юношей, и каждый там найдет свое, а тот, кто там ничего не найдет, в великом, тот даже и не девочка, и не мальчик, и не бабушка, и не ученик, тот просто никто, это не для него.

Зато тот, кто что-нибудь найдет, он причастится к великому, как частица, он и сам станет частичкой великого. Это он прочитал. Это он оценил. Это его способность оценить. Он — великий читатель. А писатель так, он просто для великого читателя. Он ему служит, великому. Он просто для него пишет, для великого. Он с ним говорит по ночам, когда не говорит по телефону с приятелями, с дамами, с любовниками, скажем, с предметом страсти, а то нас неправильно поймут. Писатель, он, собственно, что это такое? кому это надо? как говорит Витя, своего рода гений, кому это надо сидеть и писать? собственно, в чем заключен этот порыв что-то написать. Уж явно не для того, чтобы это прочитали. В этот момент это безразлично. Как времена года зимой,

когда думаешь об утре после четырех часов в понедельник.

А собственно, то произведение великое, которое можно пересказать, рассказать своими словами. Рассказать ученикам. А лучше вообще ничего не писать, а только рассказывать ученикам своими словами. Как ты родился, жил и умер, сколько у тебя было учеников, грехов, кто был твой учитель, чему он тебя научил, чему ты у него научился, чему вы научились друг у друга. Потому что все это есть таинство ученика и учителя:

учитель ученика учит,
а ученик учится и записывает,
а учитель говорит,
а ученик пишет,
и учитель говорит,
а ученик пишет,
и у ученика появляется стиль,
это не совсем то, что говорит учитель.

Учитель рюмку пропустил, вздохнул, откашлялся — это стиль.

А потом в туалет — это стиль.

Форточку закроет — это стиль.

К телефону подойдет — это стиль.

А в это время ученик думает.

Он думает о том, что скажет учителю,

пока тот —

в туалете

на кухне

у телефона —

вернулся — это стиль ученика.

И учитель опять заговорил.

Но в это время ученик ушел —

в туалет

к девушке

к маме

а потом они встречаются. Ученик с учителем. И то, что говорил учитель, ученик усваивает, а то, что говорил ученик — учитель к этому прислушивается. И таким образом они соответствуют друг другу. Но уже плохо разбираются, кто из них кто. Хотя учитель всегда больше, чем кто. А почему?

Вот вопрос, который не дает покоя. Почему этот уса́тый, борода́тый, некрасивый, в дурацких штанах, не на машине — учитель? а почему этот красивый с девушкой, почему ученик? ну почему он ученик?

или ему нечего спросить?

или ему нечего сказать?

или, может, его никто не спросил о том, что он хотел сказать?

Сам. Вот. Сам.

Сам — это и есть учитель.

Если не сам, то в очках, в усах, даже при девушке, но все же ученик.

Жил-был один друг. Учитель. И жил он далеко-недалеко за городом. Куда ходили электрички. А обратно почему-то на попутке. То есть все, кто к нему ехали, туда ехали хорошо, нормально, а обратно плохо. Туда — ходили электрички, а обратно — нет. А почему? А потому, что очень долго, подолгу его слушали, и опаздывали все на электричку, но готовы были ехать автостопом. Он жил в халупе. Он снимал нижний этаж с ванной, с телефоном, а верхнего этажа у него и не было, просто в природе не было, а если не было, то он жил в комфорте. С садом, бутербродом.

И вот этот ученик к нему приехал. И он постучал, а дверь, а она была не заперта. Он ее открыл, она и открылась. — кто там? — учитель вышел из своей халупы, из своего зоосада, с белкой подмышкой, он был добрым, — заходите, — сказал учитель,

ученик вошел «спасибо»

учитель спросонья потер глаза

учитель — спит

ученик — спимый

учитель — слушает

ученик — слышимый

учитель сам пойдет в магазин

а ученика — пошлют.

У ученика есть доска, мел, слова, язык.

Учитель может сказать «да», а потом помолчать и сказать «да нет».

У учителя в комнате обстановка — это беспорядок, трусы, папиросы, может быть, чай, может, водка, а может быть, роза. Ученик вошел. Он ведь очень долго шел. Он устал. Он долго ехал. Он сел. А учитель говорил о Толстом, что так сейчас никто не пишет. Что у Толстого тоже были ученики. И следовательно, Толстой тоже был учителем. Учитель был нехороший, без розы, ученик красивый с цветами, в окне, ему есть что сказать.

Но учитель говорит.

Бегаёт белка, как в уцененном магазине «Меха», в провинциальном. Встает солнце, как на картине художника не то что неплохого, но непокупаемого. В общем, оно не производит впечатление, это солнце. Как новое солнце, как солнце, которого еще не было никогда. У художника солнце было оформленным. И правильно, что его не покупали, не потому что это непокупаемый художник, а потому что у покупателя был вкус. А у художника не было вкуса. Не покупательная и продажная способность соответствовали. Покупатель его не покупает, потому что солнце было *невывозительным*. Скорее декоративным. Он такого

и писал — для того, чтобы его купили, а его не покупали, из-за того, что он его так писал, чтобы его купили.

Учитель говорил
Ученик слушал, —

что человек — это скорее растение, это точка отсчета — это человек и мир, и миф исходит от человека, но человек мало передвигался, то есть он даже не животное, а растение, потому что привязан корнями к одному месту. И все великие завоевания, и все великие полководцы — это скорее животные, потому что хотят порвать, сломать эти корни. И все представление о мире связано с человеком с корнями, потому что если бы он мгновенно передвигался, для него не было бы

не было утра, ночи,
не было бы зимы,
завтрака,
ритма дня,

для него есть день и ночь, потому что он сидя-
че-стояче-лежащее растение,

на нем есть бутоны, цветы, колючки, он пахнет,
человек,

он плохо ходит, он передвигается.

И вот что: если животное абсолютно, его наблюдает человек,

если растение, абсолютно, его наблюдает человек,

и неживые предметы: столы, стулья, скрепки, сумки, то сам он по себе человек, может сравниться только с самим собой.

Это он похож на них своим подобием,
это он напоминает их, а они его нет,
это он бедный, потому что их много, их царство,
а он один,
одинок в своем подобии себе, только самому,
это он может описать их,
а они его — нет.

День, некрасивый, непрекрасный, но хорошенький, с такой улыбочкой в небе с дождем в углу окна. Он занимал много места, этот дождь, он заставлял о себе думать. О нем уже было много стихов, о дожде, но сейчас он шел так, как стихотворение, еще не написанное. И лучше его пересказать, это ненаписанное стихотворение. Так будет короче. Чем его сначала написать, это стихотворение, а потом читать вслух... Стихотворение про дождь, если бы оно было, было бы на самом деле про Елисейский магазин: что вот если бы у маленького человечка, стоящего в Елисейском магазине под потолком метров в двадцать, было бы острое зрение, то он бы видел, как по этому роскошному потолку ползают тараканы,

и падают сверху вниз, как дождь, как крупные и мелкие капли дождя. Это изюм, господа.

Такое бывает только в России, когда дождь как капли тараканов, а тараканы как изюм, господа. Любимая, великая, неповторимая Россия, куда же несешься ты! И что демонстрируешь? Кто на твоих демонстрациях? даже не комсомолочки двадцатых годов, а полунищие тетки в спущенных чулках, с нарумяненным лицом, с выцветшими лозунгами «За Ленина, за Сталина». И дождь капает и обкапывает их. И они, эти демонстрантки, такие обкапанные; и в этих стихах об этом дожде почти отсутствует поэзия, поэтому их лучше пересказать прозой, господа.

Звонок в дверь. Тишина. Потом такой коротенький звоночек. И опять тишина. Если это свои, то можно и не откладывать. Это свои — поскребывание ключами в замочной скважине. Александр Сергеевич вошел в комнату к Кисе, он холодный после улицы, а она теплая в постели. Он даже в каплях дождя. Он очень приятный, если его потрогать. Приятный, как собачка с холодным носом, только умнее, даже когда не разговаривает, и глазки такие же грустные, как у собачки. Приятно, что человек иногда напоминает зверюшек. И тогда человек становится лучше человека. Он был милым — и время прошло. Ведь когда живешь один — время длиннее. Когда вдвоем — оно кончается в два раза быстрее, когда компания — оно улетучивается сквозь дым.

Чтобы жить вместе с человеком, он должен чем-то поразить, чем-то человеческим, он должен стать (какое неприличное слово придется сейчас употребить) — родным, что ли. Слово неприличное даже для признания. Уж лучше «дорогой», а еще лучше «моншер», вообще ничего не значит, а «родной» — это почти голый, а если в тряпках, то может даже и в грязных. И вот Александр Сергеевич бы чем-то таким, близким к этому слову. Может, это даже и плохо для жизни, когда тебя видят после туалета, сортира, бессонной ночи. Когда ты можешь быть даже стервой. Даже сухой. Все-таки он не понимал от всего сердца, души, он не понимал ни умом, ни зимой, он просто никак не мог понять, почему она ему изменяет, если говорит, что любит его? Изменяет, любя, что ли? но не от скуки же? неужели в нем мало места, чтобы ее вместить? В нем полно места. И так же как Августин все пытал бога, все добивался от него, чтобы хоть каким-то образом Бог дал ему понять, что вот если Бог придет к Августину, то найдет ли он в нем место для себя. Но ведь Августин зря так терзал Бога, потому что если Бог к нему придет, то на самом деле, он к нему не придет, а Августи-

на к себе подзовет, а уж у Бога хватит места и для Августина, и для мамы, и для Леры. И вот так же Александр Сергеевич мысленно терзал Кису, что если ей в нем мало места, то пусть она возьмет всего его в себя. Он хотел ей об этом сказать, но не мог найти слов. Слова все были какие-то стебанутые, и надо было выстебываться, чтобы об этом сказать, это была бы пустая стебля, это был бы пустой стеб. А птица в небе — это перевернутая рыба.

Александр Сергеевич принес два персика. Киса взяла один и потрогала. На нем действительно была персиковая кожа. Безо всяких метафор. Киса потрогала свою кожу. Персиковую. Потом у персика. Потом у себя. Все-таки у персика была персиковее. И вообще когда люди живут вдвоем, они все время учатся друг у друга, и почти становятся одним человеком. Они перенимают привычки. Начинают одинаково высовывать язык, они как-то одинаково вздыхают, но вот что поразительно, никогда они вдвоем не становятся одним поэтом. Например, они вдвоем видят один и тот же пейзаж, они об одном и том же говорят, моют руки одним и тем же мылом, слушают одних и тех же птичек, а получается, что один из них поэт, а другой просто слушает птичек.

А Осип Эмильевич — поэт, а Надя слушает птичек.

А Александр Александрович — поэт, а Люба слушает птичек.

И Марина Ивановна — поэт, а Сережа моет руки мылом.

А может, все не так, может, все проще — просто через одного человека идет слово, а через другого не идет. И никакой он не писатель, а просто пропускает через себя слово, и все, и в этом он и весь писатель.

А тот, кто звук пропускает, — он композитор. А так все остальное время и Надя, и Люба, и Сережа проводят в трудах.

Россини был хорошим поваром и гениальным композитором. Сансон был палачом и хорошим писателем. Пока Россини готовил обед, он сочинял. Пока Сансон исполнял приговоры, он сочинял. Не надо кощунствовать. Но неужели человек — это только аппарат, чтобы пропустить через себя слово?

— А помнишь? — сказал Александр Сергеевич.

Про это воспоминание у Кисы были стихи.

В этом воспоминании в стихах почти не было весны, погоды, тепла там почти не было, вот этого тонюсенького состояния, которое называется настроением. Как ваше настроение, мадам? Не плохое место... Вместо настроения были градусы

и температура, пробивающиеся сквозь листву и ползущие прямо к окну. И лучи были желтые, а цветы розовые, а дом, который стоял рядом, был зеленым. Откуда у людей взялась привычка красить вещи в изобретенные ими цвета. Нет такого зеленого цвета в природе.

Вот именно такого зеленого, в который был покрашен дом, нет. Есть зелень у травы, у покрова, у кошки, даже у белки, и вот в этом воспоминании, в абсолютно белой комнате, то есть в комнате, покрытой побелкой, там, где стены были побелены, там на стене висела плохая репродукция, и Киса спросила хозяйку, можно ли ее снять.

И в этой комнате было окно, выходящее в маленький дворик. Там был сарайчик, а перед ним натянутые на столбики веревки, и из дома вышел мужик с тазиком, а в тазике была рыбка.

И этот мужик стал аккуратно на эту веревку подвешивать рыбку. Между рыбками было одинаковое расстояние, он это делал очень аккуратно: сначала рыбка, потом такой просвет, потом опять рыбка, потом просвет, потом рыбка, потом просвет, потом просвет, потом просвет, и так: рыбка, просвет, рыбка, просвет, рыбка, просвет. И он даже полюбовался на свою работу, когда взвесил. Он так отошел в сторонку, он сделал несколько шагов назад и так посмотрел. Он пошел домой. Взял тазик и ушел.

И тут на эту рыбку пришла кошка. То есть нет, то есть не так, то есть пока мужик вешал, кошка уже сидела, она сидела на крыше сарая, она сидела над тазиком, она все время видела, что делает этот мужик, а Киса, когда наблюдала из окна, видела то, что делают и мужик, и кошка, она была единственным наблюдателем. И кошка, когда мужик ушел, то есть в этой комнате белой, побеленной, в этой побелке, почему-то Ксении понравилась эта комната, она думала почему? она звонила своему любимому, а телефон был все время занят, а они договорились увидеться. В этот день она так и не дозвонилась ему. А потом, через несколько дней, она спросила его, почему был занят телефон, и он сказал, хотя он мог бы это и не говорить, никто бы его за это не убил, не расчленил, не распял и даже не удавил бы, только потому что он это сказал: «одна редакторша, корректорша». Лучше бы он сказал уборщица, так сказать, одна уборщица. И как будто они сначала с этой корректоршей-редакторшей-уборщицей работали, а потом он сам не знаю почему ее вы...б, то есть он проснулся с ней, уже вы...банной им. То есть он тут был даже как бы и ни при чем. И Киса хотела рассказать о своем возлюбленном Александру Сергеевичу, но не могла решиться. И от этого ей

было плохо. А он смотрел и видел, что ей плохо, но не понимал почему.

И вот в этой комнатке, в этой побелке, в этих четырех стенах, она думала, сорвет ли кошка эту рыбку или не сорвет, получится или не получится. Получилось, рыбка была ее. Потом она пропустила промежуток между рыбками, пропустила еще одну рыбку, и опять сорвала. Кошка соблюдала свой некоторый период, она рвала, ела промежуток рыбок.

Это промежуток, просвет состоял из стены, такой специально возведенный, когда весной падают камни с вершины гор, а внизу едут автомобили, и ходят люди, так вот эти стены возводят, чтобы не придавить ни этих людишек и автомобильчиков, этот промежуток состоял из маленького кусочка этой стены, и она была внизу, как бы море, хотя до моря нужно было идти всего десять минут, потому что наверху было небо, и в небе был такой слабенький, такой почти прозрачный, такой дождливый дождик, это было в промежутке между рыбками. И эта кошка съела три свои рыбки.

Она мучительно, от всего сердца думала, ну почему она ему изменяет. Ведь она его любит. И вдруг она поняла, что она изменяет ему, потому что она живая, и он живой. Если бы он был каким-нибудь историческим персонажем, уже известным, с которым уже все ясно, она бы не изменяла, Наполеону, например. Нет, Наполеону бы не изменяла, ведь он все время был на войне. Или, например, если бы он был Лев Толстой... И Толстому бы изменяла, во-первых, потому, что у него самого была бурная молодость, а потом не настолько бы она его и любила, Толстого. И вдруг она подумала что-то совсем уже страшное, что может быть, она бы и Иисусу Христу не изменяла, а потом вдруг подумала, а вдруг и ему бы изменила. И уж совсем уж весело подумала, что точно бы изменила Адаму. Потому что до него она никому бы не изменяла, потому что до него никого не было, потому что она не знает, кто был до него. И вдруг она подумала, что, может, она и изменяет своему мужу, Александру Сергеевичу, только потому, что и Адаму бы изменила. В общем, объяснить, почему она изменяет Александру Сергеевичу, было трудно. Зато было легко объяснить каждую измену в отдельности. А их всего было девять. Всего девять раз, и у каждой была своя история.

Александр Сергеевич точно знал о первой измене и догадывался о второй. Но не счет его волновал, а сам факт. Но Киса была не виновата. Каждая измена была естественная для нее, то есть ее не могло не быть. Но если бы Александр

Сергеевич принял ее измену как норму, она бы его за это возненавидела. Он должен был ее ненавидеть за измену только тогда, когда она могла ему изменять. И некоторые ее измены были приключениями, а некоторые путешествиями. И она не могла понять, что такое измена, пока не изменила... А ведь пока Адам не скушал, он не стал человеком. К получается, что Бог создал Адама как зверюшку, а вот уж Адам сам создай себя как человека. И это не Бог создал человека, а человек сам сделался человеком, независимо от Бога. И Бог просто не бросил человека. И в этом ему помог его сын, а сыну в этом помогли его ученики,

У Александра Сергеевича тоже были ученики. И он учил их русскому языку. Безусловно, язык — это условность, просто договорились, что корова пишется через «о», ни в Новом, ни в Ветхом завете не сказано, что «корова» пишется через «о». Это придумали учителя, чтобы мучить учеников. Потому что учителя грамотные, а ученики — безграмотные.

А потом учителя умирают. И ученики становятся учителями,

и так до конца света, пока слово «корова» не отомрет вместе со своей буквой «о».

Киса с Александром Сергеевичем вышли прогуляться. Они шли под ручку. И ей было весело. И от радости, и от того, что он ведет ее под ручку. Она ему поставила подножку. Он не упал. Сохранил равновесие.

И только господин Ив, увидев издали парочку и узнав в женщине — Кису — чуть не потерял равновесие. Он не упал. А Киса, увидев его в этот миг, в первый раз поняла, что она преступница, потому что она ни под каким предлогом не может рассказать Александру Сергеевичу о господине Ив. Хотя больше всего ей хотелось именно сейчас рассказать своему мужу о птичке в клетке, о поездке за город и даже о том, что она ничего не понимала по-немецки, а если бы муж был с ней, он бы понимал по-немецки, но тогда бы господин Ив не говорил, наверное, это по-немецки.

Она была преступница, потому что это было ее собственное воспоминание, и больше ничье.

Это была как бы такая *недвижимость* воспоминания.

И в этом смысле это было ее богатство.

И в этот миг она поняла, что такого рода у нее воспоминаний у нее четыре, и еще одно, да еще, и еще это, и еще раз. А всего девять раз. Девять

историй — это много для замужней женщины. Девять преступлений.

— не упади, — сказал Александр Сергеевич.

Она перешагнула через камень. Камень был откуда-то взявшейся намокшей ватой. Это был обман зрения. Она не упала. Они пошли обратно.

А вечером Киса любила сидеть в ванной. А Александр Сергеевич любил сидеть рядом на стуле. И он смотрел, как она сидит в ванной, а она смотрела, как он на нее смотрит. И если бы это не было бы мучением для него, а было бы, скажем, развлечением, то она бы развлекала его тем, что рассказывала бы ему истории о своих приключениях. Словно она путешествовала, а он ждал ее дома, а потом она возвращалась в родной дом и рассказывала ему, как родному человеку, как она покорила новые сердца:

как она ранила чье-то сердце,
как убила чью-то любовь,
как разбила кому-то жизнь,
как сломила чью-то волю,
как искалечила чью-то душу,
как отравила кому-то жизнь,
как у нее украли сердце,
как плюнули ей в душу,
как отняли у нее покой,
как предали ее любовь,
как сломили ее волю,
как отравили ее жизнь,

Разве это не путешествие в страну сердец, где сердце завоевывает сердце, так мучительно долго, как на Пелопонесских войнах, так жестоко, как на войне 12-го года, и это не так красиво звучит, как война Алой и Белой Розы...

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ «ЛЮБИМЫЙ»

Это была любовь с первой е...ли, как с первого взгляда.

Она знала, куда шла — к поэту.

Он не знал, кто к нему придет.

Знал, что она пишет стихи, рисует, уже второй раз замужем — в двадцать лет, но как выглядит, абсолютно не представлял.

И когда он открыл: не бритый, не даже плейбой, совсем какой-то нормальный мужик стоял перед ней.

Слесарь, что ли?

Она даже осмотрелась, нет ли здесь поэта?

Но кроме этого, здесь не было никого.

Именно он, слесарь, мужик, если надо кран вправит, и на скаку остановит.

И он был один.

И почему-то, увидев ее, при своей небритой щетине, при своем некоем, в своих, так сказать засранных апартаментах, он решил ее поцеловать.

Он был еще раз не брит, и как ему казалась, не трезв.

И он упал.

В самом деле он упал на колени. И он поцеловал ее не в губы...

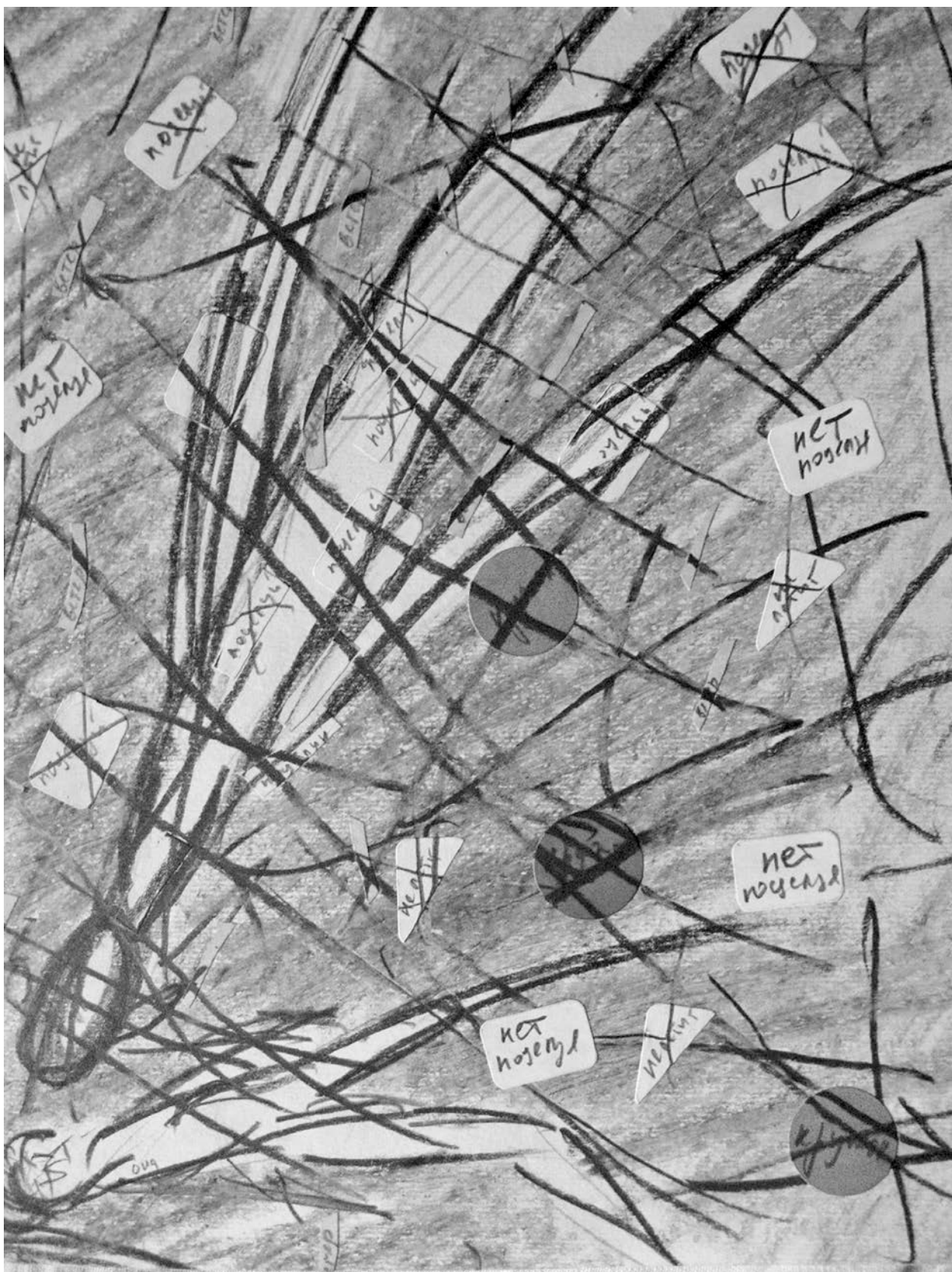
В общем, это она скорее даже поняла, что это он целует ее туда, а он это даже и не отметил, потому что это никакого значения для него не имело, целует ли он ее в губы или в засос.

Все эти любовники — объяснения до трех часов ночи ничего не стоят по сравнению с тишиной. Только тишина и линия поведения. То есть такая линия, которая проведена одной линией. В этом есть смысл. Определенный. И даже неопределенный тоже есть.

А после этого он читал стихи. А потом она — одно. Из этих трех оно было про туман, что вот как будто есть пейзаж, а потом наползает туман. И вполне реальными остаются только чьи-то богом забытые ботинки. Почему-то ей понравились эти ботинки, забытые богом. А у нее в стихах ему понравилась рифма: лысый — писал.

Но в стихах «писал» совсем не этот лысый, а другой герой. Зато рифма относилась к лысому. А герой оставался за пределами рифмы. Хотя этот лысый оставался за пределом стихотворения. Потому что стихотворение было про того, кто писал. Хотя скорее всего оно было про ватку, которая кружилась между рам от сквозняка. А потом он пошел ее провожать. И когда они шли по улице, до него дошло, что первый раз в жизни, видя женщину в первый раз, он сразу поцеловал ее в пи...ду. «В губы не мог, был нетрезв», — подумал он. Но именно в этот день он был и трезв, и в губы мог бы. «Опьянел», — подумал, когда ее увидел. А она подумала, что это был не разврат. Почему-то она подумала, что с кем-нибудь другим это был бы разврат. А с ним — нет. Потому что он это сделал так, как будто утопил жажду.

С тех пор, как Александр Сергеевич приехал, прошло уже дней десять. И почти все они состояли из: до и после обеда. То есть из этого состояли тишина и шум. До обеда Сережа работал. И Александр Сергеевич подрабатывал. Сережа нашел ему двух учеников, и он учил их русскому языку. Девочку и мальчика. А Киса, чтобы им не мешать работать, чтобы не нарушать тишину, уходила погулять.



Поцелуй — нет поцелуя, поцелуй — нет поцелуя

В этот день она видела сон: как будто она пекла пирог. На самом деле никогда в жизни она не умела и не пекла пироги. Но во сне у нее все ловко получалось: сметана сама смешивалась с молоком, мукой, яйцом. А из лука, риса и рыбы она делала начинку для пирога. И только она поставила пирог в духовку, как он уже и готов. И когда она его достала, немного остудила и разрешила, внутри пирога яйцо оказалось в скорлупе, а рыба с чешуей. Она в ужасе отбросила его от себя, этот пирог, а рыба оказалась к тому же еще живой, потому что когда она плюхнулась на пол, она забила хвостом и стала омерзительно подпрыгивать.

В этот день хозяйка квартиры наконец решила забрать свои летние вещи. Александр Сергеевич не спал в резиновой лодке, но и обходить ее тоже надоело. И хозяйка договорилась с Сережей, что все они вместе поедут к ней на дачу, оставят там летние вещи, пообедают, а к вечеру она их всех вместе привезет домой. Александр Сергеевич согласился помочь Сереже. Но когда Сережа сказал об этом Кисе, чтобы поехать всем вместе, она наотрез отказалась. Уговаривать ее было бессмысленно. Прошел еще час.

В этот день с самого утра было шумно. В этот день, который для Кисы начался еще с ночи, то есть она встретила этот день у окна на кухне. Как будто у нее именно с этим днем было свидание, и они друг друга поджидали у окна. И на кухне она думала: боже, о чем я думаю? ведь ничего этого, о чем я думаю, нет. Я думаю, как я буду жить на том свете, и думаю об этом с такой страстью, так жду этого, как можно ждать только возлюбленного на вокзале, когда поезд опаздывает. А ведь там ничего похожего на это не нет даже самих этих понятий: «возлюбленный», «вокзал», «опаздывать». Значит, об этом надо думать как-то по-другому, исходя из таких понятий, какие там есть. Но ведь об этом нив ни один человек не знает, то есть ни у кого из людей нет того опыта, а значит, и ни одному человеку нельзя доверяться.

Вот кошка стучится в окно. И про нее могут быть стихи. И про всех могут быть стихи на этом свете. А про тот свет, какие про него могут быть стихи, чтобы они хоть чуть-чуть были настоящие. Ведь настоящие стихи, они могут ранить сердце. А тот свет, он ведь только тем и может ранить сердце, что про него ничего не известно. В этом и есть рана. А все-таки она назойливая, эта бабочка. И полкрыла у нее нет, и каблуки стоптаны, и шляпа как-то криво сидит. А все-таки хороша. Чем? усиками. Ночная бабочка. Реагирует только ночью — на свет, когда вокруг темно. А на солнце, когда вокруг светло — не реагирует. Ей нужно,

чтобы свет был в ночи, а не свет на свету. Какая-то она поласканная после бессонной ночи, после ликера, которого нализалась и чуть не утонула в стакане. Любит сладкое. Она просто графика — эта бабочка. Светлая, на фоне темного окна. Она бьется с той стороны, с улицы, она не может разбить стекло. И вот она себя исчерпала. И она уже летит к другому окну, к другому поэту — ради стихов.

А может, вообще все — ради стихов? Даже война, чтобы истребить полчеловечества и прямо в сапогах, где по подошве еще чьи-то выбитые мозги размазаны, прямо с грязной шеей — сестра прямо за стихи. И любовь — ради стихов. Чтобы истребить ее, бедную, такую живую, такую хрупкую, ради этих сильных стихов с такими мужскими рифмами, ради них — ритмичных. А может, вообще весь этот мир — это чье-то стихотворение?

Зато в стихах почти не едят, если это не пир какой-нибудь в стихах. И в магазин в стихах почти не ходят.

Все-таки надо бы сходить в магазин, так сказать, купить. И Киса пошла. Все-таки жизнь поразительная вещь, она состоит из барахла расфасованного, мятого, печатного. Все эти автомобильчики, газетки, огурцы в банках, все такое вкусенькое, хорошенькое, чистенькое — пальчики оближешь. И здесь нет Москвы. Она здесь не поместится. Она большая. «Большое видится на расстоянии». А может, всем-всем, чтобы ее увидеть, какая она большая, с грязными ногами, полуголая, надо быть от нее на расстоянии? чтобы увидеть, какая она любимая, надо быть на этом расстоянии.

Киса кидала в тележку хлеб с семечками, без семечек и так далее, сыр, сырок и так далее, красное вино, белое и так далее, паучок, мужичок — с ноготок и так далее. Рыбный отдел. — Мимо. Она вспомнила, как однажды в Москве стояла в одной очереди с одним профессором университета. Воляно рыбой. И уставшая, полупьяная тетка кидала на весы живую форель. Это было зимой. Спрашивается, откуда при свежей форели зимой — эта вонь? И когда очередь дошла до профессора, он сказал: «вот эту рыбку», а потом сказал: «не эту, а рядом с ней». А потом: «не эту, а лучше ту, которая под ней». Потому что сначала ее не видел. Продащица разозлилась. Она швырнула рыбку, как половую тряпку, на весы. «Так мне же ее есть», — сказал профессор. Он был старик, этот профессор, вряд ли вегетарианец, не мог себе позволить, специалист по Толстому. Он любил Толстого, а Толстой был точно вегетарианец. Он мог себе позволить: окуны в сметане, смороди-

новый пудинг, клубника, семга, грибное суфле, хлеб. Кончилась пора вегетарианства. Консервы с хлебом, опилки с хлебом и хлебной колбасой, завтрак туриста. А ведь продукты для того, чтобы их есть. Но сначала их надо купить. Хотя сначала их надо продать. Или деньги есть, а купить нечего, или денег нет. А может, одновременно ничего этого нет, ни денег, ни продуктов, это только кажется, что когда есть деньги, то есть и продукты, ничего этого нет.

В магазине Киса столкнулась с господином Ив, можно сказать, тележка к тележке. «Это вещи на мой день, когда будет праздник». Рядом с господином Ив появились два человека и, как две скрипки, стали обхаживать его, как бы показывая, что тележка будет двигаться сама без него прямо к нему домой. И так все и случилось — Киса и господин Ив оставили свои тележки двум скрипкам и вышли из магазина. «Началось», — подумал она. В машине господина Ив ждал шофер.

А вот и дом господина Ив. А на лестнице он ее поцеловал. И ему этого хотелось, и ей. Как будет по-немецки «взасос». «Уйди ко мне навстречу от меня назад». Он ей так облизывал рот, что как будто кончил в него языком. Как будто у него в языке была такая дырочка, из которой писают. И он писал ей в рот слюной. Такого мокрого, сладкого поцелуя она еще не знала. И когда она рукой вытерла свой рот, он также мокро поцеловал ее руку, и ее же рукой опять облизывал ее рот. Чтобы он был бесконечно мокрым. Ему хотелось своим влажным, нет, текущим от желания взглядом видеть ее все время мокрый рот, который становился еще крупнее от поцелуя, как будто увеличивался под слюной. От слюны он становился клейким и сладким, рот, от него невозможно было оторваться, и господин Ив опять поцеловал, он просто приклеился к нему.

По лестнице двигались люди, похоже, что действительно готовились к какому-то празднику. Вот они направляются на поиски нового жилища, чтобы основать новое царство. Все общество группируется вокруг царицы. Осматривают ближайшие окрестности, знакомятся с местностью. Прежде всего они приступают к постройке.

Покидая свою метрополию, они уже знали, что первое время не придется есть досыта, и поэтому все наелись из имевшихся запасов. И теперь они занимаются строительством. Выделяют на своем теле такую жидкость, которая помогает в работе. При этом они удивительно дружно помогают друг другу в работе, придерживаются друг друга, даже влезают друг на друга. И каждый из них заключает в себе и поставщика материала, и

архитектора, и работника. Постройка начинается с возведения низкой зигзагообразной стенки, к которой прилаживается другая пластинка в горизонтальном направлении, образующая дно. Каждый старается точным образом запомнить место, поэтому каждый, причем всегда выйдя задом, прежде всего садится на дощечку и внимательно озирается по сторонам. Затем следует вторая и третья проба, и только когда каждый совершенно запомнит местность — то быстро скрывается вдали.

Отсутствие может продолжаться два часа.

И если поблизости сахарный завод, то часто он на погиль: насосавшись досыта, можно и вернуться; но выбившись из сил, они падают в конце концов мертвыми.

Вот появилась она, нагруженная добычей. Прежде всего она садится и отдыхает после трудного пути, затем осторожно лезет внутрь и начинает освобождаться от принесенной добычи. В этом ей помогают другие работники. Они облизывают ее своими язычками, выбирая чистые капли. А то, что осталось в виде пыли, они цементируют жировыми выделениями, что можно скатать в небольшие комки. Собрать и сложить в особые корзиночки. Это будет строительный материал, им можно замазать всякую щелочку. Или скрыть те предметы, которые они не могут удалить даже совместными усилиями, а между тем это необходимо. Эти предметы могут состоять из мяса, костей и гниения, и таким образом их нужно замуровать, чтобы они не отравили воздух.

Пока стоит лето, все работают. Царица выходит и оказывается оплодотворенной на уже на всю жизнь. Хотя партнеры вокруг нее могут виться. Они не нужны. Потом она в сопровождении нескольких приближенных работниц ходит и осматривает, точно желая удостовериться, что все в порядке.

Ее поддерживают ее спутницы, которые не перестают оказывать различные знаки внимания: нежно гладят ее или лижут. Она обходит все свои владения. А потом освободившуюся вычищают, приводят в порядок и готовят к новому принятию. А «молодая» при этом потягивается, встряхивается. Окружающие толпятся вокруг нее, радостно приветствуют новорожденную, облизывают ее, кормят. Однако недолго продолжают эти заботы, так как через несколько часов «молодая» уже окрепла. И по примеру других принимается за работу. Однако в большинстве случаев первые две недели «молодые» остаются исполнять домашние работы, так как они не настолько

еще опытно, чтобы разыскать дорогу и не сбиться на обратном пути.

Таким образом проходит день за днем. Количество населения быстро возрастает. Весьма замечательно происхождение рабочих и царицы. Все зависит от условий питания. Все остальные могут быть недоразвитыми. Тогда как царица всегда вполне развившаяся, нормально сформированная самка. После лета наступает осень.

Холодная погода заставляет всех сидеть и бездействовать.

Но беды особой не предвидится, так как есть много запасов, и в том числе ими пользуется человек, грабящий без церемоний.

Интересно, что существуют и преступники. У них значительно развито воровство. И если хоть кто-нибудь взявший из общих запасов что-нибудь сможет исчезнуть, то немедленно появляются и другие любители чужой собственности. Незаметным образом стараются они пробраться в толпе других и расхищают чужое добро. Для противодействия этому злу выработалась собственная система: ставят сторожей, которые внимательно приглядываются и принохиваются к каждому, для того чтобы убедиться, что это свой, а в случае, если откроется обман, то все вместе целой толпой бросаются на пришельца, закусывают его или просто прогоняют. Однако иногда и хищения доходят до грандиозных размеров. Особенно часто случается это, когда происходят какие-то беспорядки: например, поселяются две царицы, враждующие между собой, и тогда разделяются на партии. И тогда целыми массами беззастенчивые грабители врываются, похищают все запасы и безнаказанно исчезают.

Проснувшись среди ночи, Киса вдруг поняла, что она осталась ночевать у господина Ив. Что сейчас она лежит в отдельной комнате, и рядом господина Ив нет. Для гроба она была большой, эта комнатка, но для комнатки она была маленькая, как гроб. Гробик. Нет, для гробика она была велика. Гробница, усыпальница. Да, она здесь спала, Киса, в этой комнате-усыпальнице. Там был потолок, крышка, заклеенная пластырем, почему-то составляющим крест, под пластырем проглядывали подтеки. И тут она вспомнила свой сон. Сон был вот про что. Сначала она стояла на асфальте, а потом приподнялась на такой бетонный бордюрчик. И перед ней стоял человек, с которым она беседовала о литературе. И потом оказалось, что бордюрчик каким-то образом приподнимается, а она продолжала беседовать, и сначала она подумала: «низко, успею прыгнуть», — и опять продолжала беседовать, и она поднималась все выше

и выше, и в какой-то миг ей показалось, что внизу вода, серая, как асфальт, и она подумала: «успею нырнуть», и она продолжала беседовать, а потом она уже поняла, что стоит на огромной высоте, и внизу метров сто, и там ходят автомобили, там таковой автобан, и она не может спуститься вниз, и эта точка — это и есть смерть, а человек, который все беседует с ней, он говорит очень громко, но из-за шума автомобилей голос его еле слышен, и у нее уже болит спина от напряжения. И она прижимается к столбу, чтобы не упасть и не разбиться. Это трудно. И тут заболели еще и ноги. И лететь вниз головой тоже не хотелось прямо под автомобилем. И смерть заключалась собственно в прыжке. Сон был — про смерть. А сон про смерть — был про прыжок. А прыжок — про жизнь, про желание проснуться. И она проснулась. И она проснулась от сна, от смерти, от прыжка. И она подумала: интересно, как это я заснула? с чего бы это? Она помнила, как на лестнице господин Ив ее поцеловал. А потом она уже ничего не помнила. «Напилась я, что ли?» Но она не помнила, чтобы она что-нибудь пила. Еще она хотела знать, было ли у нее с господином Ив или нет. Это был ряд интересных вопросов, на которые у нее не было ответа. И в конце концов, где он сам, этот господин?

Киса вышла из комнатки-усыпальницы. Полный мрак. Она обо что-то больно ударилась. И тут все озарилось светом. И господин Ив увидел, как она, поскуливая, подпрыгивает на одной ноге. Это был мерзкий чемодан, на который она наткнулась в темноте. Хорошо, что он был без гвоздей, без колючек, хорошо, что его углы были не из острого стекла. Все хорошо, только очень больно. Он так легко взял ее на руки, как будто она была легче его раз в сто. Он просто раз — и перенес ее на какую-то гигантскую кровать, заваленную барахлом. Плащи, свитера, брюки, пиджак в шляпе, галстук в носке. Он кинул ее, и она провалилась в эту бездну брюк и рубашек. Она все еще была в своих собственных брюках, а господин Ив в своих собственных. Значит, и спала она в брюках, значит, ничего еще не было. И то, что ничего еще не было, — было восторгом. Теперь ко всей этой куче барахла добавились еще и ее тряпочки. Раздеваясь одновременно, они оба оказались голыми одновременно. И когда она увидела его голым, хотя и сама она была голой, он ей показался более голым. Как будто все это валявшееся на кровати барахло он снял с себя сейчас. Как будто на нем одновременно были надеты все эти брюки, все пиджаки, все галстуки, все шляпы, все до одной. И он сейчас был голым, как десять голых.

Не надо во время е...ли смотреть в глаза. И когда она не смотрела ему в глаза, это было мучительно сладкое наслаждение на вершине одежды, в объятиях всех в мире пиджаков, одновременно со всеми штанами, она окуналась лицом во все рубашки, во все сразу, в чьих рукавах только текла сперма, из всех трусов торчали галстуки, которые она обсасывала все сразу. Но когда он свое лицо так близко склонял к ее лицу и замирал в ней, и она смотрела ему в глаза, она видела, что это он один, собственно, е...т ее за всех сразу.

Но он не первый, не последний, и не единственный, он один из этого легиона, и от этого было грустно, и это портило е...лю. Но он нарочно не отводил своих глаз от ее глаз, потому что когда она отворачивала свое лицо, он насильно поворачивал его к себе. И вдруг он напрягся так, что стал почти из одних мускул, и он глухо вскрикнул и выдернул. Она так и думала, что спермы будет по горло. Но оказалось, что ее было с головой, даже на лице, даже почему-то в ушах. Ее можно было размазать по всем этим плащам и штанам, хватило бы всем галстукам и шляпам, всем бы хватило. Но ему самому было мало.

В такое раннее утро можно только проститься, что еще можно делать в четыре часа утра. И, спускаясь по лестнице вместе с господином Ив, Киса поняла, оглянувшись на господина Ив, что она не очень-то понимает, кто она и кто он. То есть кто такой вообще человек, определить просто невозможно. Не поддается определению. Зато почти без труда можно поговорить на тему, кто он по отношению к ней, кто она по отношению к нему. Например, Киса по отношению к Сереже или Киса по отношению к Александру Сергеевичу — это поддается определению. Но когда она находилась вместе с господином Ив, она не могла понять, кто он такой, но также теряясь в догадках, она даже не могла понять, кто же такая она сама.

Господин Ив подвез Кису к ее дому, и, выходя из машины, она машинально сказала ему по-русски «до свидания». И он почему-то безо всякого акцента ответил ей «до свидания».

Она поднялась на свой четвертый этаж и нажала на кнопку звонка. Она даже не представляла, что скажет Александру Сергеевичу. Она просто давила на эту кнопку. Никто не открывал, даже никто не шевелился за дверью. Она открыла дверь ключом и вошла. Никого не было. Они оба отправились на ее поиски и сейчас вернуться. Нет, Александр Сергеевич не простил ей, выпрыгнул из окна, разбился, его увезли в больницу, а Сережа его сопровождает. Нет, он наконец решил ей изменить и сам пошел по бабам, а Сережа его со-

провождает. Нет, Киса разделась, легла в постель и заснула.

И проснулась она от замечательного запаха, кофе. Вкусного, как новая жизнь. Как будто, сварив кофе утром, можно начать новую жизнь. Дверь слегка приоткрылась, и она увидела Александра Сергеевича. «Проснулась?» — сказал он. Если бы только случилось какое-нибудь чудо, чтобы он ничего не узнал, подумала Киса. Он сел на постель и стал рассказывать какую-то удивительную историю о том, как они вместе с Сережей и хозяйкой квартиры привезли эти вещи к ней на дачу, и в десять вечера они бы уже были дома, но что-то случилось с машиной, и они не могли выехать и пришлось на этой даче заночевать. «Но ты мог позвонить», — так естественно сказала Киса. «Я звонил, но никто не подошел. Ты — спала». «Я спала», — сказала Киса. «Да, — сказал Александр Сергеевич, — я только один раз позвонил, чтобы тебя не будить, я знал, что ты спишь». «Ты знал?» — сказала Киса.

И тут он во всем признался. Что перед отъездом он ей подсыпал снотворное, как полный негодяй, как сволочь, чтобы она заснула и никуда не ушла из дома, чтобы ему было спокойно. И так бы все и случилось, если бы она не пошла в магазинчик.

— Ты спала, — еще раз сказал он.

То есть перед ней сидел идиот, который даже ни о чем не догадывался. Который даже не мог предположить, что его жена с кем-то провела ночь. Она посмотрела на него и увидела, как он красив. Ему даже не нужен был шрам на лице для мужественности. Оно и так было мужественным, это лицо. И спокойным.

— Ты спала, — сказал он.

«Идиотка», — подумала она про себя. «А может, я действительно спала? — подумала она. — А Сережа с Александром Сергеевичем были в гостях у каких-нибудь девушек». И она рассердилась.

Иногда она удивлялась, что когда у нее не получаются стихи, она из-за этого больше страдает, даже больше, чем от жизни, когда у нее не получается что-то в жизни, потому что жизнь состоит не из слов, а из каких-то действий, так сказе из поступков, она даже, может быть, более плотная, плотская, что ли, но она поправима, а стихи окончательны. И если в них можно что-то поправить, то это уже не совершенные стихи. А жизнь, чем в ней можно больше поправить, тем более она совершенна.

И один писатель, которому можно доверять, сказал, что он прочитал у Ключевского, которо-

му можно доверять, что Екатерина приехала в Россию с двумя узлами старых платьев, она была бедная девочка из немецкой бедненькой провинции, а стала великой русской царицей. Потому что до того, как она растолстела, обабилась, перее... лась, она вставала в шесть часов утра, умывалась льдом, писала стихи, удавила мужа и покровительствовала искусству.

Киса тоже бы хотела вставать в шесть часов утра и умываться льдом. Но она не хотела удавить мужа, хотя она бы хотела покровительствовать искусству.

И еще она, Екатерина, ввозила в Россию евреев для торговли, то есть чтобы они занимались торговлей. И они занимались в России. А потом в Советском Союзе из них получились советские жида. Нет ничего хуже советских жидов, но нет ничего лучше русских евреев. Они даже иногда бывают лучше русских — русские евреи. Но их мало. Так мало их, в общем, Киса знала только двух, нет, двух с половиной. У них есть походка, взгляд, улыбка, но нет улыбочки, ни усиков, ни бороды, ничего этого нет. Нет плечи на голове, нет веснушек. И еще они умеют терпеть. Не как дети, которые терпеть не умеют, которым сию же минуту сразу все сегодня или никогда.

Странно, что есть нации, что нацией можно гордиться, а ведь если посмотреть с луны, то наций нет. Но если посмотреть с луны, то и людей нет. Но если посмотреть с луны, то земля есть. А кто там, на этой земле? Люди. И все эти люди разной национальности, кроме американцев, они просто все до одного американцы.

И этим русским евреям было даже труднее сохраниться, чем русским. Потому что ничего не стоило стать советским жидом. Для этого были все условия, как в теплице. И корм, и кормежка, и кормушка, и блюдечко — все, все было!

И как только так получилось, что эти русские евреи не растолстели, не обабились, не покрылись по всему туловищу плешью и не стали экономить на спичках. И эти русские евреи писали русские стихи. И стихи они любили больше русских, больше евреев, больше за ритм, чем за рифму, больше за интонацию, чем за смысл. Потому что какой в стихах может быть смысл, «и смысла нет в мольбе». Больше, чем своих детей, больше, чем родину, как будто стихи, сами по себе состоящие из слов, и были родиной, то есть в стихах и можно было жить.

И среди этих русских евреев есть и поэты, но мало мужчин, а среди русских мужиков почти вообще мужчин нет, а среди русских баб — нет дам. Хотя у русского еврея может быть дама

сердца. Но для этого она должна быть девочкой, зверюшкой, пастушкой и дамой одновременно, а он для этого должен быть русским евреем и мужчиной одновременно. Редкое сочетание. Почти не встречается. Может быть, только в романе.

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ — РОМАН

И Киса опаздывала на свидание к своему любимому уже на двадцать минут. И он мог ее не дожидаться и уйти. И она проклинала своего мужа, который так долго завтракал и не уходил по своим делам, что из-за него она теперь опаздывает к своему любимому. Хотя она иногда обожала своего мужа именно за то, что только он, а больше никто, даже не она сама, мог защитить ее от любимого. А сам любимый не мог защитить от себя, и она пряталась у своего мужа за пазухой, чтобы как можно чаще не встречаться с любимым. Но кто же когда захочет быть мужем? а кто захочет быть любимым? а никто никому не предлагает. Но сейчас, когда она опаздывала, она больше всего боялась, что он ее не дожидается, и она опоздала на полчаса. Что же она увидела! Он стоит не один, а с каким-то господином, и они беседуют. Оказалось, что это его друг. Очень близкий человек. Почти родной. Как брат. И ему было столько же лет, сколько и любимому, а выглядел он старше, но лучше, как-то злее, но умнее, и выше ростом, и вообще во всех отношениях брат, но не по крови, а такой у них был братский союз, что они могли вместе загулять, вместе набить морду одной сволочи. И они не виделись уже полгода и никак не могли наговориться про Таню, на которой этот друг полгода назад женился, из-за чего они не виделись, а ребенку уже три месяца. «Мне твоя бывшая недавно звонила, — сказал любимый, — сказала, что ты дикарь». И при слове «дикарь» они оба рассмеялись. И Киса засмеялась. И вдруг этот друг ее любимого перестал смеяться. Он смотрел в какую-то точку, где как будто никого не было. И потом они быстро простились. «Представляешь, — сказал Кисе ее любимый, — он ушел от своей жены, они вместе прожили лет десять, не помню, около десяти. Я в нее был когда-то влюблен, очень сильно, и она меня любила, но я ее уступил ему как брату. И теперь он с ней развелся, мне даже показалось, что это я с ней развелся и женился на какой-то Тане, ей, как и тебе, лет двадцать».

И после этой встречи прошел примерно год, и Киса никогда с ним не виделась, с этим другом, а с любимом, конечно, виделась.

И однажды она встретилась с этим другом на одной выставке. И он был один, и она была одна. И они почему-то ужасно друг другу обрадовались. И потом они сидели в кафе, потом вышли на улицу, и на улице почему-то поцеловались. И потом стали целоваться на улице все сильнее и сильнее, как будто целый год не целовались. А через неделю Киса оставила своего мужа и ушла к нему. Хоти у нее был любимый, и она его любила, и был муж Александр Сергеевич, и она его любила. Но она ушла к нему. Именно об этой истории Александр Сергеевич знал.

— Я из-за тебя становлюсь антисемитом, — сказал Александр Сергеевич Кисе, когда она призналась ему, что уходит от него к другу своего любимого, а про любимого она, конечно, ничего не сказала.

— Кто он? — спросил Александр Сергеевич.

— Поэт.

— Он старый жид.

— Он поэт, — сказала Киса, — и он не старый, он русский еврей, почти египтянин.

При этой ссоре слышались такие слова, как: предательница, стерва, идиот, русофил, русофоб, проститутка, ненавижу. В конце концов его все-таки увлекла мысль, что с поэтом, к тому же русским, к тому же евреем, она жить не сможет, как не сможет жить и с Модильяни, французским? итальянским? евреем, с Гейне — немецким евреем... он почти убедил ее, что она может жить только с ним, он даже сказал, что ради нее он истребит всю эту нацию. «Ну истреби», — сказала Киса. «Я тебе не дам развод, потому что тебя нет в природе, ты плод моего воображения, ты почти фантом, почти лунный свет, ты думаешь, что это ты пишешь стихи, на самом деле это я их пишу только через твою душу. Потому что эта твоя душа просто лучше фиксирует слово, и потом, ты сделана из моего ребра, и если у меня отнять ребро, то я умру».

— Никто еще не умирал без ребра, — сказала Киса.

— Я первый.

А потом он взял и исчез. Его не было в Москве, Александра Сергеевича. А потом Киса встретилась со своим любимым. И они любили друг друга. И любимый сказал: «Не надо, не спи с ним, ведь он мне друг, он мне как брат», и Киса пообещала: «Не буду». И после этого Киса рассталась с другом своего любимого.

Но на самом деле, это любимой Кисы думал, что она рассталась с его другом, потому что он был ему как брат. А ее муж думал, что она рассталась с ним, потому что она его ребро. Но на

самом деле они расстались из-за стихов. Он писал такие стихи, проще их будет назвать концептуальными, что ли, он очень здорово формулировал, и стихи были жесткими и четкими, они были не то что простыми и тупыми, не то чтобы примитивными, они были несомненно стихи, но как бы было понятно, как они сделаны. То есть они были сделаны из стихов. Но было понятно и то усилие, и работа, было понятно, как они написаны. И вдруг это стало скучно. И они из-за этого расстались. Потому что, когда он прочитал ей свои последние стихи, она сказала, что любит вино без косточек. Вино без косточек — это хорошо, но в его стихотворении, собственно, речь шла о свинье, которая стояла как копилка, и рядом с ней стоял мальчик, и у этой свиньи не было в спине дырки, и чтобы опустить в нее пяточок, ему оставалось только засунуть этот пяточок ей в жопу. Вот про это и были стихи.

И после этого романа Александр Сергеевич отказался спать с Кисой, он сказал, что ему это противно, он не может ее целовать после этого, что она должна очиститься, уехать в Египет, ей должно быть опять семнадцать лет, и она ему опять с самого начала должна не изменять. И впервые она увидела, как он заплакал. То есть у него в глазах были слезы.

А у этого друга, ее любимого, после того как он прочитал стихи про свинью-копилку, а она про вино без косточек, и после этого пошутила: «Знаешь, ничего у нас с тобой не получится», — и он отшутился: «Знаю». И это было ночью, перед этим они пили вино, целовались. И когда он отшутился: «Знаю», — он по-настоящему заплакал.

И целый год Киса любила только своего любимого, то есть только с ним занималась любовью, а больше ни с кем. То есть получалось, что в течение этого года она очистилась, то есть была в Египте, и ей опять стало семнадцать лет, пота что она ни с кем не изменяла своему мужу, только с любимым, а с любимым не считается.

— Ты будешь с молоком или без? — спросил Александр Сергеевич Кису, когда она мысленно убила себя за то, что мысленно изменила ему с господином Ив, а он об этом даже ничего не знает.

— С молоком, — и она воскресла.

— Что ты хочешь на обед? — спросила Киса Александра Сергеевича.

— Тебя с оркестром.

— Нет, правда?

— Ничего, — сказал Александр Сергеевич, — пойду спрошу у Сережи.

Сережа хотел то-то и то-то с грибным соусом, и еще завернутую дыньку по-итальянски. Интересно, живя здесь всего год, как уж он успел за-

хотеть на обед именно это. И успел, и захотел, и съест. А Александру Сергеевичу было все равно, но только с оркестром.

Бесконечно-пребесконечная жизнь. Одни строят, другие ломают. И те, кто ломают, — варвары. Они более дикие, сильные, животные. Из них только лет через триста получают люди, когда они начинают строить. И становятся оседлыми. Оседлают какую-нибудь одну жену, оседлают кровать, построят оседлый магазинчик. И живут. И жизнь эта не красива, но удобна.

Но кто был тот первый гений, кто увидел куб. Куба нет в природе. Есть линия — горизонт. Шар — солнце. Есть даже какая-то обгрызенная немножко пирамида — гора. Но куба — нет. Зато теперь, с детства жизнь состоит из кубиков, из которых можно построить домик и сломать, из кубов построить дома, начать войну и сломать, а потом опять построить. — Не ломай жизнь, — сказал любимый Кисе, когда у нее был роман и она ушла от мужа.

— Моя жизнь сломана, не ломай свою.

Или пусть жизнь начинается несколько раз в жизни. Но каждый раз именно тому, с кем ты живешь, в этот миг ты не должен изменять даже мысленно, даже на курорте, и не воровать, и в конце кондов не убить его за этот миг, а миг может длиться год, два или два дня. Или всю жизнь с одним человеком, и прелюбодействовать, и красть, и убивать друг друга, расчленивать и реанимировать. Кому как нравится. Или жить одному. А все остальные люди — это только фон. Контуры при свете. Свет погас, и их нет.

В магазин приходится ходить каждый день. И это приятно. Безразлично. Но не противно. Как в Москве. Только бы не идти в магазин.

Киса пошла в магазин, чтобы только никого не видеть. Там нет людей, там одни продукты, расфасованные и голые. «Может быть, ты картошечки хочешь?» — услышала Киса какую-то дикость. Она обернулась. Это произнес господин, которого она часто видела по телику в Москве. Она редко смотрела телевизор. Но как бы редко она ни смотрела, все равно в телике мелькал этот господин.

Он был с какой-то очень уж изношенной женой. Больше всего она испугалась слова «картошечка». Слово ей показалось омерзительным до отвращения, особенно с «селедочкой» и с «лучком». И Киса даже спряталась, чтобы они хоть как-нибудь не догадались, что она их понимает. Что же тут могло так напугать? И нос крючковатый, и губы пухловатые, и щеки одутловатые, все на месте. Но не это было страшно. А то, что говорили они на языке доморощенном, изби-

том, бедном, хотя, может быть, они были сами по себе очень милой парой. Собственно, испугал язык, а не они, она бы их и не заметила. И она представила, что в этом магазин появляются два русских мужика, которые давно стали советскими рабочими и колхозниками, и один из них советует купить водочки с рыбкой, а другой присматривает себе пиво. Грустная сцена, но не трагическая.

Евреи, конечно, всем осточертели. Больше всего русским осточертели русские. «А удивительно, — думала Киса, — вот господин Ив, кто он? Немец? Никакой он не немец, хотя говорит по-немецки, — хотя она не понимает, что он? немец? никакой он не немец, хотя говорит по-немецки. Я она с ним спала. То есть сначала она с ним просто заснула, а потом переспала с ним. И все это из-за этого дурацкого снотворного. А может быть, она действительно спала, и ничего не было, но болела нога, которой она ударилась о чемодан. Почему-то в этом мире есть всегда реальные детали, как бы взрослые, которым больше веришь, и настоящие детали, как бы детские, которым взрослые не придают значения. Потому что есть горе, например, и оно бывает взрослым и детским. И мать, например, плачет, когда у нее умер ребенок, и это реальное горе, а ребенок плачет оттого, что бабочка-шоколадница в банке умерла, а он ее кормил шоколадом, как капустницу — капустой, а она сдохла, а капустница улетела, как шоколадница, и это настоящее горе. Она не ест шоколад, она просто коричневая и поэтому она сдохла.

И вот с этим господином Ив Киса переспала по-настоящему, а нереально, и это горе было не взрослым, а детским. Он был как бы нарочно игрушечно придуман, чтобы Киса из-за него по-настоящему мучилась.

Собственно, человеку хочется есть, пить, еб...ся. Он на то и животное, которое не может не есть и не пить. И он совсем не та птица, которая может не еб...ся. Хотя у человека всего один ребенок, ну два, ну три, а еб...ся он каждый день, ну или раз в три дня, или раз в неделю.

И получается, что человек почему-то все время все делает зря. Зря еб...ся, смотрит, но почти ничего не видит, он какой-то венец, я человеческий венец, а не венец творения. Собственно, с тех пор, как он был создан одним зашел он, одним, что ли, духом, он был предоставлен сам себе. А вот уж сам себя он и не осилил. Он как бы сам себе стал не интересен. Кто человек человеку? Никто.

Окончание следует.



Евгения БАРАНОВА

Евгения Баранова — поэт, прозаик, журналист. Родилась в 1987 году. Родной город — Ялта. Финалист «Илья-премии'2006». Вторая премия на международном поэтическом конкурсе «Серебряный стрелец — 2008», третья премия международного литературного конкурса «Согласование времен — 2010» (поэзия), вторая премия международного конкурса короткой прозы «Стословие-2010». Дипломант международного поэтического конкурса «Лужарская полночь — 2013». Произведения публиковали «Контрабанда», «Ликбез», «Журнал поэтов», «Новая реальность», «Лампа и дымоход», «Литература», «Дети Ра», «Южное сияние», «45-я параллель», «Гостиная», «Пролог», Edita (Германия), «Окно» (Ирландия) и др. Участник «Киевских лавров» (2009, 2013 гг.). Участник 19-го Международного форума издателей во Львове. Судья международных поэтических конкурсов «45-й калибр», «Провинция у моря». Автор двух книг — «Зеленый отсчет» (2009) и «Том 2-й» (2012). Член Южнорусского союза писателей. Авторский сайт — <http://hoagoa.org.ua>.

А ЕЩЕ ПОЭЗИЯ — ЭТО КРЕСТ И ВЫБОР...

Поэзия невозможна и зависима. Зависима от личности, которую населяет, — и невозможно по сути волшебства, которое благодаря ей происходит. Живет себе на свете смуглый отрок по имени Саша, живет и горя не знает. Затем витающая в воздухе поэзия впивается в его маленькое тело и приводит уже озаренного Пушкина к невероятным стихам, широкой славе, к очаровательной жене и к самоубийственной дуэли.

Поэзия, между тем, не всегда прорастает: сколько возможностей в скрытых и неузнанных талантах! Сколько печали! Так что духовная почва должны быть взрыхленной...

А еще поэзия — это крест и выбор. Выбор между поэзией и бытом, поэзией и спокойствием, поэзией и непоэзией. К сожалению или к счастью, легкое дыхание поэту не по легким, его дело — вгрызаться в слова и смысл, создавать музыку из пустоты, истину — из печатных символов. Впрочем, все эти мелкие жертвы несравнимы с тем чувством наполненности, которое приносит внезапное озарение или только что полученная рифма.

Муза поэзии — ревнивая муза, но идти с ней за руку приятно.

Евгения Баранова

ПОСВЯЩЕНИЕ СЛОВУ

Чувствую, как из меня вырастает слово,
рвется на небо, боли моей испив.
Слово, пожалуйста, выжми себе другого,
как золотую мякоть из тела слив.

Слово — хорошее.
Словушко!
Слон-словечко!
Прочь из посудной лавки!
Запрячь ножи!
Мне бы хотя бы месяц, хотя бы вечер.
Мне бы хотя бы вечер, хотя бы жизнь.

Сон мой нескромен:
жатва,
жаровня,
жажда.
Губы мои стремительны, как война.
Не забывайся, не сомневайся даже —
не оставляй без вымысла свой сонар.

Не оставляй без Шиллера или грога,
не оставляй без шиллинга, без тревог.
Каждое слово — ласточка в доме бога.
Каждая рифма — право на эшафот.

* * *

Подержи меня за руку. — Пол трещит —
Поищи мне солдатиков или пчел.
В моем горле растет календарь-самшит
и рифмованно дышит в твое плечо.

Коктебельская морось, вино и плов,
пережитого лета слепой навар.
Подержи меня за руку.
Лишь любовь
сохраняет
авторские права.

Как наивно звучит!
Так лиане лжет
постаревший в радости кипарис.
Все проходит/в прошлом/прошло/пройдет —
для чего торопить тишину кулис?

Так готовь же алтарь, заноси кинжал,
доставай ягненка из рукава.
Ты держал меня за руку! так держал!
Показалось даже, что я жива.

* * *

Вот так и будет: лишь бы, лишь бы,
слегка, чуть-чуть — не подвести б!
Когда в душе клубятся мыши
и переходят через Тибр,

и строят замки, жгут предлоги,
и ждут истории впотьмах,
писатель выглядит убогим,
как обезумевший монах,

как недочерченная свая
на инженерном полотне.
Вот так и будет — я-то знаю —
одна лишь музыка во мне.

* * *

И говорили овцы: «Ба! ба! ва!»
И девочки заслуженно старели.
Росли на гидропонике слова.
Чапаеву мерещился Пелевин.

Мой старый мир, мой дивный старый мир
застрял в зубах — початком в молотилке.
Какое лето выдалось! Салгир
так обмелел, что влезет в Салгирку.

Какие вишни! — Вырубленный сад.
Мой Треплев переписывает «Чайку».
Все хорошо. Никто не виноват.
Обед в обед. Чистейшие лужайки.

Коньяк. Кальян. Коробка курабье.
Веселый старт для быстрого начала.
И говорили овцы: «Бе! бе! ве!»
А я молчала. Плакала. Молчала.

* * *

Регата. Парусник. Четыре корабля.
 Сей список — журавлиный, красноперый.
 Волна играет белыми. Маяк
 выдерживает взгляды репортеров.

На побережье — бой и бабл-гам.
 И жжет глагол у хлебного киоска.
 Регата. Парусник. К недалёким берегам
 уходят одинокие подростки.

Как хорошо быть штурманом! А дни!
 Какие дни стоят у Жюля Верна!
 И мальчики становятся — людьми.
 И блинная становится — таверной.

Посвящение поэзии

Не покидай меня! Не пробуй!
 Не пей, не ройся, не взыщи.
 Метафизический Чернобыль
 необитаемой души.

Моя поэзия!
 Хотя бы
 не проходи. Не привечай
 дороги-дроги, мысли-крабы
 и городов чужих печаль.

И лица лишние, и скатерть
 в слезах от кофе с эскимо.
 Любимец музыки, певчий катет!
 Смотреть и больно, и смешно.

Моя поэзия! Трамвай ли,
 от солнышка ли ржавый пес.
 Ты-дух ты-дым. И осень валит.
 И жизнь летит из-под колес.



Марианна ТАРАСЕНКО



Марианна Тарасенко родилась в Новосибирске. Окончила филологический факультет Тартуского университета (специальность «филолог-русист, преподаватель»). Работала учителем в школе, затем на кафедре русского языка Таллинского политехнического института. После ликвидации кафедры еще пять лет проработала в школе. В настоящее время работает редактором (в том числе и литературным) выходящего в Эстонии на русском языке еженедельника «День за днем».

ВОРОВАТЫ, НО НЕ ВИНОВАТЫ

В прошлом выпуске мы говорили о краже, совершенной у предложного падежа, который и сам не без греха, падежом дательным. Но в соответствии с принципом «у вора вор дубинку спер» зло не осталось безнаказанным: у дательного падежа давно уже подворовывает творительный, причем тащит, негодяй, буквально только что украденное. Напомню: еще сравнительно недавно считалось единственно правильным говорить (и, разумеется, писать) «скучаю (по ком?) по вас» (местоимение в форме предложного падежа), потом постепенно стало преобладать новообразование «скучаю (по кому?) по вам» (местоимение в форме дательного падежа). Но откуда-то выползла и еще одна диковатая и совсем неправильная форма — «скучаю (за кем?) за вами», а также «за тобой, за ним» и т. п., когда местоимение вдруг оказывается в форме творительного падежа. Остается лишь уповать на то, что официальной грамматикой это не будет признано никогда, иначе русские падежи настолько запутаются друг в друге, что надобность в грамматике просто отпадет. Впрочем, творительному падежу впору заняться собственными проблемами: пока он крадет у других, на его личную собственность покушается родительный. В результате вместо легитимной формы «смеяться над кем-то» мы пе-

риодически сталкиваемся с нелегитимной — «смеяться с кого-то». «Я с вас смеюсь» — не слышали такое? Еще услышите, не дай бог, конечно. Эта конструкция отличается от многих себе подобных тем, что ее существование пытаются обосновать: смеяться, допустим, над Петей — это в смысле насмеяться, а «смеяться с Пети» — это когда Петя такой смешной, что просто умора, но ничего обидного в виду не имеется. Улавливаете тонкую разницу? В принципе она, конечно, есть, но если родительный падеж все же предстанет перед судом, вряд ли его оправдания будут расценены как смягчающие вину обстоятельства. Казалось бы, из шести только два падежа ведут себя прилично — именительный и винительный. Но нет, и у них рыльца в пуху! Винительный вовсю, пусть и на законных основаниях, пользуется «чужими вопросами: «кого?» он позаимствовал у родительного, а «что?» — у именительного. В результате «что?» в качестве вопроса винительного падежа для неодушевленных существительных — а вернее, ответа на него — ведет себя странно. Вроде бы, нет ничего проще: «люблю (кого?) собаку (первое склонение), человека (второе склонение)» и «люблю (что?) суп (второе склонение)». Но как только неодушевленным оказывается существительное первого склонения, оно тут же начинает реаги-

ровать неадекватно — «люблю (что?) солянку». При этом в именительном падеже, естественно, сохраняет начальную форму: «Это (что?) солянка». А одушевленные существительные, относящиеся к третьему склонению, например «мать» или «мышь», не так отвечают на вопрос «кого?»: сравните, в родительном падеже — «нет (кого?) матери и мыши», а в винительном — «любить (кого?) мать и мышь». В результате мы имеем два варианта окончаний слов, отвечающих на один и тот же вопрос. Обидно, наверное, не иметь собственных вопросов, поэтому винительный падеж, преступные намерения которого выдает уже его название, отыгрывается где может. И это приводит к путанице и вечной редакторской мороке: например, правильнее будет сказать «он не принял (чего?) моих извинений», употребив местоимение и существительное в родительном падеже, но очень часто их употребляют в винительном — «он не принял (что?) мои извинения». Потому что здесь работает принцип инерции — без отрицания «не» нужен винительный падеж: «принял (что?) мои извинения».

Разумеется, в таких нечеловеческих условиях захватнический инстинкт проявляет и мирный именительный падеж. А что ему остается? И поскольку поле его деятельности в конструкциях невелико, он отыгрывается на иностранных словах, особенно на именах собственных. В соответствии с нормами русского языка, иностранные имена и топонимы, оканчивающиеся на «а» или «я» в безударной позиции, склоняются по нормам первого склонения. То есть французские фамилии Дюма и Золя мы по падежам не изменяем, а фамилии Данелия и Йоала (грузинскую и эстонскую соответственно) — изменяем. Но в последнее время

явно намечается тенденция к «неизменению» им подобных. Те фамилии, склонять которые мы уже привыкли, так и склоняем, но когда на слуху появляются новые — например, как Жвания несколько лет тому назад, — они остаются неизменными во всех падежах. Во всяком случае, так их нам преподносят СМИ. А вот, например, финский писатель Майю Лассила, его фамилию всегда склоняли — «у Лассилы, к Лассиле». Но Д. И. Розенталь уже довольно давно рекомендовал финские фамилии не трогать и оставлять неизменными. И если уж мы упомянули Эстонию, то рассмотрим три топонима — Нарва, Валга и Пирита. Два первых — названия городов, а третий — столичного района, с которым знаком каждый побывавший в Таллине летом: там находятся развалины монастыря Святой Биргитты, яхт-клуб и знаменитый пляж, который в советское время был единственным в городе. Во всех этих трех названиях ударение падает на первый слог, и, стало быть, в русской речи они должны изменяться по падежам. Так вот, имя собственное Нарва изменяется всегда — «поехать в Нарву, жить в Нарве, вернуться из Нарвы», имя собственное Валга то изменяется, то нет: русскоговорящие жители Эстонии с равным успехом могут сказать и «я был в Валге», и «я был в Валга». Но Пирита не изменяется (и не изменялось раньше!) ни при каких условиях. Местный русский, будь он сварщиком или русским филологом (доктором наук в придачу) никогда не скажет «прогуляемся до Пириты» или «хорошо сегодня было в Пирите» — по таким сентенциям сразу вычисляют приезжих. Почему так сложилось, объяснить можно, однако это уже будет отступлением от темы нечистых на руку падежей. Но, может быть, виноваты не они, а мы сами?





Хелью РЕБАНЕ

Продолжение. Начало в № 7, 8, 9, 10 за 2014 г.

ПУБЛИЧНОЕ СОКРОВИЩЕ

ПОВЕСТЬ¹

НИЦЦА

Светлое, маленькое, очень провинциальное здание вокзала.

Выйдя из него на дышащую теплым влажным воздухом улицу, я увидела на ее углу такой же, как в Париже, указатель: Hotel de Ville².

Пешком дошла до рю Поля Дерулады, указанной в ваучере. Гостиница Florance оказалась там, где и полагалось. На ресепшен я протянула ваучер долгопятому белозубому *афрофранцузу* и, когда он нашел меня в своем списке, вздохнула с облегчением: никто ничего не перепутал. Я в том числе.

Гостиница была правильная. Меня здесь ждали. Но мне сразу не понравилось все. Я не могла простить лифту то, что он тесный, а его стены покрыты дурацким рыжим пластиком с леопардовым рисунком. Простить комнате, что из окна виден только двор, заросший пожухлым кустарником. Сейфу у стойки администратора, что он находится при входе, на *авансцене*, а администратор где-то гуляет. Но главное, гостиница эта — *не любовь моя*, «Резиданс Клебер»...

В лифте я с удивлением заметила, что рядом с кнопками прикреплена табличка, на которой написано «aamifäinen 1³». Слово, несомненно, финское.

Уж финский от других языков я всегда отличу. Финский — почти эстонский. Сходство такое же, как у русского с украинским. Неудивительно — соседи.

Но финский во Франции... странно.

Из номера я первым делом позвонила маме.

— Мама! Я в Ницце!

— Вот и хорошо. Я свой сериал смотрю, сейчас очень интересное место.

— Тогда смотри.

Я повесила трубку. Нет сомнений, она меня выслушала бы, если бы я звонила, например, в связи с чьей-нибудь смертью. Ведь если смерть — надо организовывать похороны, решать массу вопросов. А радость... Держи ее при себе. Не мешай людям смотреть телевизор.

Впрочем, я знала, что тетя Шура так не поступит. Хотя эту серию «Санта-Барбары», если сейчас пропустит, она уже не увидит. А меня вполне

¹ Журнальный вариант. Полный текст повести будет издан отдельной книгой.

² Мэрия.

³ Этаж 1 (финск.).

еще может увидеть, если не упадет мой самолет Париж — Хельсинки и Хельсинки — Таллин. И я позвонила ей.

— Сильвичка, дорогая моя! Ты откуда?

И я принялась взахлеб расписывать ей мой Париж, TGV, дорогу в Ниццу, странные деревья, критиковать мою новую гостиницу... И она меня слушала.

Минут через десять после окончания разговора с тетей я поймала себя на мыслях о Фредерике. Я сожалела... Да, сожалела. Нет, не о том, что не пустила его в мой *бэдрум*¹. Это было правильно. А о том, что обманула. Он ждал меня сегодня, в два, в *Орега*. Наверняка пойдет после работы в гостиницу. Спросит меня. И блондин Людовик на ресепшен скажет, что *мадемуазель Сильвия* утром уехала... *Па бон*.

«Зачем ты вообще поехала в Ниццу? — спросила я себя. — Ведь могла погулять с Фредериком по Парижу. Сиди теперь тут одна и любуйся видом на кусты...» Меня охватила вдруг самая настоящая тоска по нему. «Ты что?! Влюбились? В то, как беззаботно он ждал тебя... В его мальчишеский разговор про *гранмер*² и *гранпер*³... В его накачанные бицепсы...»

Теперь, когда у меня появилась возможность просто *помечтать* о нем, его образ внезапно вырос в моих глазах. Непременно, непременно! Надо увидеть его снова, когда вернусь в Париж. Это будет один-единственный день перед вылетом в Таллин, надо договориться сейчас...

Я нашла в записной книжке его номер и позвонила. Голос Фредерика, поначалу радостный (нашлась!), изменился, когда он услышал, что я в Ницце. Я весело, *как ни в чем не бывало*, пообещала, что напишу ему письмо. Он получит его на ресепшен «Резиданс Клебер»! Он без восторга несколько раз повторил «ви». Повесив трубку, я задалась вопросом, чего же я все-таки хочу.

Вот чего: перевести наши, пусть и краткосрочные, отношения либо в дружбу, либо в романтику. Я, пусть и неумело, *вела* его по моему *сценарию*, если пользоваться лексиконом Стаса. Я не желала быть только *телом*, резиновой надувной куклой двадцать первого века, который для одних уже наступил, а для других еще только наступает⁴.

Вместо циничных (и, скорее всего, правильных) мыслей, что Фредерик метил в *альфонсы*

(неизвестно, с какой стороны успели показать себя в Париже *наши дамы*), я почти с нежностью вспоминала, как он при расставании трижды поцеловал меня в щеки. Как несколько удивленно спросил: «А ты не поцелуешь меня?» И как честно ответил на мой вопрос о курении...

Я плохо разбираюсь *who is who*⁵ среди мужчин. Мне не нужно съесть пуд соли, чтобы раскусить любую женщину, но чтобы понять мужчину, у меня уходит *уйма* времени. *Peut etre*⁶, потому, что у меня не было брата. *Пёт этр*, потому, что так подстроила *лучшая сценаристка* — природа. Мужчины не разбираются в женщинах, а женщины — в мужчинах. Так надо для того, чтобы жизнь продолжала свой круговорот. Пока раскусишь человека, у вас уже дети. И *никуда не денешься*...

Я пожалела, что со мной рядом не было сына. Уж он-то разобрал бы Фредерика по косточкам. Он бы его *продифференцировал* и *проинтегрировал*. Еще школьником он обратил мое внимание на то, что моя приятельница Лиза берет взятки (а мне и *не снилось*). А совсем недавно — на то, что на обочине по пути к аэропорту Шереметьево стоят проститутки. Так же, как сам Фредерик обратил мое внимание на *banditos*⁷ у подножия Эйфелевой башни...

Я приняла душ, сняла покрывало с широкой двуспальной кровати, легла на белоснежную простыню и провалилась в глубокий сон. Когда проснулась, за окном уже стемнело.

Выйдя на улицу, где воздух уже немного поостыл и был не такой банно-парной, как днем, я, уловив, где *вдали дышит* море, пошла в сторону набережной. Повсюду росли пальмы. И пальмочки... Здоровые, *упитанные*, они здесь были как боровики в лесу среди прочих грибов.

Пальмы *лоснились*, как холеная кошка моей соседки Вали, которую она, когда у той нет аппетита, кормит из рук... Вместо «*живет, как королевская кошка*» вполне можно сказать «*живет, как Валина кошка*». Чувствовалось, что пальмам в Ницце живет, как этой кошке.

Дойдя в темноте почти до набережной, где в поздний час не было ни души, я забрела в какой-то темный сквер и поняла, что меня занесло не совсем туда, куда надо. На скамейке, широко расставив ноги, сидел рослый негр, то есть *афрофранцуз*. У него на коленях, лицом к нему, тоже расставив белые ножки, *гарцевала* миниатюрная

¹ Спальня (англ.).

² Бабушка (фр.).

³ Дедушка (фр.).

⁴ Мнения разошлись: новое тысячелетие начинается с начала 2000 года или же с конца (только тогда пройдет ровно 2000 лет от начала летоисчисления).

⁵ Кто есть кто? (англ.).

⁶ Может быть (фр.). Произносится «пёт этр».

⁷ Бандит.

блондинка в мини-юбке. Местный климат способствовал любви во всех ее ипостасях.

Я быстро повернула (можно даже сказать — *шарахнулась*) обратно и поспешила туда, где виднелись яркие огни и откуда доносилась музыка. Через несколько минут оказалась на главной улице Ниццы. Пешеходная улица с гроздьями фонарей на кованых черных столбах и толпой гуляющих. Это же... ну просто... копия московского Арбата. Странное отвращение к жизни, охватившее меня в день приезда в Париж, внезапно повторилось и тут. Вот, приехала зачем-то сюда. А здесь все тот же Арбат...

На углу Арбата, который здесь назывался *рю Массена*, и какого-то темного переулочка стояла маска. Мужчина это или женщина, понять было невозможно. Из широкого рукава шелкового комбинезона торчали очень худые руки. Музыкант в маске тихо брэнчал на мандолине. Перед ним остановилась забавная итальянская девчушка лет пяти с кудрявой копной черных волос. Она держала в руке вафельный стаканчик с шариком мороженого и, разинув рот, восторженно смотрела на маску. Мороженое капало на ее загорелую ручонку.

Ярко освещенный магазинчик, торгующий на развес мороженым, находился здесь же. Вокруг прилавка толпились желающие *охладиться*. Получив от молоденькой кареглазой продавщицы, с которой мы обменялись улыбками и жестами, вафельный рожок с тремя разноцветными шариками мороженого, я вышла из магазина и остановилась было у витрины. По моим ногам ударила струя горячего воздуха. Пришлось быстро отойти в сторону. Наблюдая за подростком, который чуть поодаль продавал палочки для мыльных пузырей и показывал публике, как пускать пузыри, я с неизменным аппетитом (есть все-таки в мире вещи, которые *никогда не изменяют*), *вкушая* мороженое, пыталась отгадать, зачем в жарком климате нужна труба, *добавляющая* в атмосферу жаркий воздух. Мое мороженое почти кончилось, когда до меня наконец *дошло*. В магазине работал мощный кондиционер. Его выводная труба находилась там, под витриной. Законы Вселенной неумолимы. Если где-то создается холод, то где-то непременно должна образоваться жара...

На следующем углу звучала музыка из динамиков и стояли полукругом прохожие, наблюдающие за танцующим сухопарым стариком. Старик в белой майке, серых шортах и кроссовках, в полном восторге от себя, лихо отплясывал в полном одиночестве в центре круга. Тоже один из тех, для

кого жизнь *все начинается и начинается*, подумалось мне.

Я пошла дальше по Арбату. Горели арбатские фонари. В квадратных кадках росли пальмочки, чего на Арбате никак не могло быть. За виднеющимся впереди поворотом должен был быть театр Вахтангова. Не доходя до поворота, я свернула налево, в сторону Английской набережной, сохранив себе эту *иллюзию*. Когда у человека кончаются все иллюзии, возможно, кончается жизнь.

На Английской набережной, о которой я и читала, и мечтала, жизнь *била ключом*. Ярко горели огни у входа в знаменитый отель «Негреско», загадочно светился в темноте купол. Мне вспомнилась трагичная судьба его владельца, Анри Негреско. Читала о нем в каком-то глянцево-м журнале. Достроил шикарный отель, *ухлопал* на него все свои деньги, а тут грянула Первая мировая война... И что? Банкрот. Разорение, от которого он так и не оправился.

Пожить в «Негреско» я и не мечтала. Так же, как никогда не мечтала *умыкнуть* Стаса из семьи. От малых детишек. *На чужом несчастье...* знаете прекрасно, что... Но теперь у этих *детишек* тоже есть детишки... И лишь теперь я думаю, стоит ли брать пример с меня. Мечтайте смелее. Мечты *сбываются*.

Переждав мчавшиеся по асфальтированной дороге автомобили, ослепляющие включенными фарами, я спустилась вниз, на пустынный галечный пляж. Здесь царили мир и покой. Было так темно, что отсюда небо казалось черным, как уголь. На пляже стояли забытые кем-то два колченогих стула. Я села. Невысокие волны, набегая на гальку и снова отступая, тихо шелестели. Вдали, в темноте, желтели буйки, похожие на остроконечные половинки лимона. Сверху, с Английской набережной, доносилась музыка.

Потом я вернулась на освещенную улицу и направилась в ту сторону, где вдали пунктиром огней в море прочерчивался мыс — Антибы. У белоснежного, сияющего подсветкой отеля West-End заглянула в просвет подстриженной живой изгороди. Играл оркестр. Стройная женщина в серебряном брючном костюме, стоя на небольшом подиуме, пела в микрофон. Звучала полузабытая, *душераздирающая* песня из репертуара Сальваторе Адамо¹.

Tombe la neige, tu ne viendra pas c'èsoir...²

¹ Сальваторе Адамо (р. 1943), бельгийский шансонье, итальянец по происхождению.

² Падает снег, ты не придешь сегодня вечером (фр.).

Я села за круглый столик недалеко от подиума, заказала салат, бокал бордо, прослушала весь концерт и, конечно же, украдкой *прослезилась*.

В гостиницу возвращалась по неширокой, освещенной фонарями rue Longchamp (о, и здесь *Лоншоон*) — безлюдной, с блаженствующими пальмочками в кадках, опоясанными светящимися шнурами.

За высокой металлической оградой с красивыми коваными воротами виднелся пальмовый сад. Я остановилась, прильнула зачарованно к ограде. Вымощенный мозаичной плиткой дворик, в траве подсветка, создающая тут и там ярко-зеленые светящиеся пятна. *Вековые* пальмы. Хотя о пальмах «вековые» почему-то не говорят. Загадочные, манящие, выложенные плиткой дорожки. Тишина. Не шелохнется ни веточка, ни травинка... Ради этого все же стоило приехать в Ниццу.

Под впечатлением от увиденного, *восхищенная*, я продолжила путь. На мостовой по левой стороне улицы стояли *спящие* припаркованные машины. Все как одна черные. BMW, Range Rover, Chrysler... А вот — «Фольксваген-Гольф». Я снова почувствовала угрызения совести. Как будто сам Фредерик с укоризной смотрел на меня.

— Микеле! Микеле! — завопили вдруг сзади.

Я обернулась. В мою сторону мчался мальчонка лет трех-четырёх, за ним гнались кричащие что-то по-итальянски мужчина и женщина с двумя девочками постарше. Я расставила руки и преградила озорному малышу дорогу. Он в растерянности остановился. Подбежали родители. Папаша, громко отчитывая сорванца, не утруждая себя поисками пешеходного перехода, потащил *Микеле* за руку через дорогу. Мамаша с дочерьми нашли «зэбру» и перешли по ней.

Я продолжила свой путь, а за моей спиной на всю пустынную рю *Лоншоон* долго еще звучала итальянская семейная разборка. Ревел мальчонка, орал папаша, вопили женщина и старшие дети.

В гостинице я открыла купленную для мамы синюю сумку, в которую временно упаковала свои вещи, достала из нее ночную рубашку и наткнулась на три небольшие коробки, которые продолжали вместе со мной совершать турне по Франции. *Па бон*. Не пора ли попытаться от них избавиться? Иначе эти три яйца *лже-Фаберже* полетят вместе со мной обратно в Таллин. Решив завтра непременно найти *комиссионку* (может быть, их у меня купят, а потом продадут по бешеной цене, как в Париже), я вдруг, *ни с того ни с сего*, взяла трубку телефона и набрала номер Стаса. Наверное, сказало выпитое бордо. Разговор был краток — у него срочная работа, а мне он желает спокойной ночи.

16.

Утром я первым делом достала эстонско-французский разговорник и написала письмо Фредерику. Начала на английском: *Dear Fred...* а дальше просто-напросто *слямзила* целые фразы из разговорника. *Тысяча приветов из чудесного города Ниццы...* Ага. В разговорнике было и такое. А что я еще могла? В разговорнике были и некоторые пословицы, но все они были не к месту, и в итоге ничего *умного* я ему не написала. После завтрака зайду на почту и отправлю, решила я.

Как я убедилась за завтраком, табличка «aamitainen 1» в лифте была необходима. В гостинице было полно финнов. Кто знает, может, и они, как французы, тоже *из принципа* не учат английский. А может, не из принципа, а из лени.

— Äiti, äiti,¹ — повторяла маленькая девочка в столовой, теребя маму за подол платья.

Финский язык единственный из известных мне языков, где в слове «мама» нет буквы «м». В родственном ему эстонском «м» имеется: «ema». В столовой то и дело слышалось: «Joo! Joo!», что по-фински означает «да», а по-эстонски — совсем другое: «Пей». Но, тем не менее, я прекрасно поняла, что сказала подруге красивая статная финка за соседним столом. *Возьмем с собой круассанов*.

Позавтракав, я вернулась в номер за письмом. Секунду поколебавшись, как на это посмотрит администрация гостиницы, не выгонят ли меня с позором с пляжа, прихватила с собой белую гостиничную банную простыню.

По узкой, залитой солнцем улице я направилась на почту, которая, как объяснил мне афрофранцуз за стойкой, находилась поблизости. Гостиница моя располагалась на улице Поля Дерулады, и я вдальбивала это себе в голову, повторяя: «Дерулада». Язык можно сломать... У меня это никак не выговаривалось, получалось «Де-лу-рада».

Дошла до маленького провинциального почтамта (мое длинное шифоновое платье слегка развевалось в порывах теплого ветерка, шляпу я придерживала рукой). Там выяснилось, что марки продает автомат, на который я и усталилась, *как баран на новые ворота*. Да, на автомате была инструкция. Но только на французском. Французы упорно не хотели пользоваться международным языком общения, английским. Их можно, конечно, понять: нет более разных людей, чем французы и англичане. Кроме того, они когда-то воевали

¹ Мама, мама (финск.).

друг с другом... Но мне от этого не легче. Купить почтовую марку было невозможно.

По-видимому, уловив суть моей проблемы, из очереди ко мне подошел рослый француз в огромных очках в роговой оправе. Я доверчиво протянула ему франки. Он в два счета справился с покупкой марок и открыток для кузин и даже помог мне оформить и отправить мои послания. С благодарной улыбкой сказав ему «мерси», я покинула залитое солнцем помещение почтамта. Он хвостиком последовал за мной. На улице он представился: Жан-Клод.

— Ван Дамм?¹ — спросила я.

— Ква?² — спросил он. С проводами у него дела обстояли так же, как временами у меня самой. Или с чувством юмора.

Я украдкой оглядела его. Он производил благонадежное впечатление. Светлая рубашка с завернутыми до локтя рукавами, светло-бежевые летние брюки. Очки в старомодной, как у моего дяди Георга, оправе. А главное — *никаких сережек в ушах*.

— Сильви, — милостиво сообщила я, простив ему отсутствие сообразительности.

Он произнес что-то непонятное и махнул рукой в сторону набережной. Что ж, мне тоже туда. Мы пошли вдвоем в сторону моря. Проходя мимо большого здания с вывеской Hotel Le Méridien, я мысленно вздохнула. Надо же: в Москве, у метро «Калужская», есть клуб «Меридиан». Едешь куда-то, тратишь деньги, а тут опять Арбат, опять «Меридиан»...

На набережной, среди пальм, перед нами возник «Макдоналдс», точная копия всех «Макдоналдсов» — и московского, и рижского, и таллинского.

Жан-Клод тут же *любезно* пригласил меня туда, подписав себе этим как *поклоннику* смертный приговор. Хотя... Стас тоже этой международной забегаловкой закончил, а начинал с роскошного ресторана гостиницы «Россия». В *новое время* он предложил сходить в *бигмачную*. В *шутку*, но я возмутилась. *Забегаловки и романтика — вещи несовместные*.

В «Макдоналдсе» Жан-Клод предложил мне минеральной воды, что было правильно и разумно — жара стояла невыносимая, но тут же допустил *фо па*³ (подумать только, сколько французских слов переключалось в русский язык!). Он

спросил, маленькую мне бутылочку или побольше. Я *нагло* (?) попросила большую. Но он все равно купил маленькую. Я взяла это на заметку. *Дамы меня поймут*.

Жан-Клод объяснил, что спешит, но хотел бы меня снова увидеть. Ближайшие три дня он работает, затем свободен. Где я остановилась? Я честно сказала, что в гостинице «Флоранс» на рю Поля Де-лу... Де-ру-лады и даже дала ему номер комнаты, прекрасно помня, что через *три дня* я переселюсь в *вопиющую скромность*. В ту минуту я не осознавала, что повторяюсь. Опять гостиница, где меня *не будет*. Но — не таким мне виделся мой неведомый *любовник-француз*. Уж очень Жан-Клод смахивал на дядю Георга. Хотя дяде было уже под восемьдесят, а Жан-Клоду от силы сорок пять. И все ведь из-за старомодных очков, как я поняла позже. «А будь у него очки в современной оправе, ты бы заподозрила, что он альфонс, — размышляла я потом, лежа на пляже. — Тебе не угодишь, дорогая».

Прощавшись с Жан-Клодом, я пошла на пляж.

* * *

Набережная Ниццы разделена на небольшие отрезки. Некоторые пляжи публичные. То есть дикие. Другие принадлежат гостиницам. Территории огорожены. На гостиничных — ровные ряды лежаков и тенты. Вход платный. Платить тридцать франков за то, что можно получить бесплатно, я не стала. Остановилась перед большим белым металлическим щитом с надписью Plage du Public⁴. В синих кружочках, перечеркнутых красной чертой, было нарисовано, чего здесь делать нельзя. С собаками нельзя... За буйки нельзя... Стоя под палящим солнцем и придерживая шляпку от налетающих порывов горячего ветра, я насчитала ни много ни мало восемнадцать кружков. Разморенной от нестерпимой жары, мне было лень вникать, чего тут еще нельзя делать. Надеюсь, меня призовут к порядку, если я что-нибудь нарушу, рассудила я и спустилась вниз, на пляж. Народу здесь было столько же, сколько всего девять лет назад в Пярну и Юрмале, когда границы с Россией еще не было, купейный билет на поезд стоил пятнадцать рублей и *россияне* приезжали летом *толпами* отдыхать.

Чтобы расположиться поближе к освежающей воде, был нужен свободный участок гальки размером хотя бы с мое гостиничное полотенце.

¹ Жан-Клод Ван Дамм — известный американский актер.

² Qua (фр.) — что? Произносится «ква».

³ faux pas (фр.) — опрометчивый, ошибочный поступок; оплошность. Произносится «фо па».

⁴ Публичный пляж (фр.).

Клочок пляжа нашелся только метрах в четырех от кромки моря. Расстелила полотенце на серой, согретой солнцем гальке, я заметила, что две очаровательные молоденькие соседки справа от меня лежат на точно таких же тонких гостиничных банных простынях. Значит, это *не запрещено*.

Я бросила пляжную сумку на полотенце, сняла босоножки и села. У самой кромки непрерывно накатывающих на гальку высоких волн прозрачная вода пенилась бледно-бирюзовым. Дальше шла яркая лазурь. Этот берег не зря называли *лазурным*. Я думала, что импрессионисты на своих полотнах переборщили с ярко-синей краской. Я была уверена, что художники сгущают краски. Пытаются приукрасить действительность, как это делали придворные портретисты. Но нет, море здесь было даже красивее, чем на полотнах Моне. А краски точь-в-точь такие же.

Слева, со стороны Монако, паря низко над морем, приближался самолет. Он пролетел прямо над пляжем, сделав зачем-то ненужный полукруг, и пошел на посадку справа, далеко вдали, в стороне Антибов и Канн, где-то в самом конце пологого мыса.

Налетали порывы горячего ветра, раздавались возгласы проходящих мимо разносчиков пива. Bier-Bier-Bier! Birra-Birra-Birra!² Здесь можно стать полиглотом... Так, а где же переодеться?

Повернув голову в поисках кабинки, я увидела метрах в двух от себя загорелую молодую женщину, тоже сидевшую на гостиничном полотенце. Она загорала без лифчика, оголив упругую грудь. Точь-в-точь такую, как у туземки на картине Гогена «Ты ревнуешь?». Красивое зрелище. К тому же бесплатное. Какое везение для загорающих тут мужчин... Справа от нее сидела настоящая красавица. Загорелая блондинка, с рекламными пропорциями девяносто-шестьдесят-девяносто. Ее идеальное тело лишь слегка прикрывали две узенькие полоски белого купальника.

Мимо меня прошел загорелый юноша, который почему-то заунывно звал какую-то *мадам*: «Мадам! Мадам!» Монотонно, на одной ноте, как моя парижская горлица. Я оглянулась и увидела, он разносит газету Nice-matin³. Слово «нис» он, как свойственно французу, проглатывал. Осталось «матя-ян! матя-ян!». Жирный заголовок газеты был виден даже издали. Submarine Koursk⁴.

Рядом с красавицей в белом лежала ее подружка. Тех же рекламных пропорций. Но в ней все немножко не дотягивало до совершенства. А именно это «немножко», как правило, и решает все. И в жизни, и в искусстве. Молодая грудь была не такая округлая, как у подружки, зубы крупноваты (она улыбнулась, что-то рассказывая подружке) и не так белы, рыжие волосы, завязанные в хвост, не такие густые, а линия ляжек провисала у бедра.

Как любил повторять мой отец, на то, чтобы сделать какую-то работу, уходит десять процентов времени. Остальные девяносто уходят на то, чтобы довести ее до совершенства. Природа *поленилась* доработать ее внешность.

Неожиданно я поняла, чем хорош этот *дикий, полунудистский* пляж. Можно переодеться без изнурительного стояния в очереди в кабинку под палящим солнцем. Без бюстгальтера тут лежала даже совсем древняя старушка.

Я отвернулась от старушечки-пофигистки и снова обратила взор в сторону красавицы. Надо же. Этот *шедевр природы* отнюдь не был доволен собой. Девушка держала в руках пластмассовую коробку с отварным рисом и неохотно, чайной ложкой, ела его. Без какой-либо приправы и, держу пари, без соли. На красивом лице читалось отвращение. Не иначе как хочет сбросить последний оставшийся на теле, невидимый глазу килограмм жира, чтобы превратиться в ту, почти нереально тоненькую *Твигги*⁵, которую показывали голенькой в два часа ночи по телевидению в моей розовой комнате с видом на Tour de Montparnasse. В моей, теперь уже прошлой жизни...

«Зачем, дорогая? — мысленно вскричала я, адресуясь красавице. — Разве внешность что-либо решает? Один управляет государством, а другой, с виду почти его двойник, — всего лишь автобусом. Один снимается в кино, а его почти брат-близнец работает в НИИ... Внешность — ничто. Если ты, конечно, не совсем Квазимодо. Все решает нечто другое. Знать бы, что это...» Красавица не могла слышать мои мысли и продолжала меланхолично жевать рис.

Изгибаясь, как циркачка, я сидя стянула с себя трусики, таким же образом надела купальник, опустила на спину, прикрыла лицо согнутой в локте рукой, слегка расставила ноги и отдалась солнцу. Самому горячему, самому *всеобщему* любовнику.

Вдруг я обнаружила, что держу в руке теплый гладкий камешек. В последнее время вещи без малейшего участия моего сознания появлялись у

¹ Пиво-пиво-пиво! (нем.).

² Пиво-пиво-пиво! (ит.).

³ Вечерняя Ницца (фр.). Произносится «нис матян».

⁴ Субмарина «Курск».

⁵ Английская супермодель шестидесятых годов.

меня в руках или же исчезали из сумки. Так же неожиданно я поняла, что скучаю сейчас вовсе не по моему *возлюбленному*, который вчера вечером мне, одинокой и уставшей, не видящей почти ничего хорошего в Ницце, объяснил, что он ведь сказал мне теплые слова. А именно — «обнимаю».

Ну что ж, *дорогой*, сиди в своем офисе, роскошном особняке на Павелецкой, где, как и в моем трехзвездочном номере, шумит и действует на нервы кондиционер... Я возьму пример с Лены и тоже *не буду любить наглых*. И скучаю я сейчас не по тебе, а по Фредерику. Ведь он не успел сделать мне ничего плохого. Не причинил мне никакой боли. А я ему — да... Я поняла, что простила Фредерику серьгу в ухе, простила скромный шарик малинового мороженого, который он позволил себе за мой счет. Вернее, те три секунды *унижения* в кафе, когда осознала, что плачу за *мужчину*.

И, бросая вызов, нет, вовсе не присутствующим, которых моя распущенность вряд ли могла шокировать, а Стасу, который не мог этого видеть, я тоже расстегнула лифчик и выпустила груди из нейлонового заточения на свободу. Оказавшись на воле в условиях демократии, они тут же заняли диаметрально противоположные точки зрения. Левая смотрела в сторону Монако, правая — в сторону Антибов и Канн. Вместо того, чтобы упруго и дружно смотреть в небо... Мое тело раздваивалось, как и моя душа.

Солнце палило все сильнее. Я закрыла глаза. Мысли перескакивали с одного на другое. Вот, я в Ницце. Кто *тогда* мог подумать, что это возможно. Я не любила уроки географии, не хотела вникать, где на карте Рим, а где Париж. Было ясно, что чужие страны и города в принципе недоступны, мне посетить их так же нереально, как слетать на Марс. Папа казался мне каким-то *инопланетянином*, когда возвращался из зарубежных поездок... Там, где он побывал, было нечто неведомое... Мне вспомнилось, как он покупал нам с мамой подарки за рубежом, как трудно было нам угодить. Нам казалось, что *оттуда* можно привезти фантастические наряды, а он привозит только мелочи... Мне вдруг стало совестно, я представила себе, как мой отец, тогда тоже всего лишь (!) пятидесятилетний мужчина, рассказывал, как он и его коллеги не стали пользоваться трамваем, а ходили по Берлину пешком, чтобы сэкономить валюту и хоть что-то купить. В ту пору слово «валюта» звучало почти как приговор со сроком лет на пятнадцать. Высокый пел про Влади «Она была в Париже» как магическом свойстве личности.

Открыв глаза, я обнаружила, что почти вприщип к моему носу появилась волосатая мускулистая нога. *Итальянская*, определила я, бросив взгляд на хозяина. Пришлось подняться и оттащить мою белую подстилку пониже, на полметра поближе к воде.

Теперь рядом со мной оказалась пожилая пара. Он — седой, с лысиной, в шортах, она — худенькая, морщинистая, вся в веснушках, с совершенно неоправданной склонностью к эксгибиционизму. Ее маленькие беленькие сисечки (по-другому не скажешь) грустно свисали на складки кургузого животика.

Когда муж с женой поднялись и стали одеваться, я увидела, что у нее одна нога вся в синем варикозном расширении вен. Но в одежде эта женщина выглядела совсем неплохо.

Привычка так же слепа, как любовь, подумала я. Пары, долго живущие вместе... они слышат родной голос, и этого достаточно. Голос — единственное, что не меняется в течение жизни. Мне вспомнилось, как я *десять лет* временами звонила Стасу и с замиранием сердца слушала *родной* голос. А когда он сам звонил мне (было и такое), замирала от счастья.

Часа в четыре, когда я собралась наконец уходить с пляжа, обнаружила, что умудрилась катастрофически обгореть. Все тело пылало, особенно горели плечи и спина. Лицо просто пламенело. Я ужаснулась, посмотревшись в прихваченное с собой зеркальце. Пришлось срочно бежать с пляжа.

В антикварном магазине в старом городе, куда я пошла вечером с намерением пристроить *фаберже*, я получила отказ, но зато, видимо, именно за счет пламенеющей внешности получила комплимент. Пожилая итальянская пара, медленно гулявшая среди старинных канделябров и позолоченных каминных часов, завидев меня, приостановилась. Дама живо поинтересовалась, кто я.

*Estonienne*¹, как и следовало ожидать, ей ровным счетом ничего не сказала. *Tallin* — тоже. Услышав же *Moscou*, она воскликнула: «Ке белле руссе!»² И сказано это было, без сомнения, искренне. Я улыбочиво ретировалась, пока она не успела затеять разговор про «*Курск*».

Продолжение следует.

¹ Эстонка (фр.).

² Какая красивая русская! (ит.).



Сергей БЫЧКОВ

Продолжение. Начало в № 7, 8, 9, 10 за 2014 г.

ОТМЫВАНИЕ ЖЕМЧУЖИН

ОПЫТ ХУДОЖЕСТВЕННОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

ГЛАВА IV. КЕМ ОН БЫЛ?

Этот вопрос все чаще задавал себе следователь Иван Лещенков. Гораздо проще, после проведенных расследований и допросов, было ответить, кем не был священник Александр Мень. Ни католиком, ни антисоциалистом, ни стяжателем, ни масоном, ни тем более сионистом. Лещенков понимал, что время работает против него. Оно сокрушает не только то, что создают руки человека, но и горы и реки, изменяя лик планеты. Он знал, что если убийство не раскрыто по горячим следам, то шансов раскрыть его позже почти не остается. И все-таки, теряя одного за другим своих помощников, которые покидали прокуратуру и милицию, переходя в частные структуры, он продолжал расследование. Начало 90-х годов мало способствовало его работе. Уже не было президента Михаила Горбачева. В 1993 году президентом Ельциным был расстрелян первый российский парламент. Появилась новая Конституция. Но Лещенков продолжал свою кропотливую и уже не нужную никому из властных структур работу.

Погружаясь все глубже в расследование убийства православного священника, Лещенков начал понимать, какие подспудные процессы происходили в конце 50-х годов в советском обществе. Пришлось столкнуться с проблемой диссидент-

ства. Важно было понять, принадлежал ли отец Александр к этому движению. Многие диссиденты не только бывали у него, но и были его прихожанами. И это также привлекало к нему внимание со стороны КГБ. Что же представляло собой «Демократическое движение», формировавшееся в конце 50-х годов?

Бесповоротное освобождение советского общества от чар марксизма-ленинизма началось в середине 60-х годов. Этот процесс не был однородным и охватывал не только интеллигенцию. Он касался благополучных академиков и профессоров, среди которых были Сахаров, Шафаревич, Зиновьев, а порой и высокооплачиваемых писателей или художников. Но благодарной средой была молодежь, чаще всего студенческая или около-студенческая. Процесс над Андреем Синявским и Юлием Даниэлем в 1966 году, вторжение советских войск в Чехословакию в 1968 году, поэтическое движение СМОГ (Самое молодое общество гениев) и, наконец, возникновение движения, которое значительно позже получило название Демократического, с собственным печатным органом, пусть и выходящим тиражом в несколько десятков машинописных экземпляров, венчали тот бродильный процесс, который начался десять лет

назад — с XX съезда КПСС. «Демократическое движение» объединило вокруг себя лучшие силы российской интеллигенции в борьбе против советского тоталитаризма.

Признанными его лидерами стали Александр Солженицын и Андрей Сахаров, координаторами — Петр Якир и Виктор Красин. В заключении уже томилась первые герои движения — Владимир Буковский, Александр Гинзбург, Петр Григоренко, Павел Литвинов и многие другие. Тридцатого апреля 1968 года начала выходить «Хроника текущих событий». Первоначально она замышлялась как информационное издание, сухое и далекое от эмоций. Но заряд информации, который нес в себе каждый номер, был столь значим, что по силе воздействия значительно превосходил многие произведения о преступлениях коммунистов. «Хроника» сообщала о закрытых политических процессах, о заключенных спецпсихбольниц и лагерей, о наиболее «выдающихся» следователях КГБ, об обысках и арестах.

Когда говорят о том, что «Демократическое движение» объединило вокруг себя лучшие силы, не следует считать, что возникла некая организация, подобная КПСС. Формирование партии в условиях тоталитаризма было заранее обречено на неудачу — контроль КГБ над обществом был глобальным: прослушивались телефонные разговоры всех подозрительных с точки зрения органов лиц, перлюстрировалась их переписка. Даже на кухнях российские интеллигенты старались разговаривать шепотом, не без оснований предполагая, что в квартире могут быть установлены подслушивающие устройства. «Демократическое движение» не было неким партийным монолитом, спаянным единым уставом. Даже редакционная коллегия «Хроники» постоянно менялась, причем вновь пришедшие не ведали о своих предшественниках, а те не знали о своих преемниках. Единственное, что было унаследовано от партии большевиков, — это строжайшая конспирация. Впрочем, отец Александр унаследовал конспиративные способности с молоком матери.

Следователи искали литературу, которая бы помогла им в их расследовании. Исследователь правозащитного движения и активный его участник Людмила Алексеева писала: «Между правозащитниками нет формальных связей — ни внутри ядра движения, ни между ядром и периферией. У них нет ни лидеров, ни подчиненных, никто никому не поручает никаких дел, а может лишь сам делать задуманное, если не будет добровольных помощников. Никто не имеет каких-либо обязанностей, кроме налагаемых собственной совестью. Но

именно из-за добровольности присоединения к этому братскому ордену люди действуют с самозабвенной активностью, какую не вызвать приказами и понуканием. Эта неформальная структура оказалась наиболее пригодной для советских условий (во всяком случае, на первых порах), показала свою эффективность. Для всякого дела находятся исполнители, вернее, они сами находят себе дело».

Из уст в уста передавались правила, как следует вести себя во время допросов, какие новшества применяют следователи КГБ. Пристально изучались Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Информаторы и распространители «Хроники» разбивались на пятерки или тройки. Их вдохновлял старший, который знал кого-то одного из редколлегии «Хроники». Редко знали друг друга и члены пятерки. Те, кто прошел школу «Демократического движения», с благодарностью вспоминают своих учителей, в том числе из КГБ. Немногословие почиталось добродетелью. Умение держать себя на допросе — неоспоримым достоинством. Если встречался с друзьями после допроса, то первый вопрос звучал трафаретно: «Сколько времени длился допрос?» Если больше часа — плохо. Это означало, что наверняка наговорил лишнего, и, быть может, следователь сумел тебя раскрутить. К концу 60-х годов завершилось формирование структуры «Демократического движения»: «Отсутствие формальных связей между участниками движения не означает отсутствия у него структуры. Каркасом правозащитного движения стала сеть распространения самиздата. Самиздатские каналы послужили связующими звеньями для организационной работы. Они ветвятся невидимо и неслышно, как грибница, и так же, как грибница, прорываются то тут, то там на поверхность открытыми выступлениями. Существует искаженное представление сторонних людей, что этими открытыми выступлениями исчерпывается все движение. Однако не выступления, а самиздатская и организационная поденщина поглощают основную массу энергии участников правозащитного движения». «Демократическое движение» не было однородным и сплошь благородным. В среде диссидентов было немало честолобцев и даже проходимцев. Но не они определяли лицо движения.

Расследуя неожиданно возникающие проблемы, следователи вынуждены были изучать жизнь Русской церкви этого периода. Поначалу они просто душно считали, что вполне достаточно небольшого набора канонических требований для того, чтобы стать священником. В советские времена эти требования диктовались не только и не столько цер-

ковными канонами, сколько чиновниками Совета по делам религий, которые стремились контролировать все стороны церковной жизни. В семинарию не принимали молодых людей с высшим образованием. Весьма охотно допускали к священническому служению людей порочных. По мнению богосборцев, такие люди должны были подрывать веру. Следствие пришло к выводу, что священническое служение требует особого призвания. А призвание происходит в том случае, если человек на самом деле наделен даром служения людям и Богу. Пастырь — это человек, занятый своей паствой, внимательно следящий и ухаживающий за нею. Он и управляет паствой, но так, что постоянно ощущается его преданность и расположение к ней.

Наши современники, живущие, как правило, в условиях городской цивилизации, с трудом представляют себе то отношение, которое веками вырабатывалось у земледельцев и скотоводов к стаду. Когда сегодня мы произносим слово «стадо», в нем сквозит оттенок презрения. Оно стало почти бранным словом. Совсем по-другому произносили это слово скотоводы древней Палестины. Подобное отношение к своему стаду можно встретить и в русских деревнях. Новорожденного теленка помещают в избу, и хозяйка выпаживает его молоком. Слабых ягнят также берут в избу, особенно если они родились зимой, и ухаживают за ними, как за малыми детьми. Недаром в деревне до сих пор называют корову кормилицей. Пророк Иезикииль свидетельствовал: «Я буду пасти овец Моих, и Я буду покоить их, говорит Господь Бог. Потерявшуюся отыщу, и угнанную возвращу, и пораненную перевяжу, и большую укреплю, а разжиревшую и буйную истреблю; буду пасти их по правде». Примечательно, что греческое слово означает стадо мелкого скота, то есть стадо овец, коз, которое особенно нуждается в защите и уходе. Наиболее развернутое учение о пастырстве раскрыто в Евангелии от Иоанна. Добрый пастырь называет овец своих по имени, овцы за ним идут, поскольку они знают его, пастырь добрый настолько любит своих овец, что готов свою душу положить за них. Причем в Новом Завете Христос подчеркивает свою любовь не только ко всему стаду в целом, но и к каждому в отдельности и особенно к тем овцам, которые заблудились или нуждаются в его уходе.

В своих поисках следствие более всего доверяло собственным свидетельствам отца Александра. Поскольку начали появляться публикации его воспоминаний, они внимательно отслеживали все, что появлялось в печати, понимая, что изучение совершенно неизвестной для них жизни приближает к разрешению загадки гибели священника.

Особенно важным было признание самого священника: «Тогда же (это было больше тридцати лет назад) я услышал зов, призывающий на служение, и дал обет верности этому призванию. С тех пор оно определяло все мои интересы, контакты и занятия. Вместе с этим пришло решение стать священником. Это самое большее, что я могу рассказать. Неисчислимо количество раз я узнавал Руку, ведущую меня. Ее действие проявлялось даже в мелочах. Это напоминало камни мозаики, лежащие на заранее приготовленном рисунке. А над всем — если выразиться выпреним языком — светила звезда призвания».

Следователи поняли, что его первые шаги в области веры были сделаны в «катакомбной» Церкви, и это наложило и на него, и на его служение неизгладимый отпечаток. Позже он признавался, что прошел обычный для верующего юноши путь: «Храмовое благочестие вошло в меня органически, лет с двенадцати, но оно никогда не казалось мне всеобъемлющей формой христианства (хотя одно время я бывал в церкви ежедневно, а с пятнадцати лет стал прислуживать в алтаре). Я воспринимал его как часть (притом вспомогательную) того огромного мира, который включает в себя вера. Как-то в школьные годы одна знакомая, зайдя к нам и увидев меня сидящим за книгой по антропологии, заметила: “Ты все этим занят”; она имела в виду религиозные, богословские темы. Хотя книга была “светской”, но эта женщина хорошо меня знала и понимала, “откуда дует ветер”».

Необычным было его увлечение биологией. Именно поэтому среди мыслителей, серьезно повлиявших на его мировоззрение, он называет французского антрополога иезуита Пьера Тейяра де Шардена: «Занятия естествознанием (начавшиеся очень рано) воспринимались мной как приобщение к тайнам Божиим, к реальности Его замыслов. Изучая препараты или наблюдая в микроскоп жизнь инфузорий, я как бы присутствовал при некоей мистерии. Это осталось навсегда. То же было и с историей, интерес к которой пробудило чтение Священного Писания. Мне была дорога каждая черта, которая могла пролить свет на библейские события. Отсюда любовь к древнему Востоку и Риму, служившим фоном священной истории. Не меньше волновала меня и история Церкви, в которой я искал реальные пути и способы осуществления евангельского идеала. Прочтя в детстве Жития, я понял, что в них много декоративного, легендарного, не связанного с действительностью. Это привело к поиску подлинных источников, который стимулировался чтением неоконченной рукописи отца Сергия Мансурова (я

познакомился с ней году в 50-м, теперь она опубликована в "Богословских трудах")». Не случайно отец Александр противопоставлял Жития и историю Церкви священника Сергия Мансурова. В своей незавершенной истории отец Сергей убедительно показывает, что подлинная Церковь — это ее святые, хотя отнюдь не безгрешные люди. Святые — это те христиане, которые всю свою жизнь сознательно посвятили служению ближним и Богу.

Ему удалось избежать многих соблазнов, которые подстерегают юношей, избравших путь служения Богу: «...все вращалось вокруг одного стержня. Я не желал "оглядываться назад", поскольку рука уже лежала на плуге. Бог помогал мне явным и неприметным образом. В багаж для будущей работы шло все: занятия искусством, наукой, литературой, общественные дела. Даже трудности и испытания оказывались промыслительными. Хотя со стороны могло показаться, что молодой человек просто имеет большой диапазон интересов, но на деле они были подчинены единой цели. Некоторые юноши в этом возрасте, живя церковной жизнью, нередко склонны отрясать прах всего "светского". Быть может, и я переболел такой болезнью, но не помню этого. Помню лишь проникнутость идеей "освящения" мира. "Опущенчество" церковного нигилизма казалось никак не соответствующим широте и свободе Евангелия».

Избежать этих соблазнов помогли старшие наставники, передав ему ныне почти утраченную традицию в российском православии. «Многие наставники моей юности были связаны с Оптиной пустыней и с "маросейским" приходом отцов Мечевых. В этой традиции больше всего меня привлекала открытость миру и его проблемам. Настойчивый голос твердил мне, что если люди уходят в себя, не несут свидетельства, глухи к окружающему — они изменяют христианскому призванию. Я узнал силу молитвы, но узнал также, что сила эта дается для того, чтобы употреблять ее, действуя "в миру". Принятие сана (в 1958 году) не переживалось мной как переломный момент, а было органическим продолжением пути. Новым стала литургия... С теневыми сторонами церковной жизни наших дней я столкнулся рано, но они меня не "соблазняли". Я принимал их как упрек, обращенный ко всем нам. Как побуждение трудиться. Харизмы "обличительства" у меня никогда не было. Однако обывательское, бытовое, обрядовое православие огорчало. Стилизация, елейность, "вещание", полугипнотические приемы иных людей представлялись мне недостойным фарсом или потворством "старушечей" психологии, желанию укрыться от свободы и ответственности.

Было бы ошибкой думать, что меня миновал соблазн "закрытого", самоуспокоенного христианства, обитающего в "келье под елью", что мои установки целиком продиктованы характером. Напротив, мне не раз приходилось преодолевать себя, повинувшись внутреннему зову. Мне неоднократно была явлена реальность светлых и темных сил, но при этом я оставался чужд "мистического", или, точнее, оккультного любопытства. Я слишком хорошо сознаю, что служу только орудием, что все успешное — от Бога. Но, пожалуй, нет для человека большей радости, чем быть инструментом в Его руках, соучастником Его замыслов».

Как священник он прекрасно понимал глубину святоотеческого завета: «Где епископ, там и Церковь». Именно поэтому свою пастырскую деятельность всегда стремился согласовывать с епископом, даже в том случае, если не ожидал от него поддержки во всех своих начинаниях. В конце 70-х годов отец Александр вспоминал о начале своего служения в Алабине: «Почувствовал я, что возникло ненормальное положение с епископатом, с официальной Церковью. У духовенства с епископатом произошел внутренний раскол. Мы перестаем доверять друг другу. Мои друзья-священники согласились со мной. В конце 1962 года я решил это положение изменить. Началось с самой невинной вещи. У меня было несколько друзей-священников, которые не окончили духовных академий. Сам я учился в академии заочно. Под этим предлогом предложил собираться по праздникам, именинам и обсуждать богословские вопросы, которые нас интересуют конкретно, а также пастырский опыт. Поскольку нет у нас академии, то академией станем мы друг для друга. Входили в этот кружок отец Дмитрий Дудко, Николай Эшлиман, Глеб Якунин — десять человек. Они стали приезжать ко мне в Алабино, иногда мы собирались у них. Обсуждали проблемы, которые возникают на исповеди, другие говорили о богословских вопросах, которые не могут решить. Потом пришли к обсуждению того, что же нам делать, когда нет епископов. Утверждать, что все епископы нас предали, громко сказано. Я все время напоминал, что с епископами у нас не все нормально. Основная ответственность лежит на епископе, а мы все его помощники. Чтобы избавиться от этого тягостного состояния, написал архиепископу Ермогену (Голубеву) письмо: "Мы следим за вашей деятельностью в течение многих лет, видим, что вы отстроили храмы в Средней Азии, не согласились с решением Архиерейского Собора 1961 года. Хотя мы принадлежим к другой епархии, просим Вас быть не административным, а ду-

ховным нашим архипастырем. Лишь в этом случае мы будем себя чувствовать церковными людьми”.

Письмо было от лица четырех — Дмитрия Дудко, Николая Эшлимана, Глеба Якунина и меня. Владыка ответил очень приветливо, он был тогда Калужским архиереем, обещал приехать. Приехал в Алабино. В это время шел ремонт храма. Он все обошел, посмотрел. Потом мы посидели вместе. Он все время говорил, что над Московской патриархией почил печать обновленчества. Те же самые обновленцы, вся программа та же, дух приспособленчества. Много суровых слов говорил в адрес патриархии. Мы все это понимали. Но сказали, что у нас нет намерений нападать на патриархию. Но когда будут возникать проблемы, без которых священнику не обойтись, мы хотели бы обращаться к епископу. Просили его разрешения обращаться к нему за поддержкой. На сем мы тепло расстались. Жизнь потекла дальше». Это бережное отношение к епископу сохранялось у отца Александра все время его служения.

Когда его прихожане еще на закате СССР начали избирать путь священства, он создал для них «Памятку начинающему священнику», центральной мыслью которой было противопоставление священнического служения, как оно сформулировано в последней беседе Иисуса Христа с учениками, жреческому. Он подчеркивал важнейшие черты священнического служения в СССР: «Думаю, что одна из важнейших обязанностей — проповедь, миссионерство, так как мы живем в нехристианском окружении. Самое опасное — забыть об этом, замкнувшись в “благополучном” церковном гетто. Первые христиане называли себя учениками. Молодые батюшки же стремятся как можно скорее стать учителями. Они не стремятся к духовному и интеллектуальному росту. Останавливаются в самодовольстве или ремесленничестве. Бытовизм быстро заедает, и пастырская совесть заглушается самодовольством. Глохнут к проблемам обычных людей, особенно нецерковных. Смотрят на все с узкоограниченной точки зрения. Этому способствует наш всеобщий акцент на культе, который превратился в “работу”, берущую массу сил и времени. На прочее не остается времени порой даже у тех, кто хотел бы служить “в духе и истине”. У священника должны быть интересы, соприкасающиеся с “профессией”, а одна “профессия” может привести к страшной рутине».

Слишком часто в православии священник превращается в жреца или в требоисполнителя. О себе и о своем служении отец Александр ясно высказался в одном из писем прихожанину и другу психологу Владимиру Леви: «Если быва-

ют мистики, повенчанные со здравомыслием, то это — мой стиль жизни... У священников немного особое положение. Если писателю скажут, что он “единственный” — это его триумф, а для нас — катастрофа. Мы — рядовые, живущие присягой. Мы из той породы, которая “в одиночку в поле не воин”. Кроме того, от чувства самости успешно оберегают неудачи, ответственность, утомление и опасность. Увы! И вообще у меня научный склад ума, а наука учит смирению. Ну сделал то-то и то-то. Ну одной книгой больше. Что это в сравнении с безмерностью задач? Я всегда ощущаю спиной все происходящее, все масштабы. Может быть, в этом и есть здравый смысл, которому учил любимый мной Честертон. А насчет сублимации вы правы. Она у меня в крови, застарелая. Это мы знали задолго до Фрейда и употребляли, пусть и бессознательно... И еще одно: личное. Мне служения вполне хватает, так как писанина есть лишь один из его вариантов. Просто нельзя говорить все время, нужно и письменно общаться с людьми. Может, порой и выйдет лучше. Один теолог зарубежный однажды сказал: “Отец Александр менее интересен, чем его книги”. И слава Богу! Тут мы близки. Книга есть вещь, стрела, пущенная из лука. Ты отдыхай, а она за тебя потрудится...”»

Еще в отроческие годы он уяснил важную жизненную истину: «Я, мальчишкой еще, слава Богу, догадался, что жить надо крупно. Крупно и просто. Не усложнять, не мельчить жизнь, не дробить — она и так на клочки раздираема... В делах своих, в побуждениях, в ценностях — все надо соединять. Соединяй и властвуй!» Окружающие поражались его умению беречь время. Быть может, поэтому ему удалось сделать так много. В одном из писем он так раскрыл секрет своих взаимоотношений с быстро ускользающим временем: «Я одним делом всю жизнь занимаюсь. И не я его делаю, но оно меня. Дело — дерево: один ствол на корнях, дальше ветви и ветки, мельче и мельче... Задачи разветвляются на дела, дела на делишки — как кровообращение: от сердца до капилляров... На каждый обозримый период стараюсь держать не более пяти дел, как пальцев на руке, потом только одна работа главная, как большой палец, а остальные сопутствующие, но их сумма по значимости примерно равна основной... Стараюсь соблюдать иерархию — отличать делишки от дел, дела от задач, задачи от Цели: если низшее наезжает на высшее, а не служит ему — к ногтю... Все, в общем, просто: ствол расписания крепкий, ветви бытия гибкие... Конечно, энтропия взимает налог, зряшные потери все равно происходят. Если в пределах примерно одной пятой от времени в целом — еще

ничего... Когда ясно себе представляешь, к чему стремишься, то знаешь, чего и хотеть в каждый миг, что предпочесть, от чего отказаться, что предоставить случаю — когда идешь верной дорогой, время само себя бережет».

Отвечая в 1983 году на вопрос о пастырской работе, отец Александр, упоминая тарасовский период служения, заметил: «За этот период оформились окончательно основные методы и принципы работы. Цель — создавать предпосылки для образа жизни, мысли и устоев христиан XX века, без староверства. Тогда же, в связи с литературной работой, расширились связи с учеными и писателями. Целью общения считал необходимость создания "среды", в которой верующие чувствовали бы себя свободно. Действовал методом естественного отбора. Когда нужные отобрались, прекратил встречи дома (около 1967 года)».

Шутливо высказываясь о своих прихожанах, он говорил, что они делятся на три категории: «Больные, очень больные и бегущие по волнам». Когда же прихожанка Наташа Трауберг спросила его, чем отличаются больные от очень больных, он ответил: «Больные понимают, что они больны, а "очень" — нет». Но среди прихожан он всегда отличал «сотрудников» — тех, кто деятельно помогал ему в его миссионерской деятельности. Он спокойно отказывался от каких-то замыслов, если видел, что это по силам кому-то из его окружения: «Стараюсь делать лишь то, что кроме меня — никто... Если есть умеющий лучше, отдаю это ему...» Прихожанин Владимир Леви удивлялся тому, как он умел вдохновлять и спланировать прихожан: «Вокруг него всегда было много добровольных сотрудников и помощников — и не только из паствы. Команда, и не одна даже, а несколько. Удивительно: люди-то были в большинстве далеко не подарочные — тяжелые, изломанные, часто и бестолковые, а все слаживалось, крутилось. Организатор веселый был, праздничный организатор!»

Отец Александр довольно трезво смотрел на талантливых прихожан — без придыхания и преклонения. В одном из писем психологу Владимиру Леви, которому иногда присылал «проблемных прихожан», признавался: «...Я не хочу давить. Его недостатки, о которых ты пишешь, — очень характерны для его сверстников сейчас. (В этот раз Леви прислал к отцу Александру своего пациента, юношу). Повторяю, самое ценное, если он сам определится. Я же только акушер, помощник, не более. Разумеется, по отношению к нему (и другим) я мог бы действовать иначе. Но мне это претит. Какое-то внутреннее чувство говорит: "Убери когти". Рожденное изнутри ценнее привнесенного...» Убирая

когти, отказываясь от патернализма, от искушения старчеством, отец Александр предоставлял возможность прихожанам самостоятельно избирать путь — падать и подниматься, крепнуть, приходя от силы в силу: «"Когти" — это внушение, повелительность, авторитетность, гипноз, позиция "сверху". Мог бы и так, разумеется: "Слово его было со властью". Это можно было почувствовать — власть, сознательно не используемую. Будучи "выше", отец Александр никогда не был "сверху", но только рядом и вместе. Здесь и кредо его пастырской педагогики, и нечто большее: то самое доверие Бытию и Богу, о котором он говорил и писал и которым жил». Когда его упрекали в том, что многие его прихожане не всегда достойны своего пастыря, он кратко отвечал: «Ангелов у нас нет».

Всегда помнил о словах своего духовника, священника Николая Голубцова, что российская интеллигенция — наиболее обездоленная в духовном плане часть общества, но в то же время преисполненная всевозможных претензий. Сергей Аверинцев уже после гибели отца Александра метко назвал его «миссионером для племени интеллигентов». Советская интеллигенция — еще недостаточно исследованный общественный феномен. Причем интеллигенция 60–80-х годов — очень яркое и неоднозначное явление. Употребленный Аверинцевым термин «племя» отсылает нас, с одной стороны, к доисторическим временам и нравам, с другой — свидетельствует о глубинном родстве интеллигентов между собой и теми российскими интеллигентами, которые в течение XIX века сформировали некий орден. «Сознание интеллигенции ощущает себя почти как некий орден, хотя и не знающий внешних форм, но имеющий свой неписанный кодекс — чести, нравственности, — свое призвание, свои обеты. Нечто вроде средневекового рыцарства, тоже не сводимого к классовой, феодально-военной группе, хотя и связанное с ней, как интеллигенция связана с классом работников умственного труда... У всех этих людей есть идеал, которому они служат и которому стремятся подчинить всю жизнь: идеал достаточно широкий, включающий и личную этику, и общественное поведение; идеал, практически заменяющий религию (у Чаадаева и некоторых других, впрочем, связанный с положительной религией), но по происхождению отличный от нее. Идеал коренится в "идее", в теоретическом мировоззрении, построенном рассудочно и властно прилагаяемом к жизни, как ее норма и канон. Эта "идея" не вырастает из самой жизни, из ее иррациональных глубин, как высшее ее рациональное выражение. Она как бы спускается с неба, рождаясь из головы Зевса, во

всеоружии, с копьем, направленным против чудовищ, порождаемых матерью-землей. Афина против Геи — в этом мифе (отрывок гигантомахии) смысл русской трагедии, т. е. трагедии русской интеллигенции. Говоря простым языком, русская интеллигенция “идейна” и “беспочвенна”...»

Система ценностей, которые были сформированы в конце 60-х годов в СССР среди лучшей части интеллигенции, была родственна сознанию российских интеллигентов XIX века, хотя многим отличалась — сказались страшные годы коммунистического авторитаризма. Но соединяла их русская культура, и она позволяла безошибочно распознавать духовных родственников в любой обстановке и среде. Приход отца Александра состоял не только из интеллигентов, хотя именно они составляли его стержень. Было бы странным полагать, что он уделял больше времени, как их называли в приходе, «москвичам» в ущерб местным старушкам. Он никогда не отказывался прийти освятить дом или причастить на дому болящую прихожанку. Причем никогда не упоминал о вознаграждении. Более того, если видел, что люди живут бедно, всегда старался помочь деньгами, продуктами или вещами. Делал это по-евангельски — незаметно. Большинство прихожан из местных относились к нему с любовью и уважением.

Отец Александр вспоминал, что переход из Тарасовки стал неким водоразделом в его жизни: «Перешел я в Новую Деревню и уже целиком занялся работой: перестал бывать всюду, перестал ездить в Москву, стали гаснуть и обрываться все связи. Многие уехали — тут началась так называемая алия. Уехал Меерсон. Я не хотел, чтобы он уезжал, но у него сложилась такая личная ситуация, что он уехал. Уехал Глазов, уехали многие. А были хорошие дни, когда собирались все у Гриши Турчинова (который тоже уехал), и он показывал свой кукольный спектакль с какой-то подоплекой... Мы с Померанцем рассуждали о метафизике, триединстве по отношению к разным мистическим системам... Все это ушло в прошлое: ночные путешествия по Беляеву-Богородскому, по Ленинскому проспекту, и апостольские рейды по Москве, в которых меня иногда сопровождал Желудков — он очень хорошо это все помнит. Все это ушло в прошлое, потому что я понял, что это ничего особенно не дает, кроме усталости, а людей, которых нужно, Бог Сам пошлет — тем более что людей становилось все больше». Казалось, что эмиграция части российской интеллигенции в начале 70-х годов обескровит его приход. Однако этого не случилось: уехавшим на смену приходили новые люди. А с уехавшими продолжалась связь через письма.

Повседневная жизнь священника внешне мало чем отличалась от жизни миллионов советских людей. В начале 70-х годов в одном из писем прихожанке, уехавшей на Запад, он не без юмора описывает свой обычный день: «...Встал он, болезненный, рано утром, в пять, когда еще полумрак среди деревьев, и зашагал по тропке к поезду. А в блаженно пустой электричке дочитывал правило, молился по четкам и изучал кое-что, касающееся “дней древних”. А потом дорога к храму, и солнце, восходящее над полями и лесом. А потом полумрак и тишина и исповедь полтора часа: печали, грехи, сомнения, трудности житейские и внутренние. Все может отнять лишь божественный огонь литургии, который расплавляет земную кору. Два-три слова в конце о празднуемой святой (Марии Магдалине), затем требы: панихида, молебны, крестины. Не успел покрестить, как везут покойника. Вокруг гроба вся семья: похожие и разные. Унесли гроб, робко приходит пожилая чета: хотят повенчаться на склоне дней. “Очень хорошо!” — отвечает им и, пропуская неуместные слова (о чадах и прочем), совершает таинство, напоминая им о том, что теперь на них благословение Божие, хотя они и всегда были мужем и женой. Потом чужие заботы, проблемы и прочее. А время идет, и уже вторая половина дня. Дорогу обратно по традиции нужно использовать для закупки корма. И блаженное возвращение в сад. Пока еще не холодно, садится бедный кюре за стол и вновь погружается в “дни древние”, во времена Хасмонеев и Иродов. А потом — проверять английский у сына, пилить дрова, поглядывая за забор, в даль, где виднеются золотые купола лавры. Преподобный всегда с нами. Потом все за стол, а перед сном, если есть что хорошее, смотрят все телевизор или читают. Правда, далеко не всегда бывают дни такие безмятежные. Бывают и черные, бывает и трудно. Но мы же должны благодарить за каждый день, отпущенный нам. Вот я и благодарю, описывая его Вам, благо Вы любите лирику...» Сегодня трудно постичь, что священник должен был пилить дрова, чтобы истопить печь. А дом был достаточно велик. Топили углем, чтобы подольше сохранить тепло. Поэтому в повседневный список забот входила закупка дров и угля. Их нужно было не только купить, но и привезти, разгрузить и перевезти поближе к печи. Лишь в начале 80-х годов их дом был подключен к магистральному отоплению. И этот сам по себе обыденный факт высвободил для отца Александра массу дополнительного времени.

Спустя десять лет после этого письма один из прихожан задал тот же самый вопрос — как проходит его обычный день. Это было в 1983 году,

когда начались андроповские гонения, но он уже был свободен от множества забот, связанных с отоплением. «Обычно я сажусь за работу в девять утра, а до этого — все необходимое, включая молитвенное правило и прочее. Пишу до одного часу, а потом занимаюсь домашними делами (или в саду). В два часа обедаю. После обеда — уборка, просмотр журналов, художественной литературы, отвечаю на письма (их довольно много: в среднем пять-семь в день). С пяти до шести или позже в саду или в доме. До семи часов редакция своего и чужого, слайды, сценарии и прочее. В семь часов ужин. Потом — отдых в виде чтения или ТВ. Ложиться стараюсь не позже десяти-одиннадцати часов. Когда служу, то возвращаюсь по-разному. Обычно после пяти часов. И тогда расписание идет обычным ходом. Издавна имею привычку читать Священное Писание и Отцов на сон грядущий. Утром читаю два правила: одно дома, а второе — по пути. В праздничные дни, если возможно, во второй половине дня — “размышления” над текстом Священного Писания или на основе духовных книг. Прежде систематически ездил в Москву и принимал дома людей. Но уже больше десяти лет уезжаю в Москву мало и дома живу отшельником (из-за обилия народа в церкви)».

Поскольку этот вопрос был задан в тяжелое время гонений, о многом отец Александр предпочел умолчать. Он создал несколько сценариев и слайд-фильмов, которыми активно пользовались руководители приходских групп, готовившие к крещению новообращенных. Среди слайд-фильмов наиболее известны «Иисус Назарянин» — в нем использованы слайды из фильма Франко Дзеффирелли «Иисус из Назарета», а также слайд-фильм «Откуда произошло все это?». Популярностью пользовался слайд-фильм о матери Терезе Калькутской, озвученный самим отцом Александром и его прихожанами. Вот обычное расписание богослужений в Сретенском храме: среда, суббота, воскресенье и, конечно же, праздники. Также один раз в неделю, кроме указанных дней, отец Александр, когда была его черед служения, выезжал в Новую Деревню для совершения треб. В Сретенском храме служили два священника, расписание чередовалось по неделям. Богослужения заканчивались обычно в двенадцать или в час дня. После этого, наскоро перекусив, отец Александр принимал прихожан или в церковном домике, или близ храма, прогуливаясь. В годы гонений (первая половина 80-х) кто-либо из прихожан снимал дом неподалеку от храма, часто встречи совершались в нем. Отшельником отец Александр не был никогда. Те дни, когда он находился дома, не были полностью

свободны от посетителей. Часто прихожане приезжали неожиданно. Несмотря на удаленность поселка Семхоз от Москвы, такие незапланированные визиты были довольно часты. Кроме них были и запланированные.

Свое миссионерское служение отец Александр понимал довольно широко. Поэтому немалое место в его жизни занимал писательский труд. В одном из писем он признавался: «Я ведь пишу вслепую, не получая критики и “прессы”. И вы правы, конечно, вынужден спешить. Читатели нетерпеливо стоят за спиной, как у художника, и ждут, дают. Просто потому, что “есть нечего”: старые книги уже во многом устарели, зарубежные — или недоступны, или “не работают” для нашего читателя. Жанр у меня трудный, едва ли даже определимый: и наука, и литература, и прочее. Но я ведь не прозаик, а не поймешь что». Сегодня трудно представить, каких трудов и затрат требовала эта работа. Сначала он на пишущей машинке набирал текст. Затем правил его и отдавал машинистке. А потом опять правил и вновь отдавал текст на перепечатку. О компьютере тогда даже не мечтали. Это был поистине каторжный труд. После десятикратного перепечатывания и правки текст отдавал печатать набело. А ведь нужно было еще найти грамотную машинистку. Лещенков беседовал с одной из них — пушкинской прихожанкой Нелли, немногословной, перенесшей смерть ребенка. И все же даже хорошая машинка не пробивала больше четырех листов. Пятый выходил уже слепым и почти не читаемым.

Затем отец Александр скрупулезно подбирал иллюстрации. Он выписывал множество журналов. При подборе иллюстраций все шло в дело. А ведь нужны были и карты, и фотографии археологических находок, и множество другого. Он аккуратно вкладывал чистые листы в книгу, на которые наклеивал иллюстрации. Затем за работу брался переплетчик. В результате выходили объемные тома, которые передавались из рук в руки в приходе. И машинистка, и переплетчик были проверенными людьми. Его книги квалифицировались спецами «церковного» отдела КГБ как религиозная литература, а за ее распространение граждане СССР подвергались уголовному преследованию. Немного проще стало в середине 70-х годов, когда брюссельское издательство «Жизнь с Богом» наладило выпуск его книг.

Директор издательства Ирина Поснова и ее помощники стремились, чтобы книги отца Александра попадали к нему. Приезжие иностранцы иногда пытались помочь ему — предлагали гонорары за изданные книги. Но он всегда решительно отказывался от денег — понимал, что за ним присталь-

но следят, пытаюсь уличить в чем-либо незаконном. Но искренне радовался тому, что привозили не только его книги, изданные за границей, но и религиозную литературу. Это требовало от зарубежных туристов умения и сноровки. Таможня строго блюла советские законы и изымала обнаруженную религиозную литературу. Позволялось провезти лишь единственный экземпляр Библии, если турист убеждал таможенников, что это его личный, необходимый для молитвы. А вскоре и технический прогресс начал просачиваться сквозь железный занавес. Появились первые копировальные аппараты. И хотя они хранились в оборонных секретных предприятиях под семью замками, все же удавалось копировать тамиздат.

Отец Александр никогда не делил своих прихожан — каждого любил больше всех. Не зря он упоминал книгу рано умершего священника Александра Ельчанинова. Она оказала на него огромное влияние. Ельчанинов писал: «Нельзя врачевать чужие души ("помогать людям"), не излечив себя, приводить в порядок чужое душевное хозяйство с хаосом в собственной душе, нести мир другим, не имея его в себе. Наша помощь людям заключается часто не в системе обдуманых действий на их душу, а в невидимом и неведомом для нас действии наших духовных даров на них. Когда Антоний Великий спросил своего молчаливого посетителя: "Почему ты меня ни о чем не спросишь?", тот сказал: "Мне достаточно смотреть на тебя, святой отец"». Исполняясь божественного света, отец Александр щедро делился им со всеми, кто в этом нуждался.

Среди его прихожан, а их было более тысячи, встречались психически неуравновешенные личности, больные, с которыми священнику приходилось нелегко. Для мирян проблема общения с такими людьми решалась просто — их избегали, подшучивали над ними. Для отца Александра такой подход был неприемлем. Для него все прихожане были детьми Божиими. На больных и убогих он смотрел с большей любовью и уделял им гораздо больше внимания. Он создавал некое силовое поле благодати, в котором одинаково хорошо было всем. Даже тем, кто враждовал друг с другом. Проблема симпатии и антипатии выходит за пределы разума. В многочисленном приходе встречались люди, которые испытывали необъяснимую антипатию к тому или иному прихожанину. Отец Александр знал об этом и стремился сгладить ее. Иногда доброй шуткой, иногда взывал к разуму. И ему это удавалось. Крайне редко его видели усталым или раздраженным. Казалось, что его терпению нет предела. Основную часть прихода составляли советские интеллигенты. Пастырская работа с ними

чрезмерно затруднена — они всегда ощущали себя избранниками, часто без каких-либо серьезных на то оснований. Амбициозность, неоправданные претензии, отсутствие духовной трезвости — это требовало колоссального терпения от пастыря.

Руководителю следственной группы пришлось прочесть немало воспоминаний об отце Александре. В том числе роскошно изданную книгу, вышедшую почти сразу после его гибели одной из прихожанок. Он с трудом одолел этот труд. Размышляя о его пастырском подвиге, он неожиданно понял, какой неимоверно тяжелый груз нес отец Александр. Почти четверть века эта прихожанка находилась рядом с ним. Книга — своеобразная смесь отрывочных воспоминаний, дневниковых записей и подлинных текстов отца Александра. Читая книгу, он дивился тому, как женщина скрупулезно описывает свои состояния, не замечая советов и помощи духовного отца. Его удивило, что порой она стремится поучать его, часто превозносится, считая, что помогает ему. Хотя из рассказов прихожан он уже знал, как самоотверженно отец Александр возился с ней, помогая не только духовно, но и материально. Его потрясла бездна смирения священника. Она искренне считала себя редактором его книг! Он уже был знаком с книгами отца Александра и понял: достаточно прочесть полстраницы ее воспоминаний и сравнить с любой страницей из его книг, как блистательный талант отца Александра становился еще более очевидным на фоне ее графомании.

Лещенков знал, что ее недолюбливали прихожане, подшучивали над ее маниакальной страстью к учительству. Она часто впадала в депрессии, становилась навязчивой, могла вцепиться в кого-либо из прихожан и довести до истерики. Но священник относился к ней как к малому дитяти. Многие прихожане не могли этого понять. Видимо, это и было подлинное пастырство. Она была среди прихожан второго призыва. Ее привела к нему в Алабино, тогда начинающему священнику, Елена Огнева, талантливый искусствовед и переводчик, глубокий и проникновенный человек. Наверное, отец Александр отдавал себе отчет в том, насколько тяжело приходится ей. Поэтому не мог бросить или оттолкнуть ее. Он помогал ей бороться с душевной болезнью. Пока он был рядом с ней, болезнь отступала. Следовательно наткнулся на ее портрет в воспоминаниях другой прихожанки: «Сегодня вечером должна прийти поэтесса Алла Беридзе. Людмила Федоровна Каптерева ее любит и жалеет. Алла такая странная, болезненная, неопределенного возраста, бледная, как мел, женщина, с прозрачно-зелеными глазами, похожая на ино-

планетянку, и стихи у нее непонятные, но завораживающие.

И она пришла. Но не одна. С ней была женщина средних лет, крашеная блондинка, с малиновым румянцем и с ярко нарисованным сиреневым ртом. А еще у нее были хищные ноздри. Эти неприятно подрагивающие ноздри (как будто она постоянно приноживалась к чему-то) и этот ядовитосиреневый рот мне сразу страшно не понравились. Алла представила ее как скульпторшу и поэтессу. Алла со своим бескровным и безвольным лицом и ее приятельница "кровь с молоком" смотрелись как два антипода. Как будто именно эта скульпторша и выпила из Аллы все соки... Неплохая парочка для какого-нибудь фильма ужасов...

Сидели, пили чай, женщина с сиреневым ртом рассказала, как она лепила всяких знаменитостей. И при жизни они ей позировали, и посмертные маски она с них снимала. Потом Алла попросила ее почитать стихи. Стихи были неплохие, любовная лирика, посвященная Пастернаку. Но в стихах было то, что называют цветаевщиной. А потом, как-то ни с того ни с чего, эта женщина устроила нам с Людмилой Федоровной почти допрос: давно ли мы были в храме и сколько времени назад последний раз исповедовались и причащались. Услышав, что Людмила Федоровна делала это очень давно, а я еще ни разу в жизни, новая знакомая страшно взволновалась и стала отчитывать нас, как школьниц, к тому же не делая разницы между мной и Людмилой Федоровной, которая была значительно старше ее. Но она сразу взяла учительский тон.

— Если вам не к кому пойти на исповедь, могу порекомендовать замечательного священника. Отца Александра Меня. Умный, интеллигентный, к нему пол-Москвы ездит.

— А мы даже не слышали о таком...

— Он еще молод. И служит за городом, в Новой Деревне. Это за Пушкино.

— Далековато, — сказала Людмила Федоровна. — Мне трудно будет добираться.

— А мы поедем на такси, — сказала скульпторша. — Я плачу.

Она была такой настойчивой, что мы согласились поехать, не откладывая, в ближайшую субботу».

Тем не менее именно эта прихожанка отца Александра стала для обеих женщин своеобразным проводником и привезла их в храм. «Мы встретились рано утром у метро "ВДНХ". Был мрачный, слякотный день начала ноября, Людмила Федоровна зябко куталась в свое серенькое пальтишко. Энергичная, малиновощекая скульпторша быстро

поймала такси. И мы поехали. Сегодня скульпторша была без сиреневой помады на губах и выглядела не так агрессивно, как давеча, но хищные ее ноздри неприятно тревожили меня. У меня даже мелькала то и дело мысль: "И куда нас несет? И за чем? С какой-то странной теткой... Что мы знаем о ней?... И откуда она взялась на нашу голову?..."

Приехали. Маленькая церквушка с голубой каплей купола. Вокруг небольшой погост, потемневшие кресты и остатки рваной листвы на ветвях старых кленов... Слева, у ограды, небольшой домик. Зашли в храм. Он оказался неожиданно полон. Маленькое пространство битком забито людьми. Было много деревенских старушек, но еще больше — молодых мужчин и женщин, городских, явно — из Москвы. Храм был необычный: вместо высокого купола здесь был довольно низкий потолок, и от этого церковь казалась какой-то домашней и очень уютной. Пел нестройный хор старушек с дребезжащими голосами... молодой служка читал часы... Все было просто, скромно, неярко. И тут из боковой дверцы алтаря вышел священник! Он вышел — как яркое пламенное солнце выходит из облака. И все озарилось ярким, очень ярким светом! Все пространство церкви наполнилось светом, и лица людей повернулись в его сторону, как листья к солнцу...

Он был молод, да, наверное, он был молод... хотя о его возрасте, глядя на него, совершенно не думалось. Потому что он был велик и огромен. И скорее хотелось сказать, что вышел пророк, или великий старец, живущий от сотворения мира... не подвластный времени и старости. Это был такой могучий заряд космической энергии в человеческом обличье!.. Он был красив настоящей библейской красотой: волна черных волос над прекрасным светлым лбом, окладистая черная, волнистая борода, но главное — глаза! Из них струились потоки горячей любви, и в храме от этого стало жарко!.. и радостно!.. и по-настоящему празднично!.. Я уже забыла о том, что нас сюда привезла странная женщина. Что ж, пути Господни неисповедимы... Значит, так было надо. Значит, по-другому нас сюда было не затащить...

А после службы все москвичи пошли в прицерковный домик пить чай. Скульпторша сказала, чтобы мы с Людмилой Федоровной тоже шли. В трапезной хлопотала маленькая пожилая женщина, которую все называли просто Марусей. Она заваривала чай, выставляла на длинный стол чашки, а гости выкладывали на тарелки баранки, пряники, конфеты...

Рядом с трапезной находилась комната, где отец Александр принимал всех желающих по-

беседовать с ним. Он прошел туда быстрым шагом. И за ним шлейфом пронесся горячий ветер... Некоторые из присутствующих, то один, то другой, стали скрываться за этой дверью. А через какое-то время выходили оттуда с одинаковыми блаженными улыбками на лицах... в первую минуту ничего не видя перед собой и, видимо, все еще пребывая мысленно там — за этой таинственной дверью, куда я даже не мечтала попасть...

И тут возникла розовощекая скульпторша, она вынула из сумочки тюбик с губной помадой, зеркальце и намазала жирно губы сиреневым цветом.

— Женщина всегда должна быть женщиной! — сказала она с вызовом, адресованным неизвестно кому. И отправилась со своими сиреневыми губами и хищными ноздрями на беседу к отцу Александру.

Меня это все страшно покорило. Зачем пришли остальные — было ясно. Зачем пришла сюда она? Было непонятно.

После нее к отцу Александру пошла Людмила Федоровна. И вышла с блаженной, блуждающей улыбкой на лице...

— Ой, Машуня, какой человечисце!.. — прошептала она. — Иди, он ждет тебя.

— Меня?!

— Да, тебя.

Я чуть в обморок не упала от неожиданности. Я не была готова. Я не знала, что я скажу этому необыкновенному человеку. Но я вошла — и все страхи остались за порогом. Крошечная комната, похожая на келью: топчан у двери, стол у окна, иконы и полки с книгами. Лампадка, мерцающая в углу... Он сидел у стола, осенний зыбкий свет из окошка слабо освещал Вечную Книгу на столе... Но в комнате было светло, светло от его лица, от жаркого света его глаз...

Я села на стул напротив его.

— Ну, здравствуй, Маша! — сказал он. Сказал так тепло и просто, как будто мы сто лет знакомы, как будто он давно ждал меня и рад, что я наконец пришла. И я поняла в ту минуту, что пришла к своему духовному отцу... И, сама от себя не ожидая, стала рассказывать ему — о том, как трудно дома, как тяжело с Федором, как непросто в институте... А еще рассказала ему о Моем Клоуне...

Он слушал очень внимательно. А потом сказал:

— То, что в институте к тебе такие придирки, отнесись к этому философски. Дар писать тебе дан Богом, а люди, пусть даже и твой творческий руководитель, не имеют права тебе диктовать, что писать и как писать. Прислушивайся только к своему внутреннему голосу, к своей интуиции, она

тебя не обманет... То, что дома такие испытания — это часто так бывает, когда человек приходит к вере. Сказано ведь: враги человеку домашние его... А еще сказано: нет пророка в своем отечестве. Дай Бог тебе сил и терпения. Главное — не озлобиться в этой ситуации. А насчет твоей сильной привязанности к ушедшему человеку... Ты тоскуешь — и его душе тяжело от этого, ты его тянешь к земле, откуда он уже ушел. Он ушел — значит, ему было пора уйти. Если мы веруем, мы веруем и в то, что ни один волос не упадет с нашей головы без Божьего соизволения на то. Он ушел. А ты не даешь ему двигаться дальше. И ты должна это понять.

— Что же мне делать, отец Александр?

— Отпусти его... Я понимаю: это нелегко. И все-таки необходимо. Тем более если ты любишь его и желаешь ему добра. Отпусти его...»

В многочисленном новодеревенском приходе «очень больных» прихожан было немало. И отец Александр возился с ними столь же терпеливо, как и с той прихожанкой, о которой вспоминала его новая прихожанка. Лишь как-то посетовал: «На Западе есть и психиатры, и психологи, и психотерапевты, и психоаналитики, а у нас в России священник вынужден совмещать все это в одном лице». Как он радовался, когда принял крещение давний его друг — психолог Владимир Леви. С удивлением, зная, как часто он крестит самых различных людей, кто-то спросил у него: «Почему вы так радуетесь этому?» Он ответил, что путь к крещению у Леви был долгим и трудным. И что даже трудно представить, насколько он был извилистым. Он отличал этого талантливого врача и рассчитывал на его помощь в работе с прихожанами. И его ожидания не были обмануты: Леви занимался с прихожанами, которых присылал ему отец Александр. Позже психолог вспоминал о его пастырских качествах: «Всечуткий, всепонимающий, переживающий за ближних и дальних, все и вся принимающий как свое — он ни от чего и ни от кого не был зависим. Не самодостаточен в смысле привычном, а богодостаточен. Такой близкий и, казалось, такой понятный, он жил на другом, несравнимом уровне». В одном из писем к нему отец Александр признавался: «Одиночеством я, признаться, никогда не страдал, и домой возвращаюсь с радостью. Ведь мы возвращаемся не к себе, а к Богу, к Его "Ты". Только иногда ощущаю интеллектуальное одиночество, но это вытекает из ограничений, добровольно принятых лет десять назад. Что-то надо потерпеть».

Продолжение следует.



Томас Энсти ГАТРИ

Томас Энсти Гатри (1856—1934) — английский писатель, автор множества юмористических, сказочных и фантастических рассказов и повестей. Писал под псевдонимом Ф. Энсти. Среди его произведений — сказка «Медный кувшин» (1900), послужившая прообразом для повести Лазаря Лагина «Старик Хоттабыч».



Евгений Никитин — выпускник Института лингвистики и межкультурной коммуникации Московского государственного областного университета. Как переводчик публикуется в «Юности» с 2010 года.

Продолжение. Начало в № 10 за 2014 г.

ПРИЗРАК БАРНДЖУМА

Я вернулся в Лондон ближайшим поездом. По дороге все произошедшее практически выветрилось из головы — если я и вспомнил об этом пару раз, то с облегчением: наконец-то удалось избавиться от общества Барнджума навсегда.

Но когда я выходил из кэба, случилось нечто странное: кэбмен окликнул меня.

— Прошу прощения, сэръ, — сказал он хрипло, — но, кажется, вы забыли что-то на заднем сиденье.

Я заглянул внутрь. Там, опираясь на раздвижные двери, сидел призрак Барнджума!

Мне удалось сохранить присутствие духа, поблагодарить кэбмена и подняться к себе квартиру, сохраняя спокойствие. Призрак (как я и ожидал подсознательно) последовал за мной и преспокойно уселся в мое кресло у камина. Теперь я получил возможность разглядеть непрошеного гостя во всех подробностях.

Это был самый обыкновенный призрак: четкий, полупрозрачный и, невзирая на некоторую округлость в очертаниях, очень похожий на Барнджума. Перед тем как прилечь на кровать, я ради эксперимента бросил в него ботинки, потом несколько книг. Он даже не заметил пролетевшие сквозь

него вещи, и это окончательно убедило: передо мной потустороннее создание.

Хоть это был и призрак, но его выбор гардероба не мог не удивлять. Нет, я не страдаю узостью мышления и понимаю, что в наше время даже привидениям нужна одежда... однако одеяния призрака-Барнджума бросали вызов не только моде, но и здравому смыслу.

В тот вечер, помнится, на нем были полосатые панталоны, стихарь¹ и большущая треуголка. Впоследствии он не раз менял свое одеяние — столь быстро и эксцентрично, что постепенно я перестал обращать на это внимание. На ум приходит только одно объяснение: возможно, где-то во вселенной существует потусторонний магазин (а скорее — костюмерная), откуда призраки и берут одежду.

Вскоре заглянула моя домовладелица — узнать, не нужно ли мне чего, — и, конечно, первым делом заметила привидение. Вначале она резко запротестовала, заявляя, что не потерпит такую мерзость в собственном доме и что если я хочу заняться разведением призраков, мне следу-

¹ Богослужбное облачение — длинная одежда с широкими рукавами.

ет переехать. Но, в конце концов, мне удалось ее утихомирить, втолковав, что привидение не доставит ни малейших хлопот и что я терплю его присутствие только из уважения к старому другу.

Потом я долго сидел в кресле и тщательно обдумывал ситуацию, пытаюсь понять, какие еще могут возникнуть проблемы с призраком.

На этом месте я мог бы без труда разбередить душу читателей и завоевать их симпатии, красочно описав, какой ужас и какое чувство вины испытал я от неожиданных последствий моего деяния. Однако я предпочитаю честность и не стану приписывать себе чувства, которых вовсе не испытывал.

Первая пришедшая на ум гипотеза утверждала, что призрак — следствие нервного перенапряжения либо желудочного расстройства. Однако, по здравому размышлению, я отверг ее: едва ли кэбмен страдал переизбытком воображения, и реакция домовладелицы имела под собой веские обоснования. Потому пришлось неохотно признать, что привидение вполне реально и, скорее всего, будет преследовать меня и дальше — может быть, до конца.

Разумеется, столь мелкая месть и злой умысел со стороны Барнджума внушали отвращение. Нечто подобное выглядело бы уместным на Рождество, когда сказки становятся явью, но в разгар лета терпеть парящий анахронизм было просто невыносимо.

Впрочем, жаловаться бессмысленно. Я решил взглянуть на происходящее здраво: я сам породил призрака и теперь вынужден мириться с этим. В конечном счете оно, пожалуй, и к лучшему: терпеть Барнджума в обличье призрака куда легче, чем Барнджума во плоти. Тем более что дух, похоже, был неспособен к связной речи.

К моему счастью, в Лондоне Барнджума практически никто не знал; его единственным родственником была тетка, живущая в Камбервелле¹, так что мне не придется опасаться неудобных вопросов и подозрений со стороны его знакомых.

Тем не менее глупо закрывать глаза на очевидный факт: снова выйти в свет в сопровождении невесты как одетого призрака будет непросто.

Да, вначале все будут глумиться и отпускать остроты. Однако я прекрасно знал, как устроен мир; к тому же многие преодолевали в своей жизни куда более серьезные преграды.

Поэтому, вместо того чтобы поддаться иррациональной панике, я решил поступить как настоящий мужчина и заглядить глупую ошибку достойным поведением.

Когда на следующее утро после завтрака я решил прогуляться по Сент-Джеймс-стрит, призрак, к моему превеликому раздражению, последовал за мной. Он стал моим неизменным попутчиком, превращая меня в мишень для взглядов, в которых читались любопытство и отвращение.

Я счел за лучшее полностью игнорировать его присутствие, а в случае чрезмерно живого и нездорового интереса прохожих приписывать призрака их воспаленному воображению. Тем не менее мало-помалу сплетни разнеслись по городу, и я больше не мог притворяться, что моего спутника не существует.

Тогда я объявил, что привидение является частью изобретенного мной хитроумного механизма, на который я собираюсь получить патент. Это могло бы принести мне известность в среде ученых, если бы господ Маскелайн и Кук² не позавидовали моей популярности и не заявили, что давно раскрыли этот фокус и создадут куда более впечатляющего призрака (что, замечу, им действительно удалось).

Я под строжайшим секретом поведал двум пэрам (моим хорошим знакомым, людям безукоризненного происхождения), что это никакая не машина, а *bona fide*³ призрак. Вскоре — не могу объяснить, почему; каким-то чудом — моя история стала достоянием множества клубов и салонов, а сам я — популярнейшим светским львом.

Меня приглашали в различные дома (с негласным подтекстом обязательно приводить с собой призрака). В результате привидение Барнджума стало частым гостем высшего света, и мне уже присылали приглашения на много недель вперед (в частности, несколько *parvenus*⁴, которые втайне рассчитывали переманить привидение к себе и создать в своих поместьях и замках неповторимую мистически-сказочную атмосферу. Разумеется, у них ничего не вышло).

Однако прелесть новизны вскоре исчезла, и виной тому не только непостоянность высшего света. Мы бы продержались в центре внимания еще один сезон, если бы не Барнджум, который с завидным упорством выставлял себя в столь дурацком виде, что спустя уже две недели общество было сыто им по горло — как и я сам.

А затем сопутствующие моему положению неудобства стали проявляться все отчетливей.

По вечерам я теперь часто оставался дома. У призрака появилась неприятная привычка

² Знаменитые английские иллюзионисты.

³ От лат. «bona fides» — добросовестность, честность.

⁴ Выскочки.

¹ Район на юге Лондона.

разгонять темноту тошнотворно-зеленым свечением. Это позволяло обходиться без настольной лампы, но навевало уныние.

А потом он начал пропадать — иногда на несколько дней. Вначале я только радовался, но вскоре стал испытывать дискомфорт. Мне почему-то казалось, что Общество паранормальных явлений, которое, по слухам, специализируется на контакте с привидениями, найдет его и научит говорить, что, разумеется, скомпрометирует меня. Позднее я узнал, что один из его членов и в самом деле повстречал Барнджума, однако отнесся к нему со скептицизмом, посчитав ловким трюком.

Мне пришлось съехать из своей уютной квартиры: домовладелица пожаловалась, что каждый вечер с семи до двенадцати под окнами собирается толпа разномастного сброда, заполняя всю улицу, и заявила, что не намерена это терпеть. Оказывается, почти каждый вечер после наступления темноты призрак выходил на крышу и начинал кривляться. В итоге меня, как его хозяина, обвинили в нарушении общественного порядка путем создания автомобильных заторов и наложили штраф.

Помнится, в газете *Illustrated Police News* даже появились наши портреты. Однако сомнительную славу явно перевешивал тот факт, что призрак Барнджума медленно, но верно подрывал мою репутацию и мое состояние.

Однажды он последовал за мной в метро и сел в тот же вагон — без билета, конечно. Последовал судебный процесс, породивший знаменитую неделю неразберихи в юридическом мире. Стоит также упомянуть нашумевшее дело *Metropolitan District Railway* против Бантинга, в ходе которого судья постановил, что компания в соответствии с условиями контракта вправе отказаться перевозить призраков, привидений и прочих сверхъестественных существ, а также наложить солидный штраф на пассажиров, нарушающих данные правила.

Конечно же, все вновь обернулось против меня, и моего состояния еле-еле хватило на покрытие штрафа и судебных издержек.

Вдобавок ко всему призрак вознамерился изгнать меня из светского общества. На одном из балов в доме, где мне только-только удалось наладить шаткие связи, он опозорил меня раз и навсегда, станцевав гнусный канкан!

Чувствуя себя косвенно ответственным за его поведение, я рассыпался в извинениях перед хозяйкой, но сделанного не воротишь; после этого случая она притворилась, что меня больше не существует.

Как-то я заметил, что одетый в альпинистский костюм и широкополую шляпу призрак входит вслед за мной в двери моего клуба (замечу — одного из самых престижных в городе), я невольно вздрогнул, но, увы, был не в силах прогнать его. Вскоре клубные завсегдатаи намекнули, что мне здесь больше не место: ведь я злоупотребляю привилегиями членства, приводя сомнительных личностей дискредитирующей наружности.

Вплоть до того момента я работал адвокатом — и, к слову, очень неплохо зарабатывал, — но теперь ни одна уважающая себя фирма не собиралась нанимать юриста со столь непрофессиональным атрибутом, как спутник призрачного характера. Мне пришлось бросить практику, а вскоре лишиться последнего соображения в уплату штрафа за хранение нелегального привидения!

Без сомнения, многие на моем месте сдались и погрузились в бездну отчаяния. Однако меня так просто не сломить; кроме того, появилась идея, как извлечь выгоду из потустороннего преследователя.

Призрак Барнджума разрушил мою жизнь... так почему бы не заработать на нем? Ведь привидение вполне реально — мне ли не знать?.. Оно, в некотором смысле, большой оригинал... Оно определенно может производить впечатление... Из него можно извлечь и нехитрую мораль... Словом, все сопутствующие успеху факторы были налицо, и я не видел причин, почему призрак не должен завоевать популярность — если не в столице, то за ее пределами.

Заняв денег, я сделал все необходимые приготовления для турне призрака по провинциям. Начать решил с Южного Уэльса — городка Тенби.

Я принял всевозможные меры предосторожности (в частности, отправился в путь ночью, всю дорогу проведя в отдельном вагоне), дабы призрак (начисто лишенный чувства собственного достоинства, как ни печально) не вылез и не продемонстрировал себя зевакам раньше времени бесплатно. Мои усилия увенчались успехом: когда он впервые возник перед тенбийской публикой в огромном зале для приемов, его встретили оглушительные аплодисменты, какие не снились ни одному призраку, а я — в первый и в последний раз! — даже гордился им.

Однако овации вскоре затихли, сменившись неловкой тишиной. Только тут я осознал, что для успеха мало продемонстрировать зрителям привидение — надо что-то говорить, что-то делать и, конечно, убедить почтенную публику, что это не иллюзия, не какая-то хитроумная машина, не

обман... Я стоял на сцене, машинально отвешивая поклоны, пораженный ужасной мыслью: они наверняка ожидали комическое шоу, с музыкой, танцами и прочим, прочим, прочим...

Об этом, конечно, не могло быть и речи — даже если бы призрак добровольно вызвался помогать мне (в чем я сильно сомневался). Он просто стоял неподвижно, выставляя себя и меня круглыми дураками. «Шоу» быстро наскучило зрителям. Думаю, даже обыкновенный волшебный фонарь произвел бы на них гораздо более глубокое впечатление.

Наверное, когда я на мгновение отвлекся, привидение совершило нечто оскорбившее на-

циональную гордость жителей Уэльса — чувствительных и вспыльчивых валлийцев. Не знаю. Так или иначе, зрители дружно встали как один, схватились за стулья, которые тут же полетели сквозь призрак в меня, и, удовольствовавшись воцарившимся на сцене хаосом, ушли.

Все. Конец. Слабая надежда на то, что привидение, проведя столько времени в культурном и благопристойном обществе, усвоит хоть что-то полезное, не оправдалась.

Я расплатился за учиненный погром выручкой с кассовых сборов и вернулся в Лондон третьим классом. Все, абсолютно все складывалось против меня.

Окончание следует.

Перевод с английского Евгения Никитина.



Инна МУХИНА

Инна Мухина — член Союза писателей России, лауреат многих литературных конкурсов, автор нескольких поэтических книг. По профессии металлург и металлург, кандидат технических наук. Живет и работает в Москве.

Подруга

Подруженька-сестричка,
Воды-то утекло!
Года, как электрички,
Стучали. Унесло.
Пятерочная парта,
Сирень. Десятый класс.
И школьный бал,
Как память
Сиянья милых глаз.
Потом на пальцах кольца,
И сыновья растут.
Ночей бессонных сколько,
Трагических минут.
Дарила жизнь подарки,
Бедой не обошла,
Но в черный день и в яркий
Со мною ты была.
Менялась жизни сцена —
Пиар, менталитет,
А дружба та бесценна —
Нас греет столько лет!..

Ворона и жар-птица

*Орел парил. Она блуждала,
Не видя в воздухе ни зги,
И, ненавидя, повторяла
Его могучие круги.*

Юрий Кузнецов. Двуединство

Жар-птица перо обронила,
Ворона его подняла,
Примерила, глазки скосила,
Надела: «Была не была!»
«Нет. Это тебе не годится, —
Ей грач мимоходом сказал, —
Ворона — дворовая птица
И нечего строить глаза».
«Ну нет уж!» Подкрасила перья,
Малиновым бровь подвела —
«Чем я не жар-птица? Поверят,
Что с детства такой я была».
Смеются в округе все птицы:
Тщеславное ты, воронье,
Ведь сколько ни красься, сестрица,
Нутро не закрасишь свое.

г. Москва


Инеcса ИЛЪИНА

Инеcса Иллина (Федорова) — член Московской городской организации Союза писателей России, Союза писателей XXI века, Академии российской литературы. Родилась в Москве. Окончила ГИТИС имени Луначарского. Стихи пишет с детства. Автор книг поэзии «И оживет мой сон», «Маски». Дипломант и победитель различных конкурсов. Печаталась в журналах «Москва», «Великороссь», «Московский вестник» и других периодических изданиях.

Заблудившись в дальних странах...

И на празднестве чужом
Одиночество — во благо.
Затрепещет белым флагом
Парус в море голубом.

Потаенные мечты,
Словно малые дельфины,
Подставляют ветру спины,
Не боятся высоты.

Да обрящем мы покой,
Заблудившись в дальних странах!
Посыпая солью раны,
Не найдя пути домой.

Время холодных ночей

Просыпается время холодных ночей,
И скитается месяц по небу — ничей,
Пробирается кошка по крыше — ничья,
Собираются мыши кормиться в поля.

На заброшенных дачах рябины горят.
На реке под корягами щуки не спят.
Осыпаются яблоки с веток в траву,
И сороки разносят лихую молву:

Мол, совсем пожелтели-пожухли кусты,
И давно облетели лесные цветы,
А туманы ползут с опустевших полей
И в заморские страны зовут журавлей.

г. Москва



Александра БИРЮКОВА

Родина Александры Бирюковой — село Троицкое Чеховского района Московской области. Член Союза писателей России. Ее девиз — «Не бойся злых, бойся равнодушных. Это с их молчаливого согласия совершаются все преступления в мире».

* * *

Спасти народ наш от мытарства
Просить Творца не убоюсь.
Давно в составе государства
Находится Святая Русь.

В простой залатанной рубахе,
Следы тревоги на челе,
Но сила духа — как на плахе,
На виселице, на костре.

Моя Заступница земная,
Еще немного потерпи.
И пусть слеза твоя скупая
Все беды смочит на пути.

Ты встанешь, как всегда вставала,
Хулу возводят снова псы.
Окрепнешь, все начнешь сначала,
Господь поможет, не тужи.

Благослови меня, Россия,
Стой крепко, даже на краю.
Я все грехи твои былые
С народом вместе отмолю.

И жить мы будем по законам,
Что подарил Создатель нам:
Поклоны низкие иконам,
Не кланяясь своим врагам.

* * *

Не жалею меня, не надо, не жалею.
Я не птица за окном, не воробей.

Только женщинам дано все на двоих,
И всегда Россия держится на них.

Любим дом, свою Отчизну и детей,
Бережем, как бриллианты, мы мужей.

Расслабляться в этой жизни нам нельзя,
Ты подставь плечо, родимая земля.

Дай мне силы, поддержи, тебя прошу.
Добрый словом, чистым небом дорожу.

Нет путей, где россиянка не пройдет,
В лихолетье алой розою цветет.

Московская обл.



Татьяна АНАНИНА

Татьяна Ананьина по профессии лингвист. Писать стихи начала в детстве. Писались они для себя, по зову души, для родных и друзей. Некоторые из них привлекли внимание композиторов, в итоге получилось тридцать лирических песен. Член Московского отделения Союза журналистов России, Московской городской организации Союза писателей России. Отмечена благодарностью Министерства культуры РФ «За успехи в творческой и профессиональной деятельности».

Иерусалим

Улочки узки и тесны,
Точно в копье шириной.
Сверху прикрыты навесом
Над говорливой толпой.

Древние камни застыли
На городских мостовых.
Те, по которым ходили
Ноги святых — но живых.

Белый приземистый город —
Сказка — стоит на земле.
Листьев оливковых шорох
На маслиничной горе.

Здесь невозможно не верить
В притчи старинный рассказ.
Как же понять, чем измерить
Вечность, что смотрит на нас?!

На Волге

Как мне жаль расставаться с Волгою,
С белым лайнером и с тобой;
С вечерами певучими долгими
Над прекрасною русской рекой;

С ветерком, легким, теплым и ласковым,
И со множеством древних церквей;
И с такой романтической сказкою
О красавице Сююмбике.

Все, быть может, когда-то забудется.
Только знаю, наверное, я,
Будет благовест ночью чудиться,
Вновь на Волгу с собой маня!

г. Москва



Татьяна ЛЕОНОВА

Татьяна Леонова пишет стихи, песни и музыку к текстам песен. Член Союза писателей России. Печатала стихи в газете «Московский литератор», в альманахах «Академия поэзии», «Золотая строка Московии», «Они победили фашизм» и других изданиях. Автор поэтических сборников «Порою дивною...» (2002) и «Расписалась осень позолотой...» (2005).

* * *

Осень с ветром ворковала
На пригорке под дождем
И без устали болтала
О житейском, о своем...

Птицы слушали охотно
Их пустую болтовню,
И глазели беззаботно
На жучка, что полз по пню.

Вскоре стая загалдела:
Стал им скучен «диалог».
Крыльев взмах — и полетела,
Путь в соседний лес пролег.

Листья, дождиком прибиты,
Распластались по земле.
Солнечные дни забыты —
Смыты краски в октябре...

* * *

Вот поэмка промчалась,
Припушила снега.
Там, где мы целовались,
Поселилась пурга.

Подбоченившись, ели
Одиноко стоят,
И душевные трели
В эту пору молчат.

Припорошенный снегом,
След уносится вдаль
И, захваченный бегом,
Разметает печаль.

Скоро время настанет
Молодых глухарей,
Снег пушистый растает,
Запоет соловей...

И мы снова вернемся
В заповедный наш лес,
Где любви мы напьемся
С родниковых небес.

г. Москва


Татьяна ЧЕГЛОВА

Татьяна Чеглова — член Московской городской организации Союза писателей России. Родилась в Москве. Окончила Всесоюзный заочный политехнический институт, Университет рабкоров, СПТУ № 176, где получила художественное образование.

Печаталась в газетах «Российский писатель», «Московский литератор». Публиковалась в альманахах «Литературная Республика», в сборниках «Цветаевские костры» и других изданиях.

Русская гармонь

*А гармонь зовет куда-то,
Далеко, легко ведет...*

А. Твардовский

1.

Сбегала крыша над домишком,
Скользил по ней упавший лист,
А на скамеечке, поникший,
Сидел с гармонью гармонист.

В глазах тоска, в душе тревога,
Прошел с гармонью долгий путь,
С годами тяжелей дорога,
Пора, пожалуй, отдохнуть.

Гармонь трехрядная скучала,
Мехи устали грусть терпеть.
Гармонь уставшая мечтала,
Вдохнувши, песню вновь запеть.

2.

И плыли тени над домишком,
Тонуло солнце в небесах.
И гармонист казался лишним —
Молчит гармонь в его руках...

Но пальцы взлетели смело,
Рванув басы во весь опор,
Что даже солнце оробело,
Лучами обхватив простор!

Тут закружило песню поле,
Что усидел игрок едва.
И эхом вторило приволье:
Жива гармонь! Еще жива!

г. Москва



Ирина ЩЕРБИНА

Ирина Щербина — член Московской городской организации Союза писателей России. Печаталась в альманахах «Поэты Москвы и России», «Славянские встречи», «Православная лира» и других. Публиковалась в журналах «Московский вестник», «Великороссь», «Поэзия», в газете «Московский литератор».

* * *

Свободна! И небо зовет...
Легаю!
Обиду, как пыльный налет,
Сметаю.

Кружить над вчерашней судьбой
Не буду,
Обман твой — капкан золотой —
Забуду.

Когда-то нам звезды покой
Дарили.
Вдвоем над унылой землей
Парили.

Желаю тебе, птицелов,
Удачи!
Не нужно беспомощных слов...
Я плачу...

* * *

Что денник, что западня,
Все равно — неволя.
Не томи, пастух, коня,
Пусть несется в поле.

Там раскинется над ним
Ночь шатром гигантским,
Заклубится сизый дым
Ввысь костром цыганским.

Мне ль гнедого провожать,
Выть по-деревенски?
Век бежать — не убежать
От тоски вселенской,

Струн гитарных голоса
Слушать — не дослушать...
На свободу в небеса
Отпускаю душу!

г. Москва


Марина НОВИКОВА

Марина Новикова родилась в 1984 году в Москве. Окончила Государственный университет управления по специальностям «национальная экономика» и «юриспруденция». Автор книг «Волны ржи» (2007) и «Малиновый звон» (2011). Член Союза писателей-переводчиков, член Московской городской организации Союза писателей России. Печаталась в альманахе «Протуберанцы», журнале «Российский колокол», газетах «Сокол» и «Московский литератор». Живет в Москве.

Бабушке

Помню тихую музыку слов,
Тех, что ты мне всегда говорила,
Опускался вечерний покров,
И луна все поля осветила.

Помню, как накрывала гроза
Тишь далеких лугов и просторов,
По стеклу дождевая слеза,
Эхо дальних раскатистых громов.

Помню, как осветила во мгле
Мне дорогу луна, и едва ли,
Чтоб по всей среднерусской земле
Так поля перезвоном шептали.

Мне звенели луга, помню я,
Как летели они мне навстречу,
Улыбалась святая земля,
Убегали дороги все в вечность.

Возвращаюсь, за мною закат —
Он ложится почти мне на плечи,
Луг вечерним покровом объят,
Небо вновь зажигает все свечи.

И рассказ твой вновь слушаю я,
И ты скажешь, что Петр и Павел
Час забрал, и что скоро Илья
Унесет, что апостол оставил.

Малиновый звон

Разливался малиновый звон,
Золотился малиновый день,
И закат был весной опьянен,
От берез шла далекая тень.

Дивный край мой! Далекие дали!
Снова вижу я вас в своих снах,
Где-то птицы высоко взлетали,
Где-то ветер терялся в лесах.

Гром звенел — будто посохом Божьим
Ударял он небесный простор,
И раскаты аккордом тревожным
Начинали с ним свой разговор.

Май мой дивный! Июнь благодатный!
Вспоминаю я юность свою —
И тогда полосой необъятной
Представляла свою колею.

Мне казалось, что дивные дали
Все историю пишут свою,
Встретят радость, проводят печали,
Поменяют закат на зарю.

И хочу я, пусть мне улыбнется
В дивном золоте дальняя даль,
Песней в сердце она отзовется
И уйдет из души вся печаль.

Звон малиновый! Праздничным светом
Наполняешь ты души людей,
Кто живет по библейским заветам —
Эти судьбы вновь станут светлей.

г. Москва



Олег СЕВРЮКОВ

Олег Севрюков — поэт, член Союза писателей России, Академии российской литературы. Живет и работает в Москве.

Маршрут Канары — Нара

Тары-бары-растабары,
Друг отчалил на Канары.
Говорит, мол, на Канарах
Хорошо —
Он любовь свою к природе
Там нашел!
Хорошо
Лежать под пальмой,
Есть бананы, нюхать мальвы,
Хорошо!
Ни мошки нет, ни москитов,
Раз — кокосы, два мохито,
И еще!

Тары-бары-растабары,
Не хочу я на Канары!
Я простой и грешный русский
Человек

И прожить хочу в России
Весь свой век!
Потому как мне и дома
Хорошо!
Что Мадейры и Канары!
Здесь портвейн и речка Нара,
Я любовь свою и счастье
Здесь нашел!

Здесь отцы мои и деды,
Пораженья и победы,
Горе, радости и беды...
Лучше нет,
Прихватив жену и дочку,
На рыбалку двинуть в ночь
Под рассвет.
Да в шалаш на речку Нару,
Да жене поддать там жару —
Хорошо!

С другом выпить понемножку
Под Луну и на дорожку,
Есть печеную картошку —
Хорошо!

Тары-бары-растабары,
Что Канары?

Те же нары,
Лишь с банановой похлебкой —
Апельсиновой водкой,
Вот и все!

Нехорошо...

г. Москва



Зулкар ХАСАНОВ

Я, Зулкар Хасанов, родился в 1931 году в татарской деревне Султанмуратово, что на Южном Урале, в Башкирии. Военного лихолетья хлебнул сполна, как и многие мои сверстники. В 1949 году поступил в Саратовский нефтяной техникум на отделение «Транспорт и хранение нефти и газа». Со второго курса призвали в армию. Прослужил в морских пограничных частях на Тихом океане пять лет. После службы окончил техникум, работал на Салаватской нефтебазе механиком. В 1966 году меня назначили главным инженером Калужской нефтебазы, где проработал около десяти лет, затем трудился в СКБ и в ОАСУП Калужского турбинного завода.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

1.
Зимнее утро.
Легкий морозец на улице, опять выпал снежок-пушок. Евгения Федоровна, хозяйка дома, с питательной маской неизвестного свойства на лице, хлопчет на кухне.

— Ба, Женя, тебя не узнать! — мило улыбается жене Виктор. — Чем же ты вымазала лицо?

— Не скажу, это тебе не обязательно знать, мой дорогой, это женский секрет.

— Вот как, ладно, ладно. Если это твой секрет, держи его при себе.

— Витя! Ты сегодня выходил на улицу? Смотри, день-то какой! Любит тебя боженька! Ты счастливый! Не всем даруется

такой день по случаю дня рождения. Думаю, что много снега — это богатство, к урожаю.

— Дал бы Бог! Да только загад не всегда бывает богат. Женечка, поживем — увидим. Сегодня у нас очень ответственный день: надо нам подготовиться, встретить гостей и хорошо отпраздновать мой день рождения, как бы чего не упустить. Не забыли ли кого пригласить?

— Не забыли, не забыли! Не беспокойся. Хотя я не очень бы переживала, если бы ты не пригласил своего агронома — алкоголика, горемычного.

— Женя, выйду во двор, посмотрю, как там Пеструха, скоро должна отелиться. Как бы нам не упустить время появления новорожденного, ведь может задохнуться, замерзнуть.

— Не волнуйся, за коровой я наблюдаю. Корова в норме. Разве ты забыл, что нам рассказывал колхозный зоотехник?

— Не помню, Женя! Мои заботы — это ведь прежде всего думы о своей фирме. Ты ведь знаешь, что хозяйство большое, за всеми нужен глаз да глаз.

— Эх ты, муженек мой, муженек! Или память у тебя стала девичья? Перед предстоящим отелом, как правило, корова оглядывается на живот, ведет себя беспокойно, обнюхивает подстилку, часто ложится и встает. Надо бы знать тебе об этом. Наверное, память твоя ослабла. Все будет хорошо, Витя! Справимся! Оденься да заправь рубашку в брюки, что ты ходишь, как босяк, словно ты не хозяин.

— Женя! Я же дома, а не в офисе. Дома я не частный предприниматель, а твой любимый муженек. Или не так?

Виктор, оглядев свою пышногрудую красавицу, обнял ее

и, прижав к себе, крепко поцеловал.

— А в молодости все скромничал, ты мой красавец, — игриво, с чувством, заявила подруга жизни. — А я тебя очень сильно любила и люблю! Вот так бы любил меня в молодости, как сейчас, — озорно поглядев на мужа, заметила Женя.

— Я тогда еще не умел косить траву косой, потому и ходил вокруг тебя колбасой, — улыбаясь, заметил Витя.

— Ну ты у меня и хитрец!

Зимнее утро. У Виктора Александровича Скворцова, предпринимателя фирмы «Боже сохрани», сегодня юбилей: сорок лет в обед. Он человек набожный, старается всем помочь, убажить. Человек уважаемый, известный во всем регионе. По урожайности зерновых и по надоям молока фирма впереди всей округи. Сегодня день суетный, хлопот много, скоро соберутся гости. В доме всем места хватит. Дом большой, благоустроенный, территория усадьбы фермера огорожена, двор убран и хорошо ухожен, на загляденье всем сельчанам.

К вечеру стали собираться гости, душистые, пушистые, приветливые и счастливые. Родственники, уважаемые фермером его работники, известные люди из сельской интеллигенции. Праздничный стол загружен и запружен до упора, негде и мухе сесть. Гости расселись.

Наконец, освободившись от кухонных забот, озаренная широкой улыбкой, появилась хозяйка дома Евгения Федоровна, красивая блондинка в цветастом шелковом платье с глубоким вырезом на груди. Она села рядом с мужем. Несмотря на городские манеры, в поведении Евгения Федоровна присутствовали

деревенская забавная простота, сочетаемая иногда с неуважением и непримиримостью даже к близким людям, если они порочили ее или ее мужа.

— Дорогие гости! — окинув широким взглядом гостей, начала с торжественностью Евгения Федоровна. — Сегодня Виктору Александровичу сорок лет — хорошая дата для нашей семьи. Разрешите мне первой поздравить его. Прошли мы с ним долгий, непростой путь в двадцать лет, были радости и горести, но все-таки мы их преодолели. Спасибо вам, дорогие гости, что вы, его товарищи, друзья, помогаете ему превозмогать бури и штормы сельхозпроизводителя. Желаю Виктору Александровичу здоровья, добра и счастья на многие годы! — С придыханием, дав привычную волю слезам, Евгения Федоровна подняла бокал с шампанским.

— Горько, горько! — дружно заголосили гости.

Виктор Александрович и Евгения Федоровна, поднявшись со стульев, крепко обнялись и поцеловались. Гости захлопали. Степенно сели каждый на свое место и принялись за трапезу.

Директор местной школы Иван Федорович Андрейкин, известный в деревне человек, поправив свой галстук, с серьезным видом, слегка кашлянув, продолжил:

— Присоединяюсь к поздравлениям, желаю здоровья, добра и счастья Виктору Александровичу, его семье и, конечно, фирме. Он хороший хозяин, дай бог ему силы, мудрости, чтобы он не истратился на пустячные дела. Почаще заходите в школу, посмотрите, какой жизнью живет она, как дети учатся. Мы всегда помним дорогого именинника: он помогает нашей школе делать

ремонт и оказывает бесплатно и другие услуги. Очень надеюсь, что и в будущем он нам в помощи не откажет.

Поздравили Виктора Александровича все гости, много было подарков. Уже выпили изрядное количество вина и самогона. Гости веселые и в хорошем настроении. Перепели все песни, какие знали. А шумная, азартная и искрометная пляска привлекла даже соседку. Аполлиария Валерьевна пришла узнать (уж характер ее таков, ей надо донести до начальства, если вдруг что), нет ли случаев здесь драки, так как ее собака Демон стала лаять очень громко. Она всегда извещала соседей, власти, чтобы знали обо всех происходящих событиях в деревне.

Аполлиария Валерьевна ничего криминального не нашла и ушла восвояси. Виктор Александрович, несмотря на то, что выпил за вечер предостаточно, выглядел хорошо, только щеки покраснели да пробежала усталость на глаза.

Агроном фирмы Борис Владимирович Петров и его жена Мария Николаевна сидели, несколько уединившись от именинника, так как по жизни не всегда понимали друг друга. Виктор Александрович старался помочь ему освободиться от зеленого змея.

Петров любил гулять по разным случаям, как это бывает у алкоголиков. Сейчас он сидел чинно-благородно, с опаской поглядывая на жену предпринимателя, Евгению Федоровну, боялся, что она опять может, не церемонясь, сказать в его адрес неблагодарственную речь. Евгения Федоровна не раз стыдила, можно сказать, даже срамила прилюдно мужа Марии Николаевны, мол, нельзя себя так

вести деревенскому интеллигенту.

Борис Владимирович собирався затеять песню «По диким степям Забайкалья, где золото...» — и запнулся.

— Какое тебе «золото», несчастный ты мой, родной. — Его жена, Мария Николаевна, женщина, которой палец в рот не клади, стащила с его груди домашнюю красивую салфетку с вышитыми цветными узорами и вытерла ему щеки, измазанные майонезом.

— Мать, что же ты делаешь, не даешь мне спеть песню.

— То же мне певец, слепец! Не срами меня на людях своей неряшливостью.

— Будет, будет, — продолжил Борис Владимирович. — Сегодня мы отмечаем день рождения уважаемого и любимого моего друга Виктора Александровича.

— Не ерничайте, Борис Владимирович. Не такой уж он любимый для вас друг, — сказала жена предпринимателя Евгения Федоровна. — Вы же хорошо знаете, что Виктор Александрович требовательный хозяин. Он хочет, чтобы его подчиненные на работе и дома показывали пример для селян. Вы же деревенский интеллигент, должны служить примером для деревенской молодежи. А его замечания вас обижают. Это вам не нравится, вы дуетесь. Потом вместе с деревенскими «друзьями» шаромыгами промываете косточки моему мужу, ищите у них поддержку. Негоже мне бы это и знать. Только вы достали Виктора Александровича своим слабоволием, тягой к спиртному. Мой муж не хочет выносить сор из избы, вот и терпит.

— Ах ты, зараза, ваше благородие, еще будешь срамить моего мужа при всем наро-

де! Я этого так не оставлю. Ты красивая женщина, но только, как хорошая книга, всегда потрепана, посмотрела бы на себя, — прошипела Мария Николаевна.

«У бабы волос длинный, а язык еще длинней», — прошептал Виктор Александрович. И вслух добавил:

— Евгения, прекрати, пожалуйста, вести разговор о наших взаимоотношениях. Не твое это дело, и сегодня не тот случай, когда нужно затевать такие разговоры.

— Да, конечно, не мое дело, а лечить тебя после ваших обоюдных нервотрепок — мое дело. Помнишь, ты мне жаловался, что весной в посевную пору агроном недосмотрел за качеством сева, и многие гектары остались незасеянными, хотя поля были вспаханы. Это как называется?

— Да болел он, праздники были, что, он не имеет права болеть? — язвительно вступилась за мужа жена агронома. — Ты думаешь, Борис Владимирович не переживал? Он сам лежал на незасеянном пшеничном поле и обливался горькими слезами, рыдал по-мужицки, загребая окочневшими пальцами рук землю под себя.

— Рыдал-то он не от того, что не засеяли поле, он был пьян, как рыбак после хорошего улова, — злобно заметила жена именинника.

— Ну, разошлись бабы, дай им волю, они разденутся при всем народе, ну народец. Хватит выяснять отношения. Собрались сегодня посидеть, повеселиться. Видите, из-за вашего разговора даже гости погрустнели.

«Вам бы юбки снять и штаны носить», — про себя проворчал Виктор Александрович.

Ситуация накалялась. Мария Николаевна была крайне возбуждена. Резко замахнувшись правой рукой, дала своему мужу громкую пощечину и, взяв его под руки, потащила к выходу. Уязвленная и оскорбленная поведением хозяйки пара отправилась восвояси домой.

2.

После неприятной паузы гости оживились. Прошел шепоток в компании, который прервал покрасневший в лице именинник.

— Ну-ка, Василиса Никифоровна, давай-ка споем нашу русскую задушевную фронтовую песню «Катюша»! — как можно ласковее сказал он.

Гости оживились, и зазвела прекрасная русская пес-

ня в устах Василисы, заведующей фермой дойных коров.

— Друзья мои, — заключил директор школы Иван Федорович Андрейкин, — давайте не ссориться.

И негромко, очень душевно и выразительно спел последний куплет песни Булата Окуджавы «Пожелание друзьям»: «Давайте понимать друг друга с полуслова, чтоб, ошибившись раз, не ошибиться снова...» Выдержав паузу и с нежной улыбкой поглядев в сторону жены председателя, закончил куплет: «Давайте жить, во всем друг другу потакая, тем более что жизнь короткая такая».

Душевную песню все слушали тихо, но настроение у компании после перепалки испортилось. Завуч школы Ирина

Владимировна, человек весьма интеллигентный, заметила:

— Не думала, что на таком торжественном мероприятии встречу с такой непристойностью и хамством. Я разочарована. Ложкой дегтя испортили бочку меда фельдфебели в юбке, — с обидой сказала и вышла, а за ней потянулись остальные.

Виктор Александрович стоял у двери и прощался с каждым гостем, а Евгения Федоровна испытывала тягостные чувства перед мужем и гостями и тихо просила прощения у гостей, то и дело протирая мокрые глаза платком...

Как всегда, начали за здравие, а кончили за упокой!

г. Калуга



Тамара АЛЕКСЕЕВА

Член Союза российских писателей, член Союза журналистов России. Член-корреспондент Академии российской словесности.

Лауреат Литературной премии имени А. П. Чехова, премии литературного журнала «Петровский мост». Публиковалась в рижском журнале «Настоящее время» и канадском «Порт-Фолио».

Замужем, воспитывает сына и дочь. Генеральный директор производства «Липецкие сувениры». Автор романов «Исповедь русской грешницы, или Как заработать деньги в России», «Игровая зависимость, или История одной любви», сборника рассказов «Весенний шабаш».

Официальный сайт — alekseevatamara.ru.

Рисунок автора

ИГРОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ, ИЛИ ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЛЮБВИ

*Всем женщинам с разным цветом кожи посвящаю я свой плач в надежде,
что хоть один его звук достигнет сокровенного дома...*

ПРОЛОГ

Я никогда не интересовалась игровой зависимостью. Я видела игровые автоматы, расставленные по всему городу, видела оживленные кучки людей, вращающиеся вокруг них, как спицы вокруг блистающей оси. Время от времени слышала, что кто-то проигрался и остался на улице без денег и жилья, кто-то покончил с собой или умер от передозировки наркотиков.

Но это не трогало мое сердце: так, мельком посмотрев на ночь ужастики, мы безмятежно засыпаем в своем уютном и безопасном мире. Это как мысли о смерти, мы знаем: она есть, но где-то далеко, только у чужих...

Я так жила, мы все так живем. Пока беда без стука, не спрашивая разрешения, распахнула двери моего дома. И все не-возвратно изменилось...

Как в дом приносят новорожденного и ему незамедлительно подчиняется весь ритм жизни, так и с бедой — меняются мысли, чувства, планы и надежды...

Вы когда-нибудь плакали от бессилия что-либо изменить в этом мраке, наполнившим дом? Вы когда-нибудь испытывали полную безнадежность этой борьбы — за своего возлюбленного или

ребенка — с демоном игромании? И разве это не общий демон одержимых наркотиками и алкоголем, любой непреодолимой страсти?

И разве не хитер он, не коварен и изворотлив? Разве с запретом игровых автоматов не просочился он в ваши дома, как просачивается дождь в землю?

Разве, усыпив материнский инстинкт, не столкнул взрослых и детей в этот чужой, игрушечный и бессмысленный компьютерный мир, в котором оскверняется все самое прекрасное, чахнет и гибнет все самое лучшее, ради чего рождаются на земле люди?

Всем своим обострившимся чутьем — матери погибающего сына — я почувствовала это опустошение, это невосвратно потерянное время: будто невидимый удав, поздно вечером просунув свою прозрачную голову в тот или иной зал, в тот или иной дом, медленным и отточенным движением ноздрей втягивает свою дань, наполняя людей еще большим безумием и одержимостью. И весь мир, проклятый небесами, блистает всеми цветами этого безбожного пространства, блистает и беснуется...

Я увидела множество детей, бредущих по земле, замкнувшихся в себе, но распахнувших потайную дверь сердца в игровой зал, где им светят зеленые, красные и синие огни этого гибельного мира, прыгают и скалят зубы мертвые обезьянки, гремят кнопки, звенят монеты.

Я нашла эту магическую кнопку, эту неистощимую тему, оживляющую играющих кукол — это была неутолимая жажда сорвать один крупный куш, когда сыпется и сыпется *твой* золотой дождь, когда на глазах растет *твоя* гора золотых монет, когда весь зал рас-

ширяется до невообразимых широт и вся толпа видит и слышит *твой* триумф...

Я, мать игромана, услышала ее, эту дьявольскую считалочку всех игроков, услышала и поняла — демон не знает ни жалости, ни пощады.

Разве мы, матери или возлюбленные, выбираем эту страшную судьбу? В этой горькой исповеди я хочу рассказать свою личную историю, ведь каждая достойна внимания хотя бы потому, что она неповторима...

ГЛАВА 1. ПОИСКИ РУКОПИСИ

Давно я не ездила в поездах. Пошли уже вторые сутки моего отчаянного путешествия. Ночью я не спала, прижавшись к стеклу, смотрела в непроглядную тьму. Мрак, мерцающий фиолетовыми и темно-синими пятнами, втягивал меня в еще большее одиночество, в еще большую безысходность. Мелькали, приседая, голые деревья, подпрыгивали кусты, скакали белые камни. Порой я видела совсем фантастические пейзажи — высокие тени людей, причудливые замки. Но стоило мне всмотреться как следует — все исчезало. Вероятно, это было следствием длительной бессонницы. Как же ныл поезд, как он стонал и скулил, скрежетал своим железным телом, будто живой! Звук был то отчетливый и резкий, будто резали по металлу, то глухой и монотонный, уводящий в забвение...

Время от времени я украдкой поглядывала на спящих — женщину и ее взрослого сына. Ничто не тревожило их безмятежного и сладкого сна — ни резкие звуки свистков, ни шум и грохот, ни сильные, похожие на

выстрелы, щелчки перед останками на многочисленных станциях. В странном, завистливом оцепенении смотрела я на ее лицо, бесхитрое и открытое, на темно-русые волосы, рассыпанные по подушке, румяные от избытка здоровья губы. Я вдыхала тягучий, будто с далеких лугов, запах скошенной травы. Сон ее был так прост и тих, как гладкая поверхность лесного озера. Спящей она казалась моложе, под редкими вспышками фонарей округлые плечи и щеки светились, как спелые яблоки из темной травы. Сыну было примерно столько, сколько и моему — лет двадцать. Он был такой юный: припухлые щеки, едва тронутые мягким пушком, алый румянец, воробьиный запах волос; чмокнув губами, он что-то забормотал и перевернулся к стене. Они были просты и открыты, как дома беспечных хозяев, их будто нарочно посадили ко мне — этих счастливых людей, ехавших к родственникам на свадьбу: женился племянник моей попутчицы.

Утром не было покоя от ее радостных разговоров, в предвкушении предстоящего праздника она вся сияла и блестела — молочной кожей, маленькими темно-голубыми глазами, пушистыми волосами, в которых сверкали капли воды. Шумно и долго, как утка в корыте, она плескалась в туалете и так же шумно вошла, широко раздвигая тугие двери своими белыми ловкими руками, пахнувшая свежим мылом, невообразимо сладкими духами — она, наверное, вылила на себя целый пузырек. Я угрюмо смотрела на ее низкий лоб, губы, не тронутые помадой, пальцы с коротко остриженными ногтями, не знавшие

лака и дорогих перстней, — ночью она была гораздо милостивей. Она сидела в ярко-оранжевом байковом халате, как кукла, — круглая, большая и румяная; грызла семечки, громко и с наслаждением пила чай, закусывая хрустящими вафлями с нежно-белой прослойкой. Я ежилась от ее простодушного взгляда, от лютой, животной ненависти, которая наполняла мою пустоту. Я ей отчаянно завидовала...

Мария (так звали мою попутчицу) всю дорогу, не переставая, нахваливала своего сына, и видно было, с каким удовольствием для них обоих она это делала. Он-то и работающий, и умница, а уж как мамку-то любит! Я переводила взгляд на немного туповатое, но дружелюбное лицо парня, на его низко посаженные, невыразительные глаза, жидкие пряди волос, и мстительно думала о том, что при другом раскладе судьбы он, вероятно, стал бы преступником. Было что-то неуловимое в его глазах, какой-то смутный, приглушенно-янтарный блеск. И если фигура матери, несмотря на полноту, сохранила девичий аромат добродетели, то сын представлял собой полную противоположность, он был одна шалава готовность сорваться в любое опасное приключение, этот спящий звереныш уже пах дымом и свободой. Исподтишка ловя ее взгляд, устремленный на сына, озаряющий вокруг него пространство, хранящий от всякой беды, я отворачивалась к окну, не в силах сглотнуть комок, застрявший в горле. Она была нужна ему, эта мать, с трогательным восхищением глядевшая на него...

Сидя напротив своих попутчиков, я как бы раздваивалась: часть меня сжималась под их

легкими взглядами и обычными между незнакомыми людьми вопросами, другая — с готовностью вовлекалась в эту поверхностную и незамысловатую болтовню, отвлекающую от томительных мыслей. Когда Мария замолкала и переводила свои яркие, как терновые ягоды, глаза в окно и с таким же восхитительным и неподдельным вниманием следила за пробегающими домами, я облегченно вздыхала и тут же наполнялась тревогой, как глубокий след в топком лесу наполняется зеленой водой.

В дверь вошла проводница. В руках у нее были два стакана с чаем. Не помню, неужели я просила? Нет, это мои попутчики. И с каким же радостным и вкусным восторгом они звучно прихлебывали этот чай, лакомились душистыми булками, хрустящими вафлями, ванильным печеньем. Я видела, с каким удовольствием держала Мария железный подстаканник, с каким оживлением бросала в кипяток кубики сахара и размешивала их ложечкой... Я наблюдала за ней — так, вытянув из кустов морды, следят за нашим поездом звери. Уверенностью и силой была наполнена эта мать, уверенностью в себе, в своем сыне. «Все будет так, как надо» — чудилось мне в высоко уложенных густых волосах, в маленьком упрямом подбородке, даже в своевольном повороте белой и полной шеи. Каким звонким смехом наполняла она небольшое пространство купе, переодевшись утром в шелковое вишневое платье с воланами и оборками, еще больше полнившее ее фигуру! Сын вторил ей хриплым баском, как щуплый теленок. Сидя на лавке и облокотившись на сына, Мария натягивала на широкие

ступни новенькие лакированные лодочки. Только руки ее, особенно пальцы, были будто от другой женщины — короткие и шершавые, огрубевшие от работы, с некрасивым шрамом на ладони от давней травмы.

Далекая, непонятная жизнь, наполненная своими печальми и радостями. Такие разные — во всех смыслах, они все же были единым целым, светлым и ясным, как купол неба, теплым и славным, как добрые мысли. Сколько же душистого и крепкого чая они выпили? Как блаженно улыбались, щурясь от сытой еды! Пряди волос Марии намокли и прилипли к горящим щекам... Разве я не хотела жить в таком же мире радости? Не потому ли я так долго и напряженно слежу за ней, как голодная волчица смотрит на недоступный и надежно защищенный сарай, из всех щелей которого идут невообразимые запахи? Хочу отыскать ту священную связку ключей — к этому простому счастью?

Простыня и пододеяльник были сыроваты и пахли хлоркой. Я с наслаждением вытянула ноги, хотелось спать. Погас свет... Но меня не проведешь — я знала, насколько обманчиво это состояние. Минут через двадцать наступит полное отрезвление — и сна как не бывало. Ворочаясь с боку на бок, я измотаю эту полку так, что к утру простыня с одеялом, измятые и скрученные жгутом, окажутся где угодно: повиснут на столе, вытянутся на полу. Я забыла взять в дорогу снотворное — это было непростительной ошибкой. Лучше искусственный сон, чем его полное отсутствие. После снотворного тяжело проснуться, сознание возвращается с трудом, выплываешь, как из-под

наркоза. Почему-то в поезде резче ощущается бесконечная, как дорога в полях, собственная вина. В обычной жизни все сглаживается суетой, ненужными действиями и разговорами. Одиночества не видно, как не видно камней на дне пруда. Куда я ехала? Разве можно убежать от себя?

Я хочу превратиться... Закрывая глаза, будто погружаешься на самое дно... Я хочу превратиться в один из этих камней...

Утром всегда легче, утром всегда светлей. Каким бы утомительным ни был мой сон, он утолил мою боль, ослабил хватку тоски. У меня была своя цель, своя мечта. Ухватившись за нее, как за прочную ветвь, я постепенно вылезала из трясины, в которой почти исчезла, почти растаяла. Как я посмела так погрузиться в нее, довести себя до полного умопомрачения! Приняла ее за мягкое крыло, в которое птица на ночь прячет свою голову? Разве мой поиск не увенчается успехом? Я призывала свои жизненные силы, я заклинала их наполнить меня — так приманивают дождь в самую сильную засуху. Я подбадривала себя и постепенно наполнялась уверенностью, как утро разгорается голосами птиц и солнцем...

Так я думала и так действовала — в то далекое утро, в самом начале своего странствия. Я еще не превратилась в зачарованную путницу, еще не закружилась по пыльным дорогам и площадям, не ослабела в своей надежде найти спасительный выход из своей беды...

Странное дело, почему-то именно в тот момент я, полностью слившаяся с толпой, уверенно и бодро летящая по перрону, привлекла вни-



мание милиции. Прилично одетая — в строгую черную юбку и белую шелковую блузку, спокойно, с напористой веселостью я спрашивала в киоске вокзала газету, когда меня потянул за руку молоденький лейтенант милиции. Он был худенький и интеллигентный, в очках, со слегка оттопыренными ушами. Я улыбнулась, произнесла какие-то слова и пошла за ним. Мысль, что лучше бы мне не попадаться, дошла до моего сознания слишком поздно. Одного задержания мне было вполне достаточно — я больше

не повторю своей ошибки и научусь врать. Невразумительно и долго, то и дело озираясь по сторонам и поправляя волосы, я сбивчиво рассказывала о том, что ищу одного священника, зовут его отец Владимир — вот и все, что я о нем знала. Но он мне непременно нужен, видите ли, дело в том, что в книге, которая называлась «Игровая зависимость», не хватало листов, написал ее этот священник, а нашла я книгу в храме.

Меня слушали очень внимательно, почти не перебивая. И в

конце ясно и точно, словно контрольный выстрел в сердце, мне был задан простой вопрос:

— А зачем вам нужно окончание книги «Игровая зависимость»?

— Мой сын — игроман, — еле слышно прошептала я. — И мне непременно нужно знать, что делать дальше...

— И что, в этой книге какие-то необыкновенные советы? Заклинания или особые молитвы? С чего вы решили, что эти несколько листов спасут вашего ребенка?

Будто раздетая догола под яркими вспышками ламп, я что-то судорожно лепетала и прикрывала руками глаза, пытаюсь защититься и спасти остатки последней веры.

Молодые ребята в форме, давно потеряв ко мне интерес, смеялись между собой, один из них — тот самый, что задержал меня и задавал вопросы, — громко повторял какое-то слово, и раздавался новый взрыв хохота. Рядом со мной, на широкой деревянной скамье за железной решеткой, сидела бездомная старуха. Своими непрерывными движениями она напоминала обезьянку: проворно скребла одной костлявой рукой другую, щелкая черными когтями, что-то вычесывала в волосах, ковыряла, стряхивала с грязных юбок, тихо и миролюбиво лопотала себе под нос.

Мне потребовалось огромное напряжение сил, чтобы вырваться на волю. У меня, в отличие от этой старухи, были деньги, ведь, готовясь к долгой дороге, я взяла отпускные за три месяца. Я работала учителем начальных классов, у меня были деньги, и я искала отца Владимира. Он мог обитать где угодно, он мог давно сгнить, может, даже имени такого не

существовало, это был лишь псевдоним. Тогда я никогда, никогда его не найду...

Книгу я обнаружила в церкви, когда покупала очередные молитвы за детей — тоненькую зеленую книжечку с золотыми буквами. И тут, когда я брала в руки сдачу, на долю секунды мне показалось, что я схожу с ума — поверху книг, свечей и бумажных икон небрежно, наискось, лежала рукопись, на которой крупными буквами было написано «Игровая зависимость».

— Скажите, пожалуйста, что это? — Я с таким жаром и отчаянием крикнула это старушке, стоявшей за прилавком, и так замахала руками над прилавком, что она взглянула на меня с нескрываемым удивлением.

— А-а, да это приходил священник, кажется, его звали отец Владимир. Он хотел напечатать в нашей типографии книгу, но она, во-первых, не нашей тематики, во-вторых, типография у нас временно не работает, мы сами, если что нужно напечатать, обращаемся в столицу. Я все это ему объяснила довольно обстоятельно, как сейчас вот вам рассказываю. А он даже не дослушал меня, неожиданно, даже резко повернулся и пошел к выходу. «Стойте! — крикнула я ему вслед. — А рукопись-то забыли!» Он махнул рукой, даже не обернувшись, — забирайте, мол, она мне больше не нужна. Станный такой был, взволнованный. Так больше и не пришел.

— Простите, я могу посмотреть? — тихо, глотая слюну, спросила я, заискивающе глядя на эту болтливую женщину.

При более внимательном взгляде я увидела кроткое лицо в темном платке, седые брови и пряди волос, глаза — то ли серые, то ли светло-го-

лубые, плотно сжатые, высохшие губы. Маленькой и тонкой фигуркой она была похожа на ребенка.

Продавая свой разнообразный церковный товар, она успевала метаться вдоль длинного деревянного прилавка, морщинистыми руками проворно выхватывать нужную вещь, терпеливо объяснять ее назначение покупателям и одновременно, какой-то частью души, удерживать в этом пространстве и меня.

— Забирайте, — махнула она рукой. — Все равно я хотела спрятать ее, не ровен час, отец Игорь заметит, он у нас строгий, вольностей не позволяет. А тут — название какое-то, непонятно. Да и смотрят все, истрепали.

Я взяла эту небольшую стопку листов, прижала к себе и почти бегом достигла двери. Нетерпение одолевало меня. Выйдя из храма, я уселась на первую попавшуюся скамью. Как же я перебирала их, эти драгоценные страницы, отпечатанные на компьютере мелким шрифтом! Так, вероятно, неизлечимый скупец в своем сумрачном замке пересчитывает денежные купюры. Так сладострастный близорукий старец перебирает на ощупь юных проституток — горячих и сухих, как атласные стволы берез, влажных и прохладных, как голубые ручьи, духовитых и лакомых, как куски светлого меда!

Рукопись была написана истинным игроком, это было видно с первой строки. Я поверила в нее сразу и безоглядно. Я глотала страницы торопливо, не жуя, как голодная собака. Ее писал человек, преодолевший эту пагубную страсть, он давал не просто дельные, а бесценные советы — самим игрокам и их близким.

Сколько же я понадела ошибок! Продолжая читать, я обхватывала голову руками, вскрикивала и, бросая листы, вскакивала со скамьи. Кружила вокруг нее, дрожала и трепетала, что-то испуганно шептала и всхлипывала и вновь кидалась читать — со стороны я, наверное, казалась безумной! Да так оно и было — с каждой строкой я обнаруживала все ничтожество и всю бессмысленность моих прежних попыток...

Впервые, когда я осознала несчастье, я металась, как слепая птица над своим раненым птенцом, неподвижно лежащим в траве. Я пыталась приподнять его своим крылом, ворошила клювом окровавленные перышки на голове — но все, все было напрасно. Рана была слишком глубока, я упустила время, когда кровь просачивалась в землю. В бессильной ярости, от полной безнадежности, не жалея себя, я мчалась за ветром, от ветра металась к дождю, от дождя снова припадала к земле, в зверином ужасе своем, отвергая любовь, клевала его вялую головку, она болталась из стороны в сторону, как ватная. Мой птенец медленно угасал, его сердце отвергало саму жизнь, все в ней, что не было связано с игрой...

Я все поправлю, говорила я сама себе, глотая слезы и снова и снова повторяя эти слова как заклинания, когда медленно возвращалась домой. К чему было надрывать душу? Я вытирала мокрое лицо, листья кружились и падали под ноги — красные, желтые, вишневые. Я все поправлю...

Рукопись напоминала памятку или инструкцию. В ней почти не было элементов художественности, да и к чему они мне?

Я перечитывала ее каждый день и пыталась действовать по-другому...

ГЛАВА 2. «ИГРОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ» (РУКОПИСЬ ОТЦА ВЛАДИМИРА)

«Как-то, после очередного проигрыша, я обсуждал произошедшее со своим приятелем. Я ему рассказывал, что в какой-то момент стоял в хорошем выигрыше, чувствовал, что надо соскочить, но продолжал играть. Автомат словно переключилось — он стал тупо “жрать”. В итоге я проиграл довольно внушительную и необходимую мне сумму денег. В этот момент к нам подошел общий знакомый, мужчина лет пятидесяти. Уяснив ситуацию, он во всем обвинил меня. Он сказал, что я сам виноват в том, что начисто проигрался. Он деловито советовал, мол, надо было деньги разделить на два кармашка: в один положить те, которые я ставлю на игру, а в другой — которые ставить не собираюсь, и как только проиграю те деньги, что в кармашке на игру, — надо уйти домой. Снисходительно похлопав меня по плечу, он зашагал по своим делам.

Я знал его, он не был игроком, и все, что связано с играми, было ему чуждо. Ярость перехватила мое горло, я хотел было догнать его и несколько раз стукнуть по голове. Крик неся ему вдогонку, мой безмолвный наболевший крик, будто из сотни ядовитых источников хлынула вода.

— Ты когда-нибудь заходил в казино с тремя кармашками? Чтобы в первом — небольшие деньги для развлечений, во втором — те, что ты отложил на покупку чего-то очень важного, а в третьем — лишь бы дотянуть до полочки?

— Помнишь ли ты выражение лиц твоих друзей, которые когда-то уважали тебя, а сейчас смотрят с таким презрением — как ты вымаливаешь, скуля, как щенок, выклянчиваешь, извиваясь змеей, деньги, чтобы отыграться, — когда проиграл все-все из всех карманов?!

— Помнишь ли ты, как без копейки, ненавидя и проклиная себя, возвращался домой, помнишь глаза жены?

— Помнишь, как близкие и родные стали избегать тебя и стали лгать тебе в ответ на твои просьбы?

— Помнишь, как за гроши продал машину?

— Помнишь, как ты был молод, талантлив, перспективен и счастлив? Глаза твоей женщины, в которых день за днем умирала любовь? Матери — еще живой, но уже пахнувшей смертью?

— Ты когда-нибудь плакал от бессилия? От того, что один, что проиграл свою молодость, удачу, имущество, а главное — что не в силах контролировать себя, что демон полностью подавил твою волю.

— Не помнишь?! Не знаешь — каково это?! Бьюсь об заклад — с тобой этого не было... Тогда какого черта ты раздаешь всем свои дешевые советы?! Какого черта ты приперся сюда?

Я не читал книги об игровой зависимости, тогда я не ждал для себя спасения. Но время от времени я наткнулся на них, одни брошюры были познавательны, другие писали несведущие люди. Никто из авторов не был по-настоящему одержим демоном азарта, никто не прошел вброд через эту бездну и мрак. С ожесточением я захопывал их и бросал обратно...

Так вот, я был там, парни, и знаю, насколько это тяжело. Борьба с этим демоном жестока — у меня до сих пор на кисти руки не заживают следы его зубов. У меня есть перед собой определенные обязательства — я хочу, чтобы тот, кто крепко попался, сумел побороть это зло...

Неважно, кто вы и по каким ставкам играете, какие суммы проигрываете. Важно другое: насколько игровая зависимость отравляет вам жизнь и мешает быть полноценным человеком, личностью. Игровая зависимость понимается мною как неспособность силы воли сдерживать свое желание играть в рулетку, на игровых автоматах и в другие виды игр в казино, делать ставки в букмекерских конторах, на скачках, играть на деньги в бильярд, карты, в любые азартные игры.

Сделаю смелое предположение, что мои советы будут полезны и людям, одержимым наркотиками, алкоголем и другими сильными страстями.

По отношению к игровой зависимости я делю людей на несколько категорий.

1. **Бесстрастные.** Можно выделить несколько типов этих людей и причины, почему они так холодны ко всем проявлением азарта. Прежде всего, это люди советской закалки. Тогда было другое время и другое сознание, азартные игры считались злом и пороком. Есть немало людей, которые так и проживают свою жизнь, не окунувшись хоть слегка, хотя бы немного, в одну из страстей. Для женщин это вполне допустимо, так как воспитание потомства — их приоритетная цель, а вот мужчины, которые, так или иначе, проживают серую жизнь, вызывают у меня подозрение.

Мне их поистине жаль. Назовем этот тип "серые". "Другие" — в эту категорию я отнесу людей, которые одержимы той или иной страстью, и она затмевает все желания. Фанатичное увлечение профессией, исследовательской деятельностью, религией — чем угодно, а также болезненные пристрастия — наркомания и алкоголизм. Если вы относитесь к этой категории, то книга будет, бесспорно, полезна — в том плане, что вы научитесь значительно лучше понимать людей, которые одержимы игровой страстью. Игромены сразу почувствуют, что вы хоть немного понимаете их, что готовы поддержать (не в смысле — дать денег на игру), ваши советы уже не будут так бесполезны, вы сможете найти общий язык и помочь этим людям.

2. **Чуть-чуть** — не считается. Это самая распространенная категория людей. Она охватывает более шестидесяти процентов россиян. Как говорится, все мы не без греха и ничто человеческое нам не чуждо. Человек "чуть-чуть" мог: вложить все свои сбережения в МММ и остаться банкротом, пойти в казино и проиграть всю получку, стать жертвой наперсточников на рынке, купить у красивой девушки на вокзале чайник неизвестной фирмы, цена которому — пятьсот рублей, за пять тысяч... В эту категорию попадают многие, кому хочется халявы, кто устал от серого быта и хочет праздника.

Но людям "чуть-чуть" нужно всего пару раз обжечься, чтобы потом всю жизнь обходить стороной все злчные места. Правда, часть людей из этой категории после того, как обожглась, может продолжать время от времени играть. В це-

лом эта категория находится далеко от зоны риска, но при стечении обстоятельств может в ней оказаться.

Вспоминаю случай. В студенческие годы я плотно сидел на автоматах и проигрывал все свои небольшие доходы. Как-то раз, 31 декабря, я рано встал, чтобы успеть купить подарки. Я осознавал, что не в силах себя контролировать, но не хотел окончательно падать в глазах своих близких. Я купил подарки и с оставшейся мелочью пошел в игровой зал. Вокруг одного автомата стояло трое ребят, двое из которых были типичной шпаной, мечтавшей превратить свой мятый полтинник в пару сотен и пойти побухать. Третий производил впечатление вполне приличного молодого человека, совершенно не вписывающегося в атмосферу игрового клуба. Поддавшись настойчивым уговорам друзей, он с сожалением достал свои деньги — пятьдесят рублей. Сыграв семь раз по пять рублей, он случайно ударил по кнопке "бет макс" и нажал на прокрутку. И тут один из его друзей закричал: "Королевский!" Все повскакивали со своих мест и окружили счастливец. Парень поймал "флеш-рояль" и получил двенадцать тысяч рублей. Это был его полный триумф! Многие в зале смотрели на него с завистью, парень с трудом сдерживал слезы счастья, когда он шел, его шатало. В тот момент я подумал: "Мне жаль тебя, парень". Через месяц я еле узнал его: охваченный безумием, трясущимися руками он пытался записать помятую десятку в игровой автомат.

Если вы или кто-то из ваших близких выиграл большую сумму, не пытайтесь ее отложить, дать в долг, положить на книжку. Это деньги самого Дьявола, которые он ссудил вам под

большие проценты, и лучшее, что вы можете сделать, — это немедленно их потратить, раздать, развеять по ветру всю сумму, без остатка, и молиться о спасении. Если выиграли вы, то проведите несколько часов самовнушения, убедите себя, выучите, как таблицу умножения, что это разовый подарок и не стоит испытывать судьбу. Если выиграл друг или сын, настаивайте на немедленной трате денег. Говорите и убеждайте, кто их дал.

3. Азартные. В эту категорию входят те, кто балансирует на грани. Как правило, это сексуальные и талантливые люди, которым Бог, в противовес способностям, дал очень опасного змея-искусителя. Эти люди могут быть звездами эстрады, преуспевающими бизнесменами, могут достичь успехов в своей профессиональной деятельности, а могут кончить жизнь очень плачевно, не сумев обуздать свою страсть к игре. В отличие от людей предыдущей категории, им недостаточно стукнуться головой о стену раз, два, десять, сто раз, недостаточно ультиматума жены, они не сдержат своего сотого обещания и в пылу азарта будут играть до последнего гроша. И все-таки азартные могут в той или иной степени контролировать свой азарт, они могут идти к своим достижениям, строить личную жизнь. Но достаточно одного неверного шага, чтобы очутиться в глубокой помойной яме, куда жизнь сбрасывает неудачников. Если близкий вам человек относится к азартным и доставляет вам массу хлопот, то пара советов не помешает.

Убедитесь, что этот человек уважает и ценит ваше мнение. Иногда это сложно опреде-

лить, и многие супруги и родители слишком переоценивают свое влияние. Постарайтесь добиться уважения и внимания, прежде чем пытаться воздействовать на человека.

Определите степень своего влияния — чем она ниже, тем более тонко, ненавязчиво и завуалированно вы должны действовать. Иначе вы рискуете потерять все, на вас поставят крест.

Если вы все же умудрились докатиться до такого положения вещей — ваш сын или возлюбленный больше не воспринимает вас, вы понаделали слишком много ошибок и слишком все запустили, — выход все же есть. Но об этом — в конце книги...

Когда близкий вам человек из категории азартных проигрался в казино или автоматах, чрезвычайно важно правильно себя повести. Поймите, что это, скорее всего, не последний раз, и ваша ругань, ультиматумы, угрозы не подействуют. Более того, такое поведение может повлечь за собой нежелательные последствия.

В подсознании азартных людей часто живет маленький, упрямый человечек, который делает все специально наоборот. Он не любит, когда ему навязывают свою волю, он сделает вид, что все понял, пообещает исправиться — и сделает все по-своему. Маленький человечек только и ждет, чтобы вы его презирали, ругали, угрожали. Это его подпитывает.

Тяжело и невыносимо, когда ваш супруг или сын проигрывает существенную часть семейного бюджета, проигрывает не в первый раз. Невозможно сохранить спокойствие, невозможно сделать вид, что ничего не произошло, но именно это и надо сделать. Маленький упрямый человечек никак не ожидает такой реакции и по-

теряет большую часть своей силы. Поэтому единственное, что вы можете продемонстрировать, — это потерю части вашего уважения.

Проигрыш даже большой суммы денег — поверьте, не самое страшное. Более того, это чепуха! Да, вы не ослышались — это все ерунда! "Не зато мать сына била..." Этот человек в шоке, он напуган, растерян, он в пылу азарта. И самое главное — он боится вас, боится ваших криков, вашего презрительного взгляда, ваших угроз, что вы выгоните его из дома или сами уйдете. Он занимает крупные суммы, пишет долговые расписки, закладывает в ломбард все ценное, может продать на месте машину. Если эти действия ему недоступны — может пойти на преступление. Возможно, я повторяюсь, но даже это говорит о многом, самое главное — он боится вас, боится ваших криков, вашего презрительного взгляда, его ранимая на данный момент психика может не выдержать, и вы можете потерять близкого человека. Стимулируете все малейшие его успехи и начинания, не связанные с азартными играми. Почаще хвалите его, провоцируйте на то, чтобы он пробовал себя в новых областях. Только так вы можете добиться следующих вещей: он будет уважать вас и прислушиваться к вам; в случае проигрыша он не будет делать непоправимые глупости, так как будет видеть в вас друга, а не палача; у него со временем появятся новые увлечения или девушка, которая сможет окончательно вытеснить из его жизни азартные игры.

Помните: сорвать все свое недовольство и злость на осту-

пившемся человеке легко, остаться спокойным — крайне сложно, почти невозможно... А как вы хотели? Вы же пытаетесь победить Дьявола...

4. Безнадежные. В эту категорию входят люди, которые серьезно зависимы от игры, у которых воля проигрывает раз за разом, эти люди теряют свое имущество, близких и себя. От этой болезни нет совета или спасения. Полностью излечиваются лишь единицы, статистика здесь хуже, чем у наркоманов. Скорее всего, страсть к азартным играм будет с вами навсегда, до самого последнего вдоха она будет отравлять вам жизнь. Не используя экстренных мер, без помощи близких, огромных усилий воли и четкого плана действий соскочить почти невозможно. Если вы решились дать бой демону прежде, чем он сожрет вас изнутри, я смогу посоветовать, как сражаться достойно.

Если болен дорогой вам человек, то попытайтесь оценить, какой у него запас энергии и силы воли. Способен ли он начать самостоятельное исцеление? Сразу дайте точный ответ на этот вопрос. Если вы будете давать умные советы, то он поймет, что вы его лечите, и замкнется. Если он не читает эту книгу самостоятельно, то вам придется играть роль доктора. До первых серьезных сдвигов факт существования рукописи придется держать в секрете.

5. Конченные. Даже не знаю, что тут писать. У безнадежных хотя бы есть малый запас морально-волевых качеств, они способны время от времени огрызаться, делать попытки, пусть жалкие, побороть свою страсть. У конченных все гораздо хуже, краски мира все больше и больше тускнеют. Секс,

еда, выпивка, семья, дети, дорогие машины — все в черных тонах, вас не мучают угрызения совести и ничего не интересуется, кроме игры. Вы — полчеловек, полживотное, как личность уже не существуете. Единственный шанс для этих игроков — перейти в категорию выше и от нее начать танцевать. Это непросто. Надо накопить хотя бы небольшой запас энергии и воли, чтобы действовать и сопротивляться. Найти хотя бы крошечную причину, по которой стоит жить и бороться. Просите близких записать вас в специализированный центр, где лечат игроманов, можно попробовать закодироваться или обратиться к психологу. Пройдя курс терапии, вы получите немного энергии и слегка восстановите силу воли. Для начала вполне достаточно, чтобы начать изучать данные советы...»

Воспоминания растревали и бередили рану, будто ее поливали уксусом. Куда бы я ни обращала свой взор, я будто хватала и раздвигала руками острые, как ножи, темно-свинцовые листья речной осоки — везде по этой мрачной воде невыносимо медленно проплывали одни взбухшие трупы...

Мой сын не был конченным, как ловкий канатоходец, он опасно балансировал между азартными и безнадежными. А может, я себя обманывала? Но ведь не сразу же он стал таким? Он погружался в этот мир медленно, как подбитые корабли уходят под воду. И, как выясняется, я делала все, чтобы он быстрее погрузился на дно! Пытаясь напугать, я выгоняла его из дома, грозилась уехать и никогда не вернуться, обвиняла, что он губит не только себя, но и меня, отца, кри-

чала на весь дом и обзывала безвольным, никчемным и слабым! Алеша давал мне тысячи обещаний — никогда не ходить играть, он плакал и клялся — и тогда опять становился моим птенцом, моим ненаглядным ребенком. Дав твердое обещание, он исподлобья смотрел на меня глазами, полными страха, его светлые, мягкие волосы снова пахли воробушком, коснувшись их, я успокаивалась, я так хотела, чтобы все было по-прежнему!

Но все повторялось с какой-то страшной последовательностью, с невыносимым упорством: через день, три дня, через месяц. Каждый день я собирала себя в кулак и говорила, что завтра ни за что не поступлю, как сегодня. Я буду твердой и сильной. Но наступало завтра, и все мои старания разом прекратить этот нелепый и страшный сон разбивались о непреодолимое сопротивление сына, он все больше замыкался в себе, отвергая все усилия поговорить, разъяснить и спасти его. Теперь я видела пустые и застывшие глаза, похожие на бледные стеклышки, мне казалось, между нами даже не тысячи километров, а целые века — такая плотная непроницаемая стена легла между мной и моим Алешей. Я потеряла с ним эмоциональную связь, и это было самое страшное. Мой ребенок попал в царство Снежной Королевы, мои слезы не могли разморозить его, вовсе нет, он надо мной смеялся. Он стал невероятно черствым, и случись мне погибать на его глазах, он бы не встал, не оторвался бы от игры ни на минуту.

Но я не верила, что все так плохо. Никто не верит в это, мы не верим даже тогда, ко-

гда врач подтверждает самый неумолимый диагноз. Отец пару раз отлупил Алешу ремнем, мы не давали ему денег, и из дома стали пропадать вещи, потом исчез и сын. Он ушел на съемную квартиру, бросил институт, жил неизвестно на что, не отвечал на звонки, продолжал играть и обрывал все попытки наших встреч.

Я помню одно утро: я стояла где-то высоко на пригорке — и вдруг оттуда увидела своего Алешу. Он неуверенно шел по берегу реки, нет, не шел, а устало брел, как старик. Несмотря на то, что он был хорошо одет, он почему-то смотрелся как нищий, как бездомная сирота, как чей-то покорный слуга. Я смотрела на его худенькое, почти невесомое тельце, на холодный, какой-то бесчеловечный свет, который тянулся за ним по черной земле, как снежный шлейф, и тогда впервые подумала: какая пропасть отделяет его от всего мира, и я ничем, ничем не могу помочь! У меня опустились руки — все было слишком безнадёжно, слишком запущено. Что бы ни случилось, даже если небо рухнет на землю, Алеша не покинет свою новую жизнь, новую обитель — твердую, как скала, и черную, как сама тьма.

Любая страсть губит всех одинаково — и виновного, и непорочного. Сын очутился в ее когтях — и какая теперь разница, почему это произошло. Мне необходимо было вырвать его, но как? А может, не важно — как... Главное — надо вырвать.

ГЛАВА 3. ДЕМОН

«Страсть к азартным играм мне удобно обозначать словом "демон". Вы обещаете себе больше не играть, начать новую жизнь, в которой нет и больше

не будет игровой зависимости. Пишете эти слова на бумажке или начинаете вести дневник, верите в свою силу, держитесь из последних сил — день, два, три, а на четвертый срываетесь, проигрываете все деньги, что были в кармане, идете домой, берете все отложенные деньги. И они с такой же легкостью исчезают вслед за карманными...

Вы морально начисто разбиты, считаете себя слабым неудачником, тряпкой. "Если я не могу держать себя в руках в таких мелочах, как же дальше жить? Значит, я не в силах контролировать себя". Вера в себя потеряна навсегда. Когда у вас появится следующий порыв? Энергия на борьбу с демоном? Через неделю? Через месяц? Думайте, прикидывайте, а пока вы в его власти — разбитый, униженный и обесиленный.

Причина не в том, что вы проиграли и сорвались. Вы были заранее обречены. Могучего демона, который побеждал вас на протяжении многих лет, который умел и хитер и на данный момент сильнее вас в десятки раз, — вы обозначили как маленькую ящерицу, а этот дешевый эмоциональный порыв — раз и навсегда покончить с игровой зависимостью — оценили как мощнейшее и несокрушимое оружие. Не он победил вас, а иллюзия своего могущества! Демон будет сотни раз окутать вас головой в грязь, раз за разом, тысячи ваших попыток будут тщетны и безнадёжны. Стиснув зубы, полузадушенный, поднимайтесь снова и снова — демон силен! От его могильных испарений нет спасения, и только сверхъестественная жажда прорваться к жизни, дорожке которой

ничего нет, заставит тебя встать.

Многим может показаться, что я сильно преувеличиваю и на самом деле все гораздо проще. И люди, которые подвержены игромании, просто разболтаны и лечатся хорошим ремнем. Демонов нет и быть не может, есть вредная привычка, с которой можно справиться. Я уверен, что найдутся люди, которые самодовольно скажут, что тоже были во власти игры, ходили в казино, проигрывали деньги, но усилием воли быстро справились с этой привычкой.

И знаете, большинство из вас будут правы...

Бесстрастные вообще не подвержены влиянию игровой страсти, для людей "чуть-чуть" книга тоже бесполезна. Здесь подойдет серьезный скандал, ремень или угроза развода. Не надо ничего выдумывать и хитрить. Люди этой категории ходят в казино, играют, но они не подвластны влиянию Дьявола, не рискуют стать заядлыми игроманами, даже если будут играть продолжительное время. Просто им скучно, нечем заняться, возможно, они ходят с друзьями, с которыми им приятно проводить время.

Для азартных часто ремень будет эффективен, люди этой категории после крупной ссоры могут серьезно задуматься. У них отложится в подсознании: если продолжить игру — дома будут ждать неприятные последствия. Но среди азартных много страстных и энергичных людей, которые получают большое удовольствие, нарушая запреты. Для них ремень может превратиться в красную тряпку для быка, их можно только перехитрить. Многие азартные живут и наслаждаются жиз-

нюю... до того момента, пока не перейдут в категорию безнадежных.

Этот переход может длиться долго. Его главные признаки или тревожные звонки: участились случаи проигрыша нужных денег, которые планировались для разного рода расходов и покупок; участились случаи сильного желания играть; были факты взятия денег в долг на игру; были факты возвращения домой из казино, чтобы взять деньги и пойти отыгрываться; были факты продажи вещей и ценностей, оставления их в залог — для получения денег на игру.

Последние три признака особенно тревожны. В этом случае нужно действовать быстро и решительно.

Безнадежным и конечным в большинстве случаев ремень не поможет. В этом случае сценарий всегда один: одержимый дает обещание никогда не ходить играть, это обещание он сдержать не в силах. Страсть играть в десятки раз сильнее его воли. Не сдержав данное слово, игрок теряет самоуважение, и как следствие — морально-волевые качества. Это делает его гораздо более легкой добычей для демона.

Не берите с игрока слово никогда не играть и сами это не обещайте. Как бы он ни старался, сдержать слово он не сможет. Следствием этого будет сломленный боевой дух.

Если пытаетесь помочь близкому человеку, дайте ему понять, что вы его надежный друг. Не вините его и не ругайте, если он оступится. Говорите, что он многое может упустить в жизни, если не начнет борьбу, в которой вы ему поможете.

Для самого игромана борьба поэтапная: сначала с мыслью

пойти в игровой зал, затем попытаться убедить себя развернуться и уйти — перед дверью, потом усилием воли уговорить себя уйти в какой-то момент игры (кстати, мне время от времени удавалось одерживать эти маленькие победы — не так часто, как хотелось бы, но они сыграли свою роль.) Когда все окажется тщетным, не расстраивайтесь, вы сделали, что могли. Просто сейчас демон сильнее вас.

Три золотых правила:

1. Осознайте, что вы больны, это не вредная привычка — это болезнь. Настройтесь на борьбу. Поражений будет много, но старайтесь не терять после них боевой дух.

2. Не давайте себе обещаний не играть и не берите слово с других. Это только подрывает силу воли и убивает боевой дух.

3. Не оправдывайте свою трусость и бездействие неравной борьбой.

Усвойте эти простые правила, и вы перестанете быть легкой добычей...»

ГЛАВА 4. НОВЫЕ ПОПЫТКИ

Несколько дней подряд я караулила сына. Я следовала за ним неотступно и упорно, я следила, куда он ходит, когда возвращается. Кружилась вокруг его троп и твердила заклинание: «Я никогда больше не буду его ругать. Я стану ему другом. Я буду его хвалить и поддерживать».

Но как это сделать? Как подловить его в эти сети из одних нитей тумана? Как удерживать в них? Я обегала кругом дома и небрежно выходила ему навстречу. Увидев издали мой силуэт, Алеша резко разворачивался и бежал, спасал-

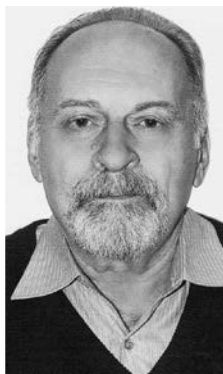
ся от меня! Если бы не эта рукопись...

Снова и снова я терпеливо смирялась с поражением, глотая слезы, опять возвращалась домой с красными глазами, с озлобленной душой. Это была изнурительная и тяжелая охота. Ягонялась за сыном, а он мчался прочь. Один раз я чуть было не настигла его, протянув к нему руки, я поскользнулась и упала. Я сидела на коленях и плакала, болела голова, которой я ударилась о камни, волосы были мокрые и липкие от грязи. Господи, я была словно проклята! Обида билась в виски и хватала за горло, подрывала силы и сокрушала. Как же больно было сердцу! Мне хотелось зарыдать на весь небосвод, чтоб содрогнулись облака и посыпались вниз птицы, — Боже милосердный, где ты? Я выла, как волчица, и закрывала рукой рот, чтоб опрометчиво не уронить слова, о которых буду жалеть до скончания века...

Сколько так продолжалось? В памяти моей была дыра, зато я отчетливо помнила постоянный озноб, будто жила в доме из льда, прозрачном и скрипучем, я даже видела свое дыхание — морозное и ярко-белое. Невозможно было избавиться от этого ослепительного навяздания, я вся была пропитана холодом, всю ночь крошечные снежинки бесконечно сыпали и моросили, завораживая глаз. Я зачарованно смотрела на люстру: многочисленные хрустальные шарики, раскачиваясь от легкого сквозняка, тихо звенели, сталкиваясь друг с другом...

Продолжение следует.

г. Липецк



Валерий ИЛЬЧЕВ

Продолжение. Начало в № 3–10 за 2014 г.

СТРАСТИ ПО ИЗУМРУДНОЙ БРОШИ

ГЛАВА III. ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА

Носов ознакомился с обстоятельствами нападения на загородный коттедж владельца автосалона. Грабители, предварительно отравив собаку, проникли в дом, связали хозяина и его молодую жену. С жертвами обращались подчеркнуто вежливо, гарантируя личную безопасность. Тщательно обыскав дом, забрали деньги и ценности, а затем скрылись. Лица бандитов скрывали вязанные черные маски с прорезью для глаз.

Сведения в сводке были скудные. И Носов собрался выехать в Подмоскowie для выявления дополнительных важных обстоятельств. Но поездку пришлось отложить. На подчиненных ему сыщиков возбудили уголовное дело за незаконное задержание граждан. Носову предстояло разбираться в неприятном происшествии. Ему доложили, что сыщики проводили операцию по захвату группы мошенников. В процессе наблюдения они зафиксировали попытку преступников обмануть мужчину, предлагающего купить у него валюту. Один из них, взяв доллары, внезапно отказался от сделки и, свернув пополам купюры, вернул их продавцу. Сыщики знали, что ловким движением пальцев мошенник незаметно отделил часть долларов. Раздосадованный срывом сделки потерпевший, не пересчитывая, положил возвращенные ему деньги в бумажник, не заметив обмана.

Возглавляющий оперативную группу Симаков дал команду на задержание. Но внезапно сыщики наткнулись на активное сопротивление. При захвате сыщики не заметили, как сбежал напуганный схваткой потерпевший. Симаков был вне себя: «Это прокол. Без терпимы уголовное дело не возведишь. Придется доставить задержанных в отдел внутренних дел, выяснить личности и отпустить. Больше из данной ситуации ничего не выжмешь».

Симаков принял ошибочное решение. В отделе мошенники заявили, что они приняли внезапно возникших перед ними людей за грабителей и потому оказали сопротивление. Сразу после освобождения они зафиксировали в больнице полученные в ходе задержания синяки и подали жалобу на избивание их сотрудниками в отделе внутренних дел. Сыщиков обвинили в незаконном задержании и рукоприкладстве. Узнав, кому поручили вести уголовное дело, Носов предложил сотрудникам договориться со следователем:

— Потапов — порядочный мужик. Мы с ним работаем по разоблачению группы, совершившей разбойные нападения и убийства. Не станет же он топить сыщиков, от которых зависит успех столь громкого дела. Попробуйте с ним договориться.

Но вопреки ожиданиям следователь был с сыщиками подчеркнуто официален:

— Вы, ребята, здорово прокололись. Потерпевшего прошляпили. А у задержанных без достаточных оснований «ломщиков» зафиксированы следы побоев.

— Так это когда они сопротивлялись при захвате, пришлось их немного помять!

— А они утверждают, что их избивали в служебных кабинетах.

— Но ты же, Потапов, нас знаешь много лет. Кто тебе ближе: мошенники или те, кто помогает тебе их закрывать за совершенные преступления?

— Ты, Симаков, демагогию не разводи! Я получил указания начальства возбудить уголовное дело и пресечь милицейский произвол. Ничего личного. А вы совершили множество ошибок. А главное, не составили никаких документов о доставлении мошенников в дежурную часть. Я проверил: в книге учета задержанных в тот день никаких записей нет.

— Так кто же знал, что они жалобу на нас накатают?

— Должны были, как опытные опера, предвидеть такую возможность. А теперь вас троих я вынужден отпустить лишь под подписку о невыезде.

— Ты, Потапов, палку перегибаешь. Нам завтра вместе с тобою выезжать в соседний район для задержания остающихся на свободе членов разбойной группы. Неужели не боишься включать в операцию лиц, находящихся под подпиской о невыезде?

— Ничего, я человек смелый. К тому же в нашей Конституции записано, что никто не считается виновным, пока не вступил в законную силу приговор суда. Так что работайте пока до суда в полную силу.

— И ничего нельзя сделать?

— Это вы уж сами, сыщики, думайте. Мне вас учить — лишь мир смешить. Сварите что-нибудь умное в своей оперативной кухне. И если представите достаточные правовые основания, я пойду навстречу по старой дружбе.

Подписав необходимые бумаги, сыщики вышли на улицу. Жадно вдохнув свежего воздуха, Симаков смачно выругался и в сердцах зло подытожил:

— Вот и служи честно Отечеству! Срубили бы себе в карман с задержанных «ломщиков» круглую сумму и разошлись с миром. А проявив честность, можем приземлиться в зону. От Потапова я такого не ожидал!

— Зря ты к нему претензии имеешь. У следователя свое начальство, и оно требует усилить борьбу с оборотнями в погонах. Вот Потапов и демонстрирует перед ним рвение. А нам готов помочь, если предоставим ему зацепку.

— Мы не станем унижаться перед подонками и просить их отказаться от обвинений. Сейчас эта группа «ломщиков» переместилась в другой район. Там мой знакомый Кузьмин уголовным розыском командует. Надо к нему за помощью обратиться.

— Их задержание с поличным на новом преступлении нас не спасет. Следователь скажет: даже права мошенников, как граждан России, необходимо соблюдать.

— Есть у меня идея. Лишь бы Кузьмин со своими сыщиками расстарался не ради «палочных» показателей, а для нашего спасения. Поехали сразу к нему.

Кузьмин встретил бывшего однокурсника радушно. Выслушав, успокоил:

— Не горюйте, ребята. В беде вас не оставим. Снова станете в глазах следователя белыми и пушистыми. Мы все берем на себя.

Кузьмин слово сдержал. Уже через два дня опергруппа задержала «ломщиков» с поличным. Переговоры прошли на редкость легко и успешно. Мошенники сразу поняли, что от них хотят, и согласились в обмен на свободу написать заявление об отказе от претензий к сыщикам Симакова.

Но Потапов, узнав о новом заявлении, не спешил прекращать уголовное дело.

— Начальство дало указание продолжить расследование и выяснить, каким образом вы заставили мошенников отказаться от обвинения.

— А разве наша вина, что приходится защищать справедливость любыми средствами?

— Ты мне, Симаков, морали не читай. Я все понимаю. Но пока останетесь под подпиской о невыезде. Я все сказал.

Следователь с молчаливым сочувствием проводил взглядом покидающих его кабинет сыщиков.

Узнав о неудаче, Носов понял, что ему самому надо искать пути спасения сыщиков. Пока он не знал, как это сделать. И в его распоряжении оставалось только два месяца, отведенных законом на проведение следственных мероприятий.

И Носов, используя короткую передышку, решил продолжить поиск изумрудной броши. Выехав в подмосковный отдел, Носов встретился с начальником местного уголовного розыска Мировым. Тот, узнав историю необычного украшения, не удивился:

— Вещь эта дорогая и, естественно, вызывает криминальный интерес. У хозяина ограбленного коттеджа деньги водятся. И когда его жена Антонина захотела приобрести уникальную брошь, он не смог ей отказать.

— А откуда это украшение появилось в поле ее зрения?

— Антонине подарили год назад щенка овчарки, и она регулярно возит дрессировать пса в клуб кинологов. Познакомилась там с другой владелицей собаки, Людмилой, которая и предложила купить у ее знакомой фамильную ценность. Антонина решила посмотреть на оригинальное изделие. Людмила принесла брошь в клуб. Украшение приглянулось, и они сторговались.

— Странно, что дорогое украшение принесла на продажу не сама владелица, а эта любительница собак Людмила. Обычно женщины, опасаясь подвоха, стараются не выпускать из рук дорогие украшения. К тому же наверняка предполагался торг из-за окончательной цены. А тут владелица отдает брошь посреднице без всяких условий.

— Думаешь, брошь принадлежит самой Людмиле, а не ее подруге? А зачем ей врать?

— Если украшение появилось у Людмилы криминальным путем, то был резон скрывать его принадлежность. Во время кровавого налета на Смоленской площади среди мотоциклистов тоже действовала девица. А если это была именно Людмила?

— Стоп! При опросе жителей поселка один чудак утверждал, что поздно вечером слышал треск мотоциклетных моторов из ельника, расположенного недалеко от ограбленного коттеджа. Мы эти показания даже не записали: мало ли кто из туристов мог там остановиться на отдых.

— Есть что-нибудь еще, не отраженное в материалах дела?

— Грабители в коттедже были в камуфляжной форме и масках, как у спецназа. Конечно, в наши дни такую экипировку легко приобрести. Но после завершения масок-шоу их главарь скомандовал, как в спецназе: «Уходим!» Это тоже ни о чем не говорит: народ насмотрелся телесериалов. Но привычка — это вторая натура.

— Значит, и ты допускаешь участие наших сотрудников в разбое. Но на Смоленской площади действовала девица, а в коттедж заходили одни мужики. Хотя знакомая хозяйке Людка могла бояться быть опознанной по голосу и манерам поведения. А вот роль наводчицы ей хорошо подходит. Надо внимательнее присмотреться к этой любительнице собак. Если будут новости, звони.

— Хорошо, буду держать тебя в курсе дела.

Миров позвонил через три дня.

— В отношении Людмилы Горинной из кинологического клуба накапливается все больше подозрений. Раньше она входила в группу прикрытия мест сбыта похищенного. После расформирования их подразделения пока нигде не работает. Мечтает вернуться на службу в органы в качестве кинолога

со своей собакой. Кстати, появилась одна интересная деталь: Горина увлекается спортивной ездой на мотоцикле.

— Эта деталь существенная. Похоже, именно эта Людмила связывает в один тугий узел события на Смоленской площади и в вашем ограбленном коттедже.

— Пока нет доказательств, и мы Горину не трогаем. Лишь ведем за ней негласное наблюдение. Установили ее ближайшего милого друга прапорщика Зотова. По нашим данным, он входит в криминальную группировку, которая ищет покупателей на крупную партию взрывчатки, похищенной из воинской части. Если арестуем этого Зотова, то через него сможем изобличить в кровавых делах и его подругу.

— Идея правильная. А что от нас требуется?

— Для операции нам понадобятся люди, неизвестные местной братве. Бери своих людей и подъезжай. Выступите под видом покупателей оружия. Документами прикрытия и автомашиной мы вас обеспечим. Нам противостоят серьезные люди, и к встрече с ними надо тщательно подготовиться. Жду!

Носов решил взять с собой на операцию Котина и Симакова. В город сыщики въехали на автомашине с латвийскими номерами. Они сразу заметили преследующую их иномарку. Симаков мрачно шутил:

— Вот мы из охотников и превратились на время в дичь.

Возглавляющий операцию Носов философски заметил:

— А ты ждал иного? Против нас действуют преступники опытные, и проверять они своих партнеров будут досконально. Для начала покружи по городу, интересуюсь, где находится памятник их знаменитому земляку. Пусть братки убедятся, что мы впервые в их городе.

Внезапно с оглушительным ревом сирены сыщикам преградила путь милицейская машина и заставила прижаться к обочине. Носов шепотом предупредил:

— Остановили нас без видимых нарушений. Думают, мы дурнее их и засветим милицейские ксивы. Сунь в права крупную купюру. Будем действовать по их понятиям.

Проинструктированный бандитами сотрудник ГИБДД вел себя агрессивно:

— Вы на перекрестке проехали на красный свет. У себя в Латвии правила соблюдаете, а в России не считаете это обязательным! Предъявите документы.

Носов с удовлетворением наблюдал, как тщательно сержант проверяет наличие виз в паспортах. Убедившись, что с документами все в по-

рядке, ловким движением переправил в карман подsunутую двадцатидолларовую купюру и решил ехать дальше. Носов облегченно вздохнул:

— Первую проверку мы прошли. Прибавь скорость, а то опоздаем на встречу.

Их уже ждали. Держась как можно неприужденнее, сыщики начали торг. Уже сойдясь в цене, предложили предоставить предварительно образец опасного товара. Продавцы тоже предпочитали не спешить и пообещали на следующее утро передать на пробу триста граммов взрывчатки.

Направляясь к центральной гостинице, Носов проанализировал ситуацию:

— Они будут отслеживать, войдем ли мы в контакт с местными операми или нет. А мы до утра затаимся. Пусть бандиты успокоятся.

Припарковав машину у гостиницы, сыщики направились к парадному подъезду. И тут же к ним приблизился невысокий человек с тонкими усиками на широком лице:

— Привет, земляки! Вижу знакомые латвийские номера, как вас сюда занесло?

И тут же перешел на незнакомый Носову говор. Наблюдая, как напарник свободно общается с незнакомцем на его родном языке, Носов с удовлетворением прикинул: «Я был прав, выбрав легенду о купцах из Латвии. Откуда им знать, что сын военнослужащего Симаков в юности окончил школу в Риге? Похоже, и вторую проверку мы благополучно прошли».

Отвязавшись от назойливого земляка, сыщики поднялись в свой номер. До утра их никто не беспокоил, и только ощущение невидимого, но пристального внимания заставляло держаться наготове.

Утром, в сопровождении все той же иномарки, они проследовали к месту встречи. Получив пакет с сыпучим веществом, сыщики обещали провести проверку и к вечеру встретиться для окончательного завершения сделки. Они успели отъехать лишь на триста метров, когда их догнала машина торговцев смертью. Подчинившись отчаянному реву сигнала, сыщики остановились. Высокий рыжеволосый парень в камуфляжной форме поспешил извиниться:

— Верните обратно наш пакет с тальком. Мы проверялись. Если бы менты нас сейчас повязали, то промахнулись бы: за безвредную присыпку дело не пришьешь. Раз все прошло гладко, получите теперь то, что доктор прописал. Убедитесь, что сделка без обмана, и сегодня вечером часиков в семь подгребайте сюда, к скверу: обменяем товар на деньги.

Направляясь в гостиницу, Носов довольно заметил:

— Вот и третью проверку прошли. Пора подстраховаться и вызвать на помощь местных коллег. А то местные торговцы смертью надумают завладеть деньгами, не отдавая товара.

— Не думаю. Побоятся с крутой братвой бороться.

— И все же в нашей работе надо быть готовым ко всему.

Носов посмотрел в зеркало заднего вида: знакомая иномарка продолжала неотступное преследование. И хотя операция шла к завершению, расслабляться было преждевременно.

Сообщив Мирову о назначенной встрече, Носов стал готовиться к задержанию. По предварительному плану, местные сотрудники и спецназ должны были провести захват бандитов вместе с латвийскими «покупателями». А московские сыщики в соответствии со своими ролями — безропотно подчиниться и, страхуя своих коллег, вмешаться только, если бандиты окажут сопротивление.

Предосторожность оказалась излишней. Получив деньги, двое крепких мужиков достали из иномарки спортивную сумку, но вместо погрузки ее в машину покупателей поставили прямо на асфальт. Носов понял: «Начинается разводка лхов из Прибалтики. Они все же решились на обман братков из другого государства. Надо быть начеку. Сейчас развернутся главные события. Но откуда ждать нападения? Пока их двое против нас троих. Котин не имеет должного опыта. Остается надеяться лишь на Симакова. Хоть бы он не оплошал».

Носов расстегнул пиджак и, демонстративно положив руку на кобуру, сделал шаг вперед. Едва он протянул руку к молнии на спортивной сумке, как тут же загрохотали двигатели, и три мотоцикла вылетели из двора ближайшего дома. Наездники в шлемах беспорядочно стреляли в воздух. Носов понял: «Они не хотят людских жертв и последующей мести. Им главное — вернуть груз и завладеть деньгами. Но почему медлят местные детективы? Все, ждать больше нельзя. Надо действовать самому».

И Носов, выхватив оружие, открыл ответный огонь, сразу выбив из седла ближайшего к нему наездника. В то же мгновение открыл стрельбу Котин. Симаков, держа на прицеле продавцов взрывчатки, не давал им вмешаться в схватку.

Тут же воздух пронзил звук сирены, и на площадь перед сквером вылетели полицейские автомашины. Перевес сил явно стал не в пользу налет-

чиков, и уцелевшие мотоциклисты начали резкий разворот. Именно в этот момент Котин сумел поразить цель. Наездник выронил пистолет и упал на бок, не успев выдернуть из-под стального коня подвернутую ногу. Но третий седок, невысокого роста, направил свой мотоцикл в узкий проем железной ограды. Промчавшись по клумбе, он ловко проскочил через сквер на противоположную сторону улицы и тут же завернул за угол дома.

Все внимание группы захвата было теперь приковано к продавцам взрывчатки. Но те под прицелом пистолета Симакова стояли неподвижно, понимая бесполезность сопротивления. Запоздало прибыв на место, спецназовцы бросили их лицом на землю и обыскали. Рослый спецназовец доложил:

— Чисто. Можете с ними работать.

В этот момент, расстегнув ремешок, сбросил защитный шлем раненый мотоциклист. Его лицо было искажено гримасой боли. Он поспешно воскликнул:

— Сдаюсь, не стреляйте. Я, ребята, свой.

Стоящий рядом спецназовец беззлобно среагировал на слова раненого:

— Свои все дома по лавкам сидят, а не гоняются на байках с огнестрелом в руках.

Носов с удовлетворением подумал: «Я был прав. Эти наездники из наших милицейских сотрудников. Потому он и причисляет себя к "своим". А бесхитростный спецназовец поставил справедливый диагноз: пойдя против закона, стал чужим, какое бы звание ни имел. Сейчас необходимо выяснить у раненого бандита личность третьего, ускользнувшего участника налета. Пока оборотень истекает кровью, с ним легче договориться».

Приблизившись, Носов разъяснил ситуацию:

— Тебе срочно нужна медицинская помощь. Но мы можем врачей притормозить. Минут через десять даже академик медицины тебе не поможет. Хочешь спастись — скажи, кто успел от нас сбежать.

На лице слабеющего бандита отразилось смятение. И Носов бросил в ход свой главный козырь:

— Я тебя не спрашиваю о стрельбе на Смоленской площади. Молчу пока о нападении на коттедж. Обо всех ваших подвигах речь пойдет позже. Ты мне только сейчас назови имя третьего вашего соучастника.

Осознав осведомленность сыщика об их преступлениях, бандит еле слышно сказал:

— Это Людка Горина из наших бывших сотрудников. Это она по бабьей дурости погналась за дорогой брошью, которую сама и продала владельцу собаки. Брошь она себе вернула, а мне, дураку, зачем был нужен этот риск? Ведь я сам, ребята, из ОМОНа. Имею награды и благодарности за участие в горячих точках. Можете проверить.

Но Носов уже не слушал: «Этот глупец думает, что бывшие заслуги ему помогут. Но самый гуманный суд назначит ему пожизненное заключение, если от его руки погибли охранник и друг Колчана на Смоленской площади. Но это уже не мое дело. Сейчас надо срочно задержать эту девицу».

В этот момент к Носову приблизился Миров:

— Слушай, продавцами оружия оказались контрактники из соседней воинской части. Я уже связался с военной прокуратурой. Пусть проводят аудит оружия, хранящегося на складе. Наверняка обнаружим недостачу и начнем расследовать нападение на коттедж. А ты чего добился по своему делу?

— Один мотоциклист убит, а второй успел назвать третью их соучастницу, Людмилу Горину. Брошь сейчас находится у нее. Надо Горину немедленно задерживать.

— И это правильно. У меня в блокноте имеется ее адрес. Записывай. А тебе пожелаю, раз речь зашла об охоте, ни пуха ни пера.

— К черту тебя, Миров. Брошь неуловима, как птица счастья, да ты еще подкальываешь.

Носов позвал своих сыщиков и, сев в машину, приказал ехать по адресу, где еще накануне Горина любовалась вернувшимся к ней украшением.

Продолжение следует.



Валерий АНТОНОВ

Валерий Антонов родился и живет в Челябинске. В 1983 году окончил исторический факультет Челябинского государственного университета, сегодня трудится в коммерческом банке. В настоящее время — автор таких изданий, как «Фонтан» (Одесса), «Литературная газета», «Юность», «Аргументы недели», «Кайф по выходным», «Новый Крокодил» (Москва), «Чаян» (Казань), «Вокруг смеха» (Санкт-Петербург), «Веселуха» (Смоленск), «Нескучная жизнь» (Минск), и других. Неоднократно публиковался в Израиле, США, Канаде. В 2006—2008 годах в тележурнале «Фитиль» вышли семь сюжетов, снятых по его оригинальным сценариям, а многие афоризмы звучали в телепрограммах «Блеф-клуб» и «Губерния» (ВГРТК — Южный Урал). В ближайшее время в столичном издательстве «Зебра Е» выходит книга афоризмов и миниатюр «Антоновка с перчиком».

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...

- ...тени тоже борются за свое место под солнцем?
- ...любая цветная революция хуже бесцветного порядка?
- ...и на бесцельно прожитые годы требуются немалые средства?
- ...идя своей дорогой, часто натыкаешься на чужие спины?
- ...вся произведенная в аду продукция подается с пылу с жару?
- ...при чтении чужих мыслей нарушаются авторские права?
- ...пятая точка обладает шестым чувством?
- ...в семье не без народа?
- ...делить добро выгоднее, чем делать?
- ...на некоторых ораторов в пору подключать счетчики для воды?
- ...редкая пицца долетит до середины стола?
- ...рыночная стоимость устанавливается в базарный день?
- ...работа — не волк, зато начальник — зверь?
- ...только на закрытом показе у многих зрителей открываются глаза?
- ...«М» и «Ж» — самые востребованные буквы алфавита?
- ...процент допущенного брака подсчитывается в ЗАГСе?
- ...кот выполняет в доме роль мурлыкающего гаджета?

ИЗ ЗАПАСНЫХ КНИЖЕК

При удачном переводе Красная книга может быть переиздана как Книга о вкусной и здоровой пище.

С похмелья будущее видится исключительно трезвым, но недолгим.

Судя по некоторым талиям, уровень жизни не стал выше — он стал шире.

Только после рождения десятого ребенка родителям пришло осознание того, что не все аисты одинаково полезны.

Денег ни на что не хватает. Устроился на вторую работу. Теперь хватает денег на дорогу к первой работе.

Россия — страна крайностей. Вот потому и хлебать россиянам всю жизнь приходится до краев.

Сводя годовой баланс, большинство индивидуальных предпринимателей на Руси могут с гордостью заявить о себе: «Я и начальник, я и дурак».

Это раньше мы колебались вместе с линией партии. Теперь нас вообще ничто не колышет.

Расстояние от брудершафта до рукопашной — всего одна русская свадьба.

При приеме на работу в ИКЕА все кандидаты проходят тестирование на пазлах.

Рожденные в рубашке фасон не выбирают.

Объявление: «Перевозу плоские шутки в формат 3D».

Как правило, ветер в голове надувает приключения на задницу.

ОБРАЩЕНИЕ К ПОТОМКАМ

(МОНОЛОГ СПИКЕРА)

Люди будущего! Потомки!

Мы, законно избранные депутаты Госдумы, призываем: «Примите наше обращение в первом и последнем чтении, без наложения вето или, не дай бог, чего-нибудь посущественнее».

Сделайте так, чтобы никогда вам не было обидно за державу. Берите пример с депутата Жириновского! Его личный пример доказывает — надо обижать кого угодно и как угодно, но только не себя.

Верим, что наша и без того богатая Родина с годами станет еще богаче. Не беда, что закончатся нефть и газ, заржавеют ракеты и растают бесследно пенсии. Ведь главное богатство нашей Родины — олигархи. Век за веком нам их еще экспортировать и экспортировать. Пока не амнистируют.

Мы с гордостью и радостью докладываем: «Теперь Крым наш!» А проблемы Крыма да и всего остального — уже ваши (список дорог, дураков, футболистов и санкций прилагается). Да-да, Вла-

димир Вольфович, имена депутатов ЛДПР тоже не забыты, не беспокойтесь...

Закрепите и приумножьте славные патриотические традиции — умение создавать трудности, чтобы потом их героически преодолевать. И тогда критические дни можно будет растянуть на целые месяцы и годы!

Знайте, в центре нашей депутатской работы всегда были наказы избирателей: Сколково мы переименовали в Наколково, «стагнацию» — в «стабилизацию», «президента» — в «царя-батюшку». А сколько раз от нас требовали изобрести вакцину против «депутатского иммунитета». Пробовали. Обсуждали. Голосовали. Но что-то все время мешало: то депутатов не хватает — для кворума, то депутатам — для карманных расходов, то — как правильно кричит в микрофон Владимир Вольфович — чего-то у самих депутатов...

Как мы завидуем вам! Вы уже знаете ответы на все вечные вопросы бытия и ЖКХ. Правда, отвечаете на них только в присутствии адвоката. И как всегда, в сопровождении слюны Владимира Вольфовича. Вот вам платочек, утритесь.

Вот с террористами мы и сами справились. Одним указом президента. Вам нужно только довести этот указ до сведения самих террористов — и все! Им крышка!

По текущему моменту отчитываемся: с кружевными каблуками и размером женских трусов, слава богу, вопрос решили... Или наоборот? Впрочем, это не столь важно. А вот внести поправки ко второму закону термодинамики и к теории относительности, извините, просто не успели: то летние каникулы мешали, то рыночная конъюнктура, то очередная инициатива господина Жири... Да успокойтесь вы, Владимир Вольфович, сядьте на место — потомки вас обязательно запомнят. Или они будут не потомками, а подонками, однозначно!

Если бы вы знали, как тяжело нам далась борьба с матом, ептыть его в кочерыжку! И бороться надо, и слов подходящих для борьбы уже не осталось: все под запретом. Приходилось вести борьбу то жестами, то мимикой, то сторублевыми купюрами с членистоногим Аполлоном, борздящим просторы Большого театра.

Надеемся, что вы, наконец, прекратите споры о выносе тела Ленина из мавзолея. Согласитесь,

пора поставить в этом вопросе точку. Ну сколько же можно выносить и заносить его туда и обратно под аплодисменты фракции ЛДПР?!

С пьянством мы не церемонились и вам не советуем. Вот мы, депутаты, приходим на каждое пленарное заседание и носом чуем: пить наши граждане стали заметно меньше. А незаметно — все больше и больше.

Не спорим, может быть, с пропагандой гомосексуализма палку и перегнули... Вы уж там загните ее в другую сторону, что ли... Владимир Вольфович вам собственноручно поможет! Тогда, поверьте, с такой загогулиной никакие Элтон Джон с Кончитой Вурст будут не страшны.

И как бы ни называлось ваше общество будущего — технократизм, эмпириокритицизм, бутулизм, жиринизм, — наши дорогие внуки и правнуки, сберегите самое дорогое, что передаем вам по наследству. Кнопку для голосования. Она, родимая и замусоленная, будет и вашей кормилицей и поилницей столько, сколько электорат будет верить в вас и ваши обещания.

Уважаемые депутаты! Кто за предложенную резолюцию грядущему поколению народных избранников? Прошу голосовать... Вы, Владимир Вольфович, двумя руками и ногами за?.. Принято единогласно!»



Дорогой Андрей! Ты, может быть, уже и не помнишь занятия литературного кружка во втором корпусе Калининского пединститута (1952-1953 гг.), не помнишь, как выправлял мои стихи, но наверняка должен помнить из газеты «Сталинская молодежь» Виктора Пролеткина... К сожалению, в октябре 1956 года (после того, как меня чуть не убили бандиты) я вынужден был покинуть «Сталинскую молодежь»... Но где бы я потом ни жил и ни работал, я везде с восхищением пропагандировал твои стихи.

Боюсь показаться дерзким, но как поклонники просят автограф, так и я прошу: если можно, пришли одну из своих книг бандеролью по адресу: ул. Кирова, 165, кв. 36, город Керчь, Республика Крым, Гусеву Юрию Трофимовичу (сам-то я в Москве в ближайшее время вряд ли буду).

Юрий Гусев, бывший завотделом «Сталинской молодежи»

Галка ГАЛКИНА:

Приходит опыт,
И уходят годы...
Оглядываясь на неровный путь,
Чему-то там я улыбаюсь гордо,
А что-то бы хотел перечеркнуть.

Так когда-то в далеком и забытом 1963-м написал классик отечественной литературы Андрей Дементьев.

Но, как из песни слов не выкинуть, так и из письма букв не вычеркнешь. Вот письмо в редакцию бывшего завотделом газеты «Сталинская молодежь» Юрия Гусева.

Так что же делать?

Кто пошлет автограф бывшему завотделом «Сталинской молодежи»?

Трудно себе представить, как классик утром, кутаясь в плащ и ежась от холода, идет на почту

с бандеролью и стоит в очереди, чтобы отослать свой сборник стихов в Керчь.

И вовсе не потому, что Андрей Дмитриевич жадный. А потому что он больше не работает в «Юности» и не знает, что бывший завотделом «Сталинской молодежи» томится в ожидании.

Но если бы знал, то, конечно, пошел на почту и давно бы послал бандероль, сборник стихов с автографом. Ведь годы уходят...

Дорогой Юрий Гусев! Годы уходят, опыт приходит, но любовь к поэзии остается!

Сердце людское — не камень. Надеюсь, что, несмотря на годы, «Сталинская молодежь» не ржавеет. И если очень хотеть и верить, то стихи Андрея Дементьева в бандероли или каким-то другим способом дойдут до Керчи!

Не могут не дойти!

Проказник* ГЕО, человек-носорог

ЗАВЕТЫ ИЛЬИЧА

- ❖ Я вчера взрыхлял урюк,
загрустил внезапно — вдруг!
- ❖ Постучали тук-тук-тук,
оказалось, это — друг!
- ❖ Я читаю Ильича, хохоча и бормоча!
- ❖ Завещал Ильич трудиться,
в жизни может пригодиться.
- ❖ Завещал Ильич напиться,
не забудьте похмелиться!
- ❖ Завещал Ильич бороться
против гада-кровососца!
- ❖ Завещал Ильич читать,
написал Максимыч «Мать»!
- ❖ Завещал Ильич клубиться,
оттопыриваться, бриться!
- ❖ Завещал Ильич пахать,
прыгать, косами махать!
- ❖ Ильича мы снова ждем,
славься, Ленин-управдом!



Фаза месяца:

*Ай-люли, ай-люли!
Разлетелися рубли!*

ПРО ЕДИНСТВО

- * Про единый, про народ сочинил я анекдот!
- * Анекдот послал в газету,
и газеты больше нету!
- * Комсомол мой, комсомол,
был я счастлив, сыт и зол!
- * Милка вышла из собрания
как отпетая пиранья!
- * За Малюту, за Скуратова
всех порву в начале пятого!
- * Как надену я жупан — наступает ураган!
- * Как надену треуголку —
поджидаю комсомолку!
- * Змей Горыныч был един,
неказист, непобедим!
- * Что за птица прилетала, единения искала!
- * К милке утром на порог,
а навстречу носорог!

PHOTOSTOP



© Фото Игоря МИХАЙЛОВА

* Мужик-проказник
работает и в праздник (народная мудрость).

**SMS'ка, отправленная Баррозу:
Привет от Дед Морозу!**